

Современная
прогрессивная
философская
и социологическая
мысль в США

Современная прогрессивная философская и социологическая мысль в США

СБОРНИК ПЕРЕВОДОВ
С АНГЛИЙСКОГО

Общая редакция
докторов философских наук
В. В. Мшвениерадзе
и А. Г. Мысливченко

Послесловие
доктора философских наук
В. В. Мшвениерадзе



Издательство «Прогресс»

Москва 1977.

Переводчики Е. А. Беляев, Л. В. Блишников,
Б. Г. Лукьянов, А. И. Панченко, П. В. Царев,
И. И. Черкасов

Спец. редактирование к. и. н. И. И. Черкасова

Редакция литературы по философии

© Перевод на русский язык с изменениями. «Прогресс», 1977

С $\frac{10501-827}{006(01)-77}$ 11-75

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Предлагаемый вниманию советского читателя сборник переводов содержит статьи, написанные современными прогрессивными философами и общественными деятелями США. Имена многих из них — Г. Аптекера, А. Дэвис, П. Кроссера, Б. Данэма, Дж. Сомервилла, Р. В. Селларса, Г. Уэллса, Г. Парсонса — хорошо известны в нашей стране. Многие из статей, представленных в сборнике, были написаны авторами специально для настоящего издания и охватывают весьма широкий круг вопросов философии, социологии, методологии науки и ряд других. Подготовка сборника к публикации была осуществлена издательством совместно с сектором современной марксистской философии за рубежом Института философии АН СССР.

Издание подобного сборника осуществляется в нашей стране впервые. Несмотря на свою довольно обширную и разнообразную тематику, он, конечно, не претендует на полное и всестороннее освещение сложного и порой противоречивого процесса развития прогрессивной философской и общественно-политической мысли в США.

Эта противоречивость нашла свое отражение и в некоторых статьях данного сборника, которые содержат ряд дискуссионных моментов. Анализ и критическую оценку некоторых из этих моментов читатель найдет в послесловии к сборнику, написанном доктором философских наук В. В. Мшвениерадзе, который является также одним из инициаторов данного издания.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Чтобы помочь советскому читателю лучше ориентироваться в представленных в данном сборнике статьях американских мыслителей, большинство из которых являются профессорами философии, нужно, видимо, предварительно сказать несколько слов. Получилось так, что я провел в Советском Союзе среди советских коллег больше времени, чем кто-либо из других американских философов. В течение трех лет — до и после второй мировой войны — я находился в гуще советской жизни. Конечно, хотелось бы, чтобы мое пребывание в Советской стране было более длительным, но по крайней мере это обстоятельство служит определенным оправданием для написания предисловия к данному сборнику. Тем более если учесть, что одна из главных целей моего пребывания в Советском Союзе (где я был не в качестве туриста, а как участник его интеллектуальной и социальной жизни) состояла в том, чтобы наладить связи и диалог между американскими и советскими философами. В то время, когда я впервые приехал в СССР в 1935 году, — ничего этого еще не существовало.

Ранее, будучи студентом, я пришел к убеждению, что самое важное событие XX века произошло в России в 1917 году — когда началась организованная деятельность по строительству социалистического и коммунистического общества на марксистской гуманистической основе. Затем под влиянием второй мировой войны я пришел к осознанию важности и необходимости борьбы за мир в совершенно элементарном и абсолютно определенном смысле — а именно борьбы за предотвращение термоядерной войны. Судьбы этих двух исторических процессов —

создание гуманистического общественного порядка и сохранение мира во всем мире — связаны между собой самым непосредственным образом. Осуществление первого невозможно без второго, и второе было бы невыносимо без первого. Со временем я пришел к выводу, что изучение советского пути развития и налаживание диалога между советскими и американскими философами с целью их возможного вклада в дело мира является одной из непреложных предпосылок будущего человеческого общества. В посвящении к моей книге «Советская философия» (которая была написана после моего первого посещения Советского Союза, но не могла быть опубликована в Америке до 1947 года) говорится: «С надеждой, что, возможно, когда-нибудь люди с улыбкой будут воспринимать сегодняшние страхи за будущее человечества». Но в 1947 году, едва перестали падать бомбы второй мировой войны, как началась «холодная война», сопровождавшаяся маккартизмом в Америке. Оба явления имели один и тот же источник — попытки старого порядка сохранить свое господство. Страхи, о которых я упоминал, все еще живут.

Все эти обстоятельства оказали определенное влияние и на прогрессивных мыслителей в США того времени. Некоторые из них отказались от своих убеждений. Те же, кто остался верен прогрессивным идеям, были вынуждены реже прибегать к марксистской терминологии или объявлять себя сторонниками марксистского учения. Поэтому вполне закономерно, что в Соединенных Штатах настоящие марксисты (или мыслители, в значительной степени близкие к марксизму) не афишировали себя. Отчасти эта ситуация похожа на ту, которая существовала в России второй половины XIX века, когда прогрессивные писатели избегали пользоваться определенной терминологией и названиями, чтобы иметь возможность публиковать и распространять свои книги, иметь возможность продолжать работать или даже быть свободными. По этой причине примерно до 1960 года в американских университетах, где формируются основные течения американской интеллектуальной жизни, выходило относительно мало работ, авторы которых называли бы себя марксистами, и еще меньше работ о марксизме, которые имели бы с марксизмом хоть что-то общее.

Однако необходимо также помнить (особенно с позиций марксизма), что главное — это не терминология мар-

ксизма, а его идеи и что одни и те же идеи могут быть выражены через различную терминологию. Также верно и то, что для последовательного марксиста главное состоит в умении применить к мировым проблемам определенный метод и определенное понимание цели развития, которые были четко сформулированы в работах К. Маркса.

Другими словами, оценивая статьи данного сборника, особенно необходимо помнить о различии между творческим марксизмом и марксизмом догматическим, то есть марксизмом, лишь повторяющим уже известные истины, а также о том, что о марксизме нельзя сказать в качественно абсолютном смысле, а именно — целиком ли он присутствует или целиком отсутствует в той или иной работе. Вопрос может стоять о степени присутствия марксистских идей, что, возможно, как раз и подходит к данному случаю. Не все из авторов этого сборника считают, что написанное ими является полностью марксистским. У некоторых из них требование быть всецело марксистом иногда ассоциируется с претензиями на абсолютную непогрешимость и имеет для них некоторый привкус нетворческого догматизма или неконструктивного хвастовства. Мнение большинства авторов состоит в том, что они пытаются работать в духе марксизма над проблемами, конкретное содержание которых, однако, отличается от содержания проблем, над которыми работали в свое время К. Маркс и В. И. Ленин.

В то же время было бы большой ошибкой думать, что эти авторы считают, что они представляют или пытаются создать что-либо похожее на особую американскую школу марксизма. Американские авторы были бы удивлены, если бы кто-нибудь им сказал, что они выдвигают такое требование. То, что выделяет их в целом как группу, состоит не в какой-то новой совокупности выводов, которых они придерживаются сообща, а, скорее, в желании каждого из них, чтобы его работа непосредственно затрагивала те актуальные современные проблемы, с которыми им приходится сталкиваться в той или иной интеллектуальной и социальной среде. С некоторыми из молодых авторов, представленных здесь, советские читатели познакомятся впервые. Этот факт, по нашему мнению, придает особый интерес и ценность данному сборнику.

Диалектика настоящего исторического момента приводит к тому, что творчески мыслящие марксисты в наших

странах сталкиваются с различными конкретными задачами и проблемами. Советские проблемы возникают в стране, которая вот уже в течение почти 60 лет занята практическим строительством социализма, в то время как американские проблемы возникают в наиболее мощной стране капиталистического мира. Насколько различны эти проблемы, настолько различны и их решения. Ясно, что, если социалистическая революция произойдет, например, в стране, подобной Соединенным Штатам конца XX века, она будет отличаться от социалистической революции, которая произошла в стране, подобной России в начале XX века. Точно так же, как социалистическая революция в России (в то время индустриально отсталой стране), возглавленная В. И. Лениным на основе классового союза пролетариата и крестьянства, в некоторых своих чертах отличалась от той картины грядущей социалистической революции в Западной Европе, анализ которой дал К. Маркс за полвека до этого.

Конечно, сейчас еще нельзя утверждать, что марксизм в Америке уже добился большого политического влияния. Необходимо лишь подчеркнуть, что движение американской прогрессивной мысли в направлении к марксизму испытывает большую потребность в конструктивной критике, и эта критика должна учитывать специфику американских условий и те проблемы, которые созданы этими условиями. Лучше иметь плохие решения проблем, которые существуют, чем хорошие решения несуществующих проблем. Американский марксизм нуждается (больше, чем в чем-нибудь еще) в критике и диалоге или, точнее, в критике в процессе диалога.

В заключение позвольте выразить надежду, что диалог между нами, начатый в этой коллективной работе, которую мы были рады представить по просьбе советских коллег из Института философии АН СССР, будет продолжен в интересах взаимной пользы и укрепления дружбы.

Джон Сомервилл

I. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

СОЦИОЛОГИЯ ИСТОРИИ

Пол Кроссер

В основе данной статьи лежит известное положение Маркса и Энгельса о том, что угнетенные и неимущие массы во все времена во всех странах жили и продолжают жить на предысторической ступени своего существования. Угнетенные и неимущие слои населения обретают свою подлинную историю только после освобождения. Это утверждение может быть представлено в виде следующего тезиса: угнетенные и неимущие — это только объекты истории, привилегированные угнетатели — это субъекты истории. И если угнетенные и неимущие бросают вызов господству привилегированных угнетателей, то, следовательно, они стремятся сами стать субъектами истории.

Из всего этого следует, что только привилегированные группы населения, игравшие или играющие активную роль в качестве субъектов истории, и представляют собой те социальные слои, которые имели или имеют историю.

И только когда угнетенные и неимущие начинают оказывать массовое сопротивление, восстают против господства привилегированных слоев населения, они в своем усилии стать классом, творящим историю, тем самым отвергают предысторический характер своего существования. С этой точки зрения такие великие революционные движения, как, например, восстание Спартака в Древнем Риме или крестьянские войны в средние века в Европе, которые хотя и не заканчивались победой, тем не менее означали, что угнетенные на какое-то время переходили из предысторической фазы своего существования в историческую.

Для конкретизации сказанного мы рассмотрим положение угнетенных и неимущих слоев населения различных стран в различные исторические периоды. При этом главное для нас — это анализ условий, при которых эти слои населения находились в предысторической фазе своего развития, а также условий, при которых они успешно или безуспешно делали попытки перейти к исторической фазе.

Один из важных критериев, по которому можно судить о характере предысторической фазы и условиях существования угнетенных слоев населения, связан со степенью ограниченности этих слоев в гражданских правах. Хорошим примером такого рода ограничений были условия, в которых существовало крестьянство в эпоху феодализма. Крестьянское население в этот период не имело возможности представлять свои собственные интересы и не обладало правом голоса для их выражения. Считалось, что интересы угнетенного крестьянства выражают землевладельцы-феодалы, узурпировавшие право говорить от имени своих крепостных. Вот лишь один из примеров. Когда в России в позднесредневековый период собирались земские соборы, то русские землевладельцы-феодалы (бояре) представляли не только свои интересы, но также и интересы крепостных. Надо ли говорить, что бояре выражали интересы крепостных только в том случае, если интересы последних совпадали с их собственными.

И только во время восстаний крепостных под руководством Степана Разина, а позднее Пугачева можно было услышать вместо голоса феодалов-землевладельцев голос самих крепостных. В сущности, это было стремление угнетенного крестьянства перейти из предысторической фазы своего существования в подлинно историческую.

В Западной Европе лишение крепостных права выбирать своих собственных представителей в органы общественной власти делало их такими же безгласными, как и в России. Крестьянские войны во Франции, Англии и Германии были попытками угнетенного большинства, то есть крепостных, добиться того, чтобы их голос был услышан и чтобы в представительные органы власти избирались люди из их числа. Распад и последующее исчезновение феодального строя в той или иной стране знаменовали собой стадию перехода крестьян к исторической фазе их

существования. Однако процесс присоединения крестьян к классам, творящим историю в послефеодальный период, был весьма длительным и постепенным, со своими взлетами и падениями. В период феодального господства подавление и угнетение в разные времена имели различные степени интенсивности, но так или иначе, бывшие крепостные до тех пор не могли выйти из своей предыстории, пока не была полностью уничтожена их феодальная зависимость и господствующее положение феодалов не потеряло всю свою закрепленную законом силу. Само собой разумеется также, что свобода деятельности бывших крепостных и в исторический период их существования имела свои градации. Как в России, так и в других европейских странах важным фактором, влияющим на степень зависимости крепостных в период их предыстории, явился процесс превращения крупных феодалов в мелких землевладельцев (джентри). Этот процесс сопровождался установлением монархического правления и занял длительный период, в течение которого феодалы упорно сопротивлялись усиливающемуся господству монархии.

Как в Западной, так и в Восточной Европе монархическое правление утвердилось в результате столетий феодальных войн, в течение которых одни группы феодалов воевали с другими. В Англии примером войн, предшествовавших укреплению монархического правления, могут служить война Алой и Белой роз и Столетняя война. В России эпоха феодальных войн была менее четко выраженной, поскольку ее затмило более чем двухсотлетнее татаро-монгольское владычество (1240—1480 гг.). Но в целом сопротивление крупных феодалов (бояр) центральной власти московских князей было ощутимым как до, так и в особенности после свержения татаро-монгольского ига. Иван IV именно потому и получил прозвание «Грозный», что был грозен в подавлении самостоятельности феодалов своего времени (бояр). Бояре окончательно превратились в светскую знать и в мелкопоместное дворянство только при Петре Великом. Подлинное же сотрудничество знати и царской администрации установилось лишь во времена царствования Екатерины II, ознаменовавшего собой «золотой век» для русской высшей знати.

В Англии превращение крупных феодалов или в джентри, или в высшую знать произошло в период

царствования короля Генриха VIII, а окончательно — в царствование королевы Елизаветы I. В этой связи необходимо напомнить, что реформация церкви с ее закрытием монастырей и конфискацией большого количества принадлежавших церкви земель создала основу для передела земли и возникновения группы землевладельцев, обязанных своим положением тем новоприобретенным владениям и соответствующим им привилегиям, которые дала им королевская власть.

Что касается Франции, то здесь превращение крупных феодалов в высшую знать и в мелкопоместное дворянство произошло лишь во время правления Людовика XIV. При этом стремление французской знати к увеличению владений в самой Франции при Людовике XIV несколько ослабло вследствие политики завоеваний за рубежом.

В Германии и Италии междоусобицы крупных феодалов вообще не дали появиться сколько-нибудь сильной монархии. Феодалная раздробленность сохранялась в этих странах вплоть до конца XIX века. Превращение феодалов в знать, контролируемую монархом, шло с большим успехом как раз в тех немецких и итальянских княжествах и мелких королевствах, которые впоследствии сыграли определяющую роль в установлении единого монархического режима. Именно такими двумя главными княжествами была Пруссия в Германии и Савойя в Италии. В этих княжествах преобразование феодалной олигархии в знать, ориентированную на монархию, происходило быстрее, чем где-либо, если не считать юга Италии (то есть Неаполя и Сицилии), где был установлен самостоятельный монархический режим.

Вопрос, который необходимо здесь выяснить, связан с положением зависимых групп населения, крепостных, в периоды этих трансформаций. В большинстве случаев это превращение вело к более жестокому угнетению крепостных. Так, например, в период, непосредственно следующий за царствованием Ивана IV, то есть при царе Борисе Годунове, права крепостных оказались практически ликвидированными. В противоположность этому в Англии законы о возвращении владельцу беглых крепостных в случае их поимки были не столь жесткими. Там стало широко применяться правило, по которому беглый крепостной, не пойманный в течение года и одного дня, становился свободным. Увеличение числа сво-

бодных земледельцев (йоменов) в Англии могло таким образом происходить в основном за счет беглых крепостных.

Верноподданность знати и джентри монархическому правлению покоилась главным образом на предположении, что монарх учитывает их интересы. Такое положение вещей, конечно, исключало всякие надежды на ослабление социальных конфликтов, существовавших между знатью и их крепостными. В то же время отношения между монархической администрацией и крепостными были одним из факторов, косвенно ограничивающих эгзистические интересы землевладельческой знати. Монархическая администрация была заинтересована в росте продуктивности сельского хозяйства — основы обеспечения возможности для аристократии платить подати монарху, а также источника снабжения сельского и городского населения сельскохозяйственными продуктами. В теоретическом плане эта заинтересованность монархической администрации в увеличении урожаев нашла свое выражение во взглядах Кенэ, придворного врача Людовика XV, изложенных им в книге «Экономическая таблица». Появление этой книги было вызвано полным отсутствием всякой заинтересованности со стороны знатных землевладельцев Франции в каком-либо развитии сельскохозяйственного производства в своих поместьях.

Со времен Людовика XIV многие французские аристократы предпочитали круглый год находиться в Версале, чтобы принимать участие в повседневной жизни и деятельности королевского двора. Владения этих отсутствующих господ были предоставлены попечениям управляющих, которые, разумеется, заботились прежде всего о самих себе. В результате продуктивность сельского хозяйства во Франции значительно снизилась, что в свою очередь привело к разложению оброчной системы и ко все большей неспособности удовлетворить потребности как сельского, так и городского населения в продуктах земледелия. При таких условиях положение бесправных крепостных, так же как и крестьян, арендующих землю, резко ухудшилось не только в экономическом, но и в социальных отношениях. Экономическая депрессия в соединении с социальным угнетением, без сомнения, явилась одним из тех факторов, которые позднее привели к началу Великой французской революции.

Если же говорить об Англии, то здесь феодальный строй был подорван во время переворота Кромвеля и последующих за этим событий. Армия Кромвеля состояла в основном из йоменов, в прошлом беглых крепостных или их потомков. А эти люди еще не забыли о том, что такое быть крепостным. В результате переворот Кромвеля в значительной мере задержал экономическую деградацию и ослабил социальное угнетение крепостных. Поток беглых крепостных значительно возрос, а обычай считать их свободными от крепостной зависимости все более входил в силу.

Можно также отметить, что привычка английской знати проводить при лондонском королевском дворе лишь половину года, а другую половину — в своих усадьбах в свою очередь тоже способствовала ослаблению напряженности во взаимоотношениях землевладельцев-аристократов и их крепостных. В то время как французские аристократы, круглый год находившиеся в Версале и отсутствовавшие в своих поместьях, даже не знали, что там происходит, английские аристократы, часть года проводившие в своих имениях, были в курсе всех происходивших там событий. Таким образом, английские аристократы имели какое-то представление о тех жалобах, которые высказывались их крепостными, вследствие чего некоторые из наиболее вопиющих несправедливостей, допускавшихся по отношению к английским крепостным, оказывались смягченными. Таким образом, в Англии переход крепостного населения от предыстории к истории был связан не только с увеличением числа беглых крепостных, но параллельно сопровождался некоторыми послаблениями для тех, кто продолжал оставаться в крепостной зависимости.

Здесь необходимо указать, что свержение кромвелевского режима после того, как сын Оливера Кромвеля получил звание лорда-протектора, и последующая замена этого режима реставрированной монархией не повернули вспять начавшийся процесс дефеодализации крупных аристократических имений и исчезновения крепостной зависимости. И если для Англии точную дату крушения феодального строя указать трудно, то для некоторых стран континентальной Европы такая дата может быть названа вполне определенно. Во Франции феодальный режим был, как известно, уничтожен Французской револю-

цией 1789 года. Все аристократы, владевшие землей как наградой за свою верноподданность монарху, лишились своих владений и титулов. Вместе с этим была уничтожена экономическая и социальная основа существования крепостного права. Бывшие крепостные получили возможность или превратиться в землевладельцев, или направиться в города для занятия торговлей, или стать рабочими. И именно в этом своем новом качестве бывшие крепостные стали теперь активными участниками исторического процесса.

В Генеральных штатах, собиравшихся до начала Французской революции и возобновивших свои сессии после нее, бывшие крепостные непосредственно представлены не были. Представительство в Генеральных штатах было расширено за счет включения в них средних слоев французского населения. Тогдашние притязания французских средних слоев на собственное место в истории получили отражение в широко распространенных памфлетах и брошюрах того времени. Но бывшим крепостным, становившимся теперь наемной рабочей силой в городе и в деревне, представительство в Генеральных штатах вовсе не гарантировалось и не обеспечивалось. В этот период, возможно, считалось, что человек, свободный от уз крепостного права, сам может пробиться в средний класс населения, если сумеет заняться, скажем, торговлей. Теоретическое положение о том, что рабочий класс заслуживает своего собственного представительства в органах власти, было сформулировано только К. Марксом и Ф. Энгельсом. Во время Французской революции и в период, непосредственно последовавший за ней, бывшие крепостные принимали участие в историческом процессе еще не в полной мере. Время от времени они появлялись на арене истории, но эти спонтанные и спорадические попытки включиться в исторический процесс не получали соответствующего организационного воплощения.

Аналогичная ситуация сложилась и в Англии после Кромвеля. Хотя, как уже говорилось, поток беглых крепостных возрастал, а положение остававшихся в неволе крепостных несколько облегчалось, политического представительства групп населения, не владеющих землей, не существовало. Напомним, что Джон Локк в своих трудах призывал правительство обеспечить политическое представительство мелких землевладельцев. В этом Локк

опередил свое время, так как тогда достойными политического представительства считались только крупные землевладельцы. Этот тезис был выражен Гоббсом в его «Левиафане». В дальнейшем мысль Локка о том, что только землевладельцы, как крупные, так и мелкие, заслуживают политического представительства, была принята не только в Англии, но также и в отпавшей от Англии британской колонии — в Соединенных Штатах Америки. И вплоть до середины XIX в., когда президентом стал Джексон, правом политического представительства, согласно Конституции США, обладали лишь владельцы собственности.

В Англии требование права политического представительства для рабочих было выдвинуто в ходе чартистского движения. Несмотря на препятствия, чинимые движению чартистов, это движение в конце концов привело к расширению политического представительства в британском парламенте. В 40-х годах XIX в., когда премьер-министром был лорд Рассел, средние слои населения Англии получили право представлять в парламенте и, таким образом, стали играть действительно историческую роль в жизни английского народа. В 70-х годах XIX в., при правительстве Дизраэли, английские рабочие также получили возможность иметь своих представителей в британском парламенте. С этого момента английские рабочие стали играть свою историческую роль в британском обществе, разделенном на классы.

Что же касается России, то надо отметить, что, после того как с конца XVII в. (в царствование царя Алексея, второго царя из династии Романовых) перестали созываться земские соборы (на которых крупные феодалы — бояре — представляли своих крепостных), там больше не существовало общенационального представительного органа. Только после того, как крепостное право было отменено декретом царя Александра II, бывшие крепостные получили возможность выражать свои интересы на уровне местных земств. При этом дарование им права самим представлять свои собственные интересы несколько не уравнивало их в социальном отношении с крупными помещиками. Недавние крепостные получили право выкупить некоторую часть земли у землевладельческой знати. Это право, однако, не было по-настоящему реализовано, но если бы даже оно и было осуще-

ствлено на деле, это все равно не изменило бы их при-
ниженного в социальном отношении положения.

Бывшие крепостные были освобождены от социально-
го угнетения только после победы Великой Октябрьской
социалистической революции 1917 г., когда вся земля
была национализирована. Этот революционный переворот
может быть охарактеризован как переход от номинальной
исторической роли бывших крепостных, освобожденных
от крепостного права в царской России по царскому де-
крету, к роли подлинно исторической.

Обратимся теперь к рассмотрению некоторых аспектов
предысторического и исторического уровней развития
в области интернациональных и внутринациональных от-
ношений. В сфере международных отношений истори-
ческий и неисторический аспекты отчетливо выявляются
во взаимоотношениях между метрополией и колонией.

В качестве примера можно взять 13 североамерикан-
ских колоний в период, предшествовавший американской
войне за освобождение. Народ, состоявший из колонистов
в североамериканских владениях Англии, был объектом
английской политики, и потому следует считать, что
в колониальный период он не имел своей собственной ис-
тории. Для колонистов историю творила монархическая
администрация Англии, соблюдая при этом интересы пра-
вящих слоев метрополии. Британское министерство тор-
говли выработало и неуклонно проводило политику, вы-
годную для Англии, игнорируя интересы колоний и
проживающих в них колонистов. Англия полностью
контролировала как весь экспорт продуктов производства
из североамериканских колоний, так и весь импорт, раз-
решая перевозку торговых грузов лишь на принадлежа-
щих Англии кораблях. Таким образом, налоги в виде
тарифа на импорт и экспортные выплаты должны были
идти в британскую казну. Кроме того, колонистам не разре-
шалось иметь собственные банки и собственную валюту,
благодаря чему выгода от соответствующих операций
принадлежала правительству Британии и ее правящему
классу. И это лишь некоторые из многих акций, направ-
ленных на ущемление интересов колонистов к выгоде ан-
глийского правительства и правящего класса метрополии.

В 13 американских колониях собирались провинциаль-
ные ассамблеи, но во всем, что выходило за рамки их
права решать свои чисто внутренние дела, эти ассамблеи

являлись не чем иным, как выразителями воли британской администрации. Для выработки общей политики в 13 колониях не существовало местного органа власти. Максимум того, что могли колонисты, — это направлять петиции британскому правительству. Иными словами, до освободительной войны 13 североамериканских колоний Англии, по существу, не имели своей собственной истории. История североамериканских земель в колониальный период была подчинена английской истории и, следовательно, была ее составной частью.

Рассмотрим теперь другую главу британской истории, относящуюся к колониальной политике Англии в Индии — стране, которую в свое время называли жемчужиной в британской короне. В интересах процветания британской текстильной промышленности в Индии было разрушено кустарное текстильное производство. Индия должна была служить экспортером сырья в Англию и импортировать продукцию английской промышленности. Колониальная политика Англии в Индии была направлена на сохранение полуфеодального характера крупных землевладений в этой стране. О каком-либо содействии ее индустриализации речи быть не могло. Надо сказать, что британский правящий класс и британское правительство, представлявшее его в XIX веке, придерживались в своих отношениях с индийскими полуфеодальными крупными землевладельцами джентльменского соглашения, по которому последние сохраняли все свои основные привилегии и доминирующее положение в индийском обществе и в индийской экономике, что делало этих землевладельцев в известном смысле младшими партнерами английского правящего класса.

И это положение младших партнеров, в которое были оставлены индийские феодалы, не позволяло им играть сколько-нибудь активной роли в течение всего периода английского колониального господства. Даже наиболее крупные землевладельцы Индии должны были неукоснительно следовать политике, проводимой британским правительством. Лишь после того, как по окончании второй мировой войны, когда в завоевавшей независимость Индии были созданы собственные представительные органы власти, эта страна получила возможность творить свою историю — возможность, которой она была лишена в течение трехсот лет английского господства. В этот период

только восстания против английских колонизаторов, имевшие место в XIX веке, могут рассматриваться как отдельные проблемки собственной истории Индии.

Особый случай для нашего рассмотрения представляют такие притесняемые группы населения, угнетение которых осуществляется не в рамках международных отношений, а в системе внутригосударственной политики. Выделить данный вид угнетения нас заставляют соответствующие факторы, отличающие его от того угнетения, которому подвергаются во внутригосударственной структуре данной страны другие группы населения.

Примером подобного положения может служить угнетение рабов-негров в Соединенных Штатах Америки. Негритянское население до гражданской войны находилось в состоянии полного социального застоя и неподвижности, оказываясь, таким образом, в положении касты, обособленной от остального населения страны. Конечно, различные слои белого населения в этот период отличались между собой в социальном, политическом и экономическом отношениях. Однако тот факт, что лишь негритянское, а не все население в целом оказалось исключенным на определенный период из всякого социального развития, гарантировал сохранение так называемого цветного барьера, отделявшего рабов-негров от остальной части населения в колониальный и постколониальный периоды истории США вплоть до начала гражданской войны.

Негритянское население было сведено в этот период на самую низкую ступень социальной лестницы, на которой не находилась ни одна группа белого населения.

Считалось, что привилегированные в социальном и экономическом отношениях группы, наделенные правами политического представительства, представляют также и обездоленные в социальном отношении слои белого населения, не имевшие какой-либо собственности. Иными словами, привилегированные слои белого населения обладали правом действовать не только от своего имени, но также и от имени непривилегированной части белых. Подобная политическая система подразумевает, что, несмотря на относительно большую дифференциацию групп белого населения в социальном и экономическом отношениях, между этими группами все же имелась некая устойчивая связь. Но если говорить о взаимоотношениях

рабов-негров и белого населения страны, то никакой такой связи между ними, ни скрытой, ни явной, тогда просто не существовало. Негры-рабы в этот период оказывались в положении изгоев. Никто не был обязан ни реально, ни номинально выражать их интересы. Они просто не могли принадлежать к населению страны, не могли представлять собой его часть.

Разумеется, при таких условиях негритянское население находилось на предысторическом этапе своего развития. Особенность положения негров в данном случае состояла в том, что оно, если можно так выразиться, было еще более предысторично, чем положение непривилегированных белых. Если положение угнетенных белых не было, хотя бы формально, полностью безвыходным, то главная особенность социально-экономического положения негров состояла именно в отсутствии вообще какого-либо выхода. Коль скоро среди белой части населения существовала хоть какая-то социальная мобильность, то в принципе некоторые непривилегированные белые имели потенциальную возможность возвыситься до уровня привилегированных. Но такая возможность целиком отсутствовала в отношении негритянского населения. Поэтому не случайно, что один из поводов возникновения гражданской войны был связан с попытками распространить принцип социальной иммобильности на северные штаты. Именно дело Дреда Скотта в Верховном суде Соединенных Штатов, касавшееся беглых рабов, искавших убежища на Севере, явилось чем-то вроде *casus belli** к возникновению гражданской войны.

Конечно, части беглых рабов удавалось добраться до северных штатов страны. Однако статус этих беглых рабов не мог идти ни в какое сравнение со статусом беглых крепостных в европейских странах. Как уже говорилось выше, беглые крепостные, сумевшие укрываться от поимки в течение года и дня с момента побега, поднимались на новую ступень в социальном, экономическом и политическом отношениях. Существование социальной мобильности пробуждало во все более растущем числе крепостных в европейских странах надежду на преодоление своего приниженного во всех отношениях — социальном, экономическом и политическом — положения. Для убе-

* Повод к войне (лат.).

гавших на Север рабов-негров во времена, предшествующие гражданской войне, никакой подобной возможности не существовало. Беглые рабы продолжали оставаться бесправными и на Севере. Существование на Юге рабства бросало свою тень на бежавших в северные штаты рабов и отражалось на обращении с ними белых северян.

Благотворительность северян в отношении беглых рабов заключалась в предоставлении им убежища от длинных рук их преследователей, тех, кто по приказу рабовладельцев-южан ловил этих рабов. Однако, предоставляя убежище, белые северяне все же не забывали, что беглые рабы нарушили законы и обычаи Юга, а значит, они являются преступниками. И хотя нарушенными были законы и обычаи Юга, а не Севера, преступление против законов Юга, совершенное беглыми рабами, ставило их в глазах северян в полулегальное положение. Отсюда вытекает несложный вывод, что для облагодетельствованных со стороны северян негров было бы верхом неблагодарности требовать для себя еще каких-то прав гражданства.

И все же между беглыми рабами и теми, кто оставался на Юге, имелась разница. Так, беглые рабы имели возможность зарабатывать. Следует подчеркнуть, что раб никогда не мог иметь такой возможности. Раб, как это было на довоенном Юге,— это лицо, в экономическом и социальном отношении опекаемое рабовладельцем. Рабовладелец дает рабу работу, он также обеспечивает ему кров, одежду и пищу. Раб, таким образом, лишен какого-либо права принимать собственные решения по поводу характера работы, времени ее совершения, вне рабочего времени и вида вознаграждения за свою работу. Итак, на Юге до гражданской войны раб в течение всей своей жизни находился под опекой рабовладельца. Такова была предыстория рабов-негров на Юге в течение всего указанного периода.

Конечно, время от времени рабы восставали, пытались перейти из предысторической фазы в историческую. Но все эти попытки рабов добиться изменений в социальной структуре общества и в экономике Юга постигала неудача. Периоды восстаний оказывались лишь спорадическими вспышками в долгой ночи рабства и предыстории американских негров.

Победа Севера в гражданской войне привела к отмене принципа социальной иммобильности для негров на Юге.

Негритянское население как на Юге, так и на Севере получило потенциальное право социальной мобильности и политического представительства. Эта перспектива, однако, обладала лишь потенциальными возможностями; и таковой она оставалась в течение долгого времени. В экономическом отношении статус рабов для большей части негритянского населения на Юге был заменен статусом издольщиков. Такое положение бывших рабов фактически исключало возможность их социального и экономического продвижения, что означало для них отсутствие на практике всяких предпосылок социальной мобильности. Нужно сказать, что многие факторы социальной мобильности не проявились полностью даже много позднее, во время первой мировой войны и в ближайший послевоенный период; более того, в течение второй мировой войны и послевоенного периода. Вынужденные выполнять наиболее неквалифицированные виды труда, негры составили самые угнетенные и приниженные в социальном отношении слои рабочего класса.

Необходимо отметить, что освобождение негров, приведшее к появлению на капиталистическом рынке труда массы дешевой рабочей силы, было определенным шагом вперед в их социальном развитии. Непосредственное включение негров в систему капиталистических экономических отношений обеспечило экономический базис для реализации принципа социальной мобильности негритянского населения США.

Но процесс реализации этого принципа всегда наталкивался на бесчисленные преграды. Параллельно с препятствиями социальному продвижению негров сохраняется система сегрегации в отношении местожительства и обучения. Только под давлением негритянского населения и некоторых групп белых в 60-х годах XX в. были наконец приняты так называемые Законы о гражданских правах и негритянское население Америки стало на путь достижения равных прав гражданства со всеми белыми. Были также достигнуты некоторые сдвиги в отношении структуры занятости негров разными видами труда. Возросла доля негров в числе квалифицированных рабочих. Благодаря этому принцип социальной мобильности для негритянского населения стал более реальным, чем когда-либо за весь столетний период после окончания гражданской войны.

В контексте сказанного можно утверждать, что американские негры вышли на ту же дорогу истории, что и белое население страны. Между ними еще сохраняется определенная дистанция, но, во всяком случае, начало положено. Негритянское и белое население в Соединенных Штатах движутся в одном направлении классово-социальной дифференциации под воздействием единых исторических закономерностей. Борьба за осуществление политического права участия в выборах в результате принятия в начале 60-х годов Акта о гражданских правах подняла негритянское население на новую ступень на пути к обладанию подлинными правами гражданства. Таким образом, негры в Соединенных Штатах наравне с белым населением в настоящее время начали играть действительно историческую роль в судьбах своей страны.

МАРКСИЗМ, МИР И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ*

Джон Сомервилл

В этой статье я попытаюсь ответить на три вопроса: 1) Какова позиция классического марксизма в отношении современной проблемы войны и мира? 2) Какие изменения в этом вопросе произошли в результате появления ракетно-ядерного оружия? 3) Какие выводы следуют, если мы применим к современной проблеме войны и мира исторический тезис — центральный для всего воззрения К. Маркса на общество, — что качественные изменения в технологическом базисе требуют соответствующих изменений в надстройке, а именно в моральных и политических принципах?

Точка зрения классического марксизма по вопросу войны и мира в общем хорошо известна¹. Она базируется на классовом подходе, подчеркивая, что войны порождаются капиталистической системой, что интересы частнособственнической прибыли приводят к политике войны,

* Доклад на XV Международном философском конгрессе.

¹ Иначе обстоит дело с вопросом, касающимся понимания марксистами предпосылок участия в революционной гражданской войне с целью свержения существующего правительства. В буржуазных странах, особенно в США, интенсивно пропагандируется искаженное мнение, согласно которому эти предпосылки не включают в себя необходимости завоевания поддержки большинства; марксисты представляются бланкистами, верящими в заговорщическую тактику групп, находящихся в меньшинстве. Подобная фальсификация всегда использовалась реакционерами в качестве оружия против прогрессивно мыслящих деятелей, служив в качестве оправдания принятия законов, направленных против коммунистов. См. также: John Somerville, *The Communist Trials and the American Tradition: Expert Testimony on Force and Violence*. New York, Cameron, 1956.

что грабительская политика захвата сырьевых ресурсов и рынков сбыта за границей является естественным дополнением политики классовой эксплуатации в своей собственной стране. Моральная оценка войны с позиции марксизма состоит в том, что война — это отрицательное явление, так как она несет смерть и страдания людям, а также разрушает созданные их трудом материальные ценности. Она оправдана только в том случае, если связана с социальной борьбой угнетенных за свое освобождение, борьбой народов против колониализма и неоколониализма. Иными словами, если сила и насилие используются против народа в нарушение его человеческих прав, такой народ имеет право в свою очередь использовать силу и насилие, чтобы защитить себя и сохранить свои права. В этом состоит содержание понятия справедливой войны. Можно сказать, что справедливая война существует только потому, что существует несправедливое общество. Когда во всемирном масштабе будет создано общество человеческой справедливости и изобилия, то есть, по мысли К. Маркса и Ф. Энгельса, полностью развитый коммунизм, необходимость в войне исчезнет и государственный аппарат физического насилия — армия, флот, воздушные силы и полиция — постепенно «отомрёт», как указывал Ф. Энгельс¹. Однако, пока эти условия не достигнуты, применение войны может быть политически и морально оправдано в том случае, если она представляет собой акт коллективной самообороны, вызванной насилием агрессоров.

Нетрудно видеть, что центральным и обязательным пунктом этой позиции классического марксизма в отношении определения характера войны было предположение, что война ведется не с применением оружия тотального уничтожения, то есть оружия, способного уничтожить все формы жизни на нашей планете. У нас нет данных, которые свидетельствовали бы о том, что К. Маркс или Ф. Энгельс когда-либо обсуждали такую возможность и все ее следствия. Но допустим на минуту, что они эту проблему рассматривали. В таком случае как бы они ответили на вопрос: «Может ли справедливая война вестись с применением подобного оружия?» В принципе можно допустить, что К. Маркс или Ф. Энгельс

¹ См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 19, стр. 225.

ответили бы примерно так: «Право на самооборону всегда имеет место; если на кого-либо нападут с использованием термоядерного оружия, он имеет право использовать в ответ точно такое же оружие, даже если в конце концов человеческая цивилизация будет уничтожена». Мне, однако, кажется более вероятным, что К. Маркс и Ф. Энгельс ответили бы следующими словами: «Когда мы говорим о справедливой войне, мы имеем в виду, что одна из сторон вооруженными средствами защищает свои жизни, права и материальные ценности, потому что другая сторона пытается такими же средствами уничтожить эти жизни, права и материальные ценности. Однако, если данный вид вооружений, используемый для того, чтобы «защитить» жизни, права и материальные ценности, приводит к такому результату, как всеобщее уничтожение, то понятие справедливой войны здесь оказывается неприменимым как для нападающей стороны, так и для подвергшейся нападению — обмен ядерными ударами означает самоубийство, саморазрушение, и не только саморазрушение, но и всеобщее уничтожение. Было бы в самой высшей степени глупо и аморально поступать таким образом»*.

Однако подобный ответ является ответом лишь с точки зрения здравого смысла. Для такого ответа К. Марксу не надо было быть, так сказать, Марксом, здесь достаточно быть человеком средних или нормальных способностей. Кроме того, с точки зрения здравого смысла может показаться, что решение проблемы вполне очевидно и состоит оно в уничтожении всех видов оружия массового уничтожения и возвращении к периоду, когда войны велись с применением обычного оружия, которое не столь разрушительно в своих последствиях. С точки зрения юридических и дипломатических понятий это решение состояло бы в том, чтобы все государства, владеющие ядерным оружием, подписали соглашение о неиспользовании такого оружия, его уничтожении и запрещении его производства. Как оценить эту идею?

* Данный тезис не может не вызвать возражений. Рассматривая вопрос о характере войны в эпоху ракетно-ядерного оружия, автор отдает здесь известную дань абстрактно-пацифистскому подходу к решению этой проблемы. С диалектико-материалистической точки зрения у нас нет никаких оснований отрицать правильность деления войн на справедливые и несправедливые даже в подобных крайних случаях. — *Прим. ред.*

Хотя соглашение подобного рода, несомненно, представлялось бы хорошим делом, всякий после некоторого размышления поймет, что в качестве подлинного решения проблемы оно не годится, даже если оно честно принято всеми заинтересованными сторонами. Дело в том, что поскольку невозможно уничтожить знание технологии производства оружия массового уничтожения, то в случае, если между главными державами произойдет столкновение, каждая из сторон может попытаться не только возобновить производство ядерного оружия, но и форсировать создание новых видов подобных средств разрушения. Кроме того, вообще невозможно представить все будущие военные применения результатов научных исследований и открытий.

У нас нет свидетельств того, что темпы научно-технической революции замедляются. Скорее, наоборот, следует думать, что научно-технический прогресс пока еще находится в самой начальной точке своего развития; все более и более ускоряясь, он придет к результатам, которые в настоящее время совершенно трудно предположить. И не существует никакого волшебного средства, с помощью которого можно было бы предупредить возможность применения достижений технического прогресса в области создания новых систем оружия, поскольку само оружие является не чем иным, как машинами, техническими устройствами и научно контролируемыми физическими и химическими процессами, используемыми с целью разрушения. Это важный момент диалектики научно-технического прогресса, который в определенных социальных условиях всегда будет увеличивать потенциальную опасность уничтожения человечества. Каков ответ на данную ситуацию? На первый взгляд может показаться, что ответ уже дан классическим марксизмом в его учении о войне, как о специфическом продолжении классовой политики, о чем уже говорилось выше. Согласно этому учению, главной причиной войны в современном мире является капитализм. Когда капитализм как экономическая система сменится в мировом масштабе социализмом и коммунизмом, тогда опасность возникновения войн исчезнет. Однако классический марксизм равным образом подчеркивает, что капитализм не уйдет пассивно и без всякого сопротивления с исторической арены, что в своей борьбе против социалистического лагеря

капитализм может прибегнуть к использованию всех видов вооружений, включая самые совершенные, которые только находятся в его распоряжении. Для К. Маркса и Ф. Энгельса это означало, что силы социализма и коммунизма должны подготовиться для борьбы в последних решающих схватках против капитализма с использованием того же самого оружия и, если возможно, даже более высоко развитого. В наши дни этот тезис означает, что силы социализма и коммунизма должны готовиться к борьбе с применением оружия колоссальной разрушительной силы, использование которого привело бы, скорее всего, к гибели человеческой цивилизации. Трудно поэтому поверить, что К. Маркс и Ф. Энгельс отстаивали бы этот же тезис и сегодня. Думается, что они искали бы какое-то иное решение этой исторической беспрецедентной проблемы, что мы и должны делать сегодня.

Какие же возможные пути для ее решения имеются в настоящее время? Эта специфическая проблема, учитывая ее огромную важность, еще сравнительно мало обсуждалась, и при ее обсуждении чаще всего подчеркивается, что силы социализма и коммунизма должны быть во всех отношениях подготовлены к использованию оружия массового уничтожения, не стремясь использовать его фактически. Другими словами, сам факт обладания силами социализма и коммунизма этим оружием не позволит другой стороне использовать аналогичное собственное оружие, поскольку она знает, что ядерная конфронтация, доведенная до предела, может уничтожить человеческую цивилизацию.

Эта идея, несмотря на свои некоторые достоинства, представляется все же весьма ограниченной, что особенно хорошо видно на примере кубинского кризиса 1962 года, а также в свете публикации в 1968 г. доклада Роберта Кеннеди, содержащего описание процессов принятия решений американским правительством во время этого конфликта. Давайте внимательно проанализируем приведенные в этом докладе факты, так как они лучше, чем что-либо другое, обозначают центральную проблему. В то время брат Роберта Кеннеди, Джон Кеннеди, являлся президентом Соединенных Штатов, а Роберт Кеннеди, будучи министром юстиции, был одним из членов группы высших должностных лиц, которые помогали президенту в выработке окончательных решений. Детальный и

беспристрастный анализ Робертом Кеннеди процесса выработки решения в ситуации международного конфликта и оценка всех факторов, которые повлияли на принимаемые американским правительством решения, несомненно, сделали его маленькую книжку одним из важнейших документов XX столетия. Важнейшим потому, что она бросает свет на образ мыслей и шкалу ценностей руководителей США в ситуации принятия обдуманного решения, грозящего гибелью человечества. Книга имеет заголовок: «Тринадцать дней: воспоминания о кубинском ракетном кризисе»¹. Первая публикация, которая появилась в ежемесячном журнале, имела подзаголовок: «Рассказ о том, как чуть было не закончилась мировая история».

Хотя этот подзаголовок выглядит неправдоподобным, в целом он отвечает духу фактов, приводимых в данном документе. Главные из них следующие:

1) Президент Кеннеди и его советники признавали, что Советский Союз имел такое же законное право принять предложение Кубы о создании ракетных баз в этой стране, как и Соединенные Штаты имели право принять приглашение Турции создать ракетные базы, которые в то время были в Турции уже созданы² (Турция к тому же находится ближе к Советскому Союзу, чем Куба к Соединенным Штатам).

2) Однако создание ракетных баз на Кубе застало американское правительство врасплох и было расценено как непосредственная угроза США. Президент Кеннеди отдал приказ о вооруженной блокаде Кубы и объявил миру, что любая попытка доставить ракеты на Кубу будет пресечена силой³.

3) Советские руководители предложили, чтобы вопрос был решен на основе одновременного удаления советских ракет с Кубы и американских ракет из Турции⁴.

4) Президент Кеннеди и его советники отвергли это предложение и информировали Советское правительство, что, если советская сторона не демонтирует ракетные базы немедленно, на них будут сброшены бомбы и они будут уничтожены американскими самолетами. Американские

¹ Robert F. Kennedy. *Thirteen Days: A Memoir of the Cuban Missile Crisis*, New York, New American Library, 1969.

² Robert F. Kennedy. *Op. cit.*, p. 94, 95.

³ *Ibid.*, p. 55, 135, 140—143.

⁴ *Ibid.*, p. 94.

бомбардировщики были приведены в полную боевую готовность для выполнения этой задачи¹.

5) Анализируя сложившуюся ситуацию, президент Кеннеди и его советники допускали возможность того, что Советское правительство откажется пойти на уступки, демонтировать ракетные базы и будет рассматривать бомбежку баз как акт агрессии, предприняв соответствующие ответные действия, в результате чего между Соединенными Штатами и Советским Союзом может вспыхнуть война, которая будет термоядерной, разрушительной войной и приведет к уничтожению цивилизации. Они стояли перед лицом *всех этих последствий* своего решения, но тем не менее пришли к выводу, что должны принять такое решение и что приказ начать бомбежку будет отдан, если Советский Союз в одностороннем порядке не демонтирует свои ракетные базы².

В примечаниях к моему тексту я документирую каждое из этих пяти утверждений постраничными ссылками на книгу. Если будут сомнения относительно точности формулировок, я могу привести соответствующие отрывки. Однако в любом случае это необходимо сделать, в отношении пункта 5, так как в нем заключается вся суть вопроса и он производит впечатление наиболее невероятного. Давайте вернемся к тому месту в книжке Роберта Кеннеди, где он рассказывает о своей последней беседе с советским послом Добрыниным, которую он имел по указанию президента Кеннеди для того, чтобы довести до сведения Советского Союза всю серьезность решения, которое принято американским правительством. Он сказал Добрынину: «Мы должны получить к завтрашнему дню обязательство, что эти базы будут демонтированы... Следует понять, что, если эти базы не будут демонтированы, мы уничтожим их сами... Возможно, что Ваша страна сочтет необходимым предпринять ответные действия, но это поведет к гибели не только американцев, но также и русских... Я сказал, что мы должны иметь ответ на следующий день, и вернулся в Белый дом. Президент не был настроен оптимистически, я тоже. Он приказал 24 военнотранспортным самолетам из резерва воздушных сил быть в состоянии полной боевой готовности. Они были необходимы для вторжения. Его не покидала некоторая надеж-

¹ Ibid., p. 108.

² Ibid., p. 98—99, 106.

да... Надежда, но не ожидание. Ожиданием же было военное столкновение ко вторнику, а возможно, даже завтра».

Таким образом, *ожидание*, столь тщательно отличаемое от надежды, состояло в том, что Советский Союз не демонтирует в одностороннем порядке ракетные базы, что американские войска должны уничтожить их путем вооруженного вторжения, которое открывало дорогу к войне между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Более того, Кеннеди подробно описывает предполагаемые детали дальнейшего развертывания событий: ожидалось, что война сделается мировой и будет использовано ядерное оружие массового уничтожения. Говоря о президенте, Роберт Кеннеди пишет: «Его мысли блуждали по карте мира. Что может произойти в Берлине, Турции? Могут ли или должны быть запущены ракеты с турецких баз, если мы атакуем Кубу, а русские ответят на это нападением на Турцию?»

По его приказу были приведены в состояние повышенной боевой готовности ракеты с ядерными боеголовками, которые ожидали теперь его дальнейшего личного распоряжения о начале ядерной атаки»¹.

Эти решения, которые роковым образом могли повлиять на судьбу народов целых континентов, принимались президентом США в ситуации, когда счет времени шел на часы². Следует еще раз подчеркнуть, что американское

¹ Ibid., p. 98.

² Ibid., p. 99. Роберт Кеннеди не объясняет, путем какого морального исчисления могут быть с такой быстротой приняты решения, которые влекут за собой возможность всеобщего уничтожения человеческой цивилизации. Странно также выглядит утверждение, особенно в устах министра юстиции Соединенных Штатов, что решение начать военные действия должно быть принято «только президентом». Конституция Соединенных Штатов ясно и определенно указывает, что такое решение может быть принято только конгрессом (параграф 1, раздел 8, 11). Президент, как главнокомандующий, может отдать приказ о немедленном применении силы на любое внезапное нападение, но это еще не является войной. Право решать, что такой случай должен сопровождаться крупномасштабной длительной войной, и право *начать* военные действия в отсутствие прямого нападения, то есть сделать войну делом политики, предоставляется только конгрессу, а не президенту. Авраам Линкольн (в письме к Хердону) подчеркивал, что «положение Конституции, согласно которому право начала войны предоставляется конгрессу», проистекает из того, что основатели Соединенных Штатов понимали, что это право «является самой тяжелой ношей во всем бремени государственной власти, и они создали Конституцию в такой форме, чтобы такой властью не обладал

правительство полностью отдавало себе отчет в катастрофических последствиях этих решений. Роберт Кеннеди пишет: «Мысль, которая беспокоила его (президента) больше всего и которая делала перспективу войны более страшной, чем все другое, — это призрак смерти детей его страны и всего мира, молодых людей, которые не понимают всего происходящего и даже вообще ничего не знают о самом существовании конфронтации, но чьи жизни были бы погублены, подобно жизням любых других людей» (стр. 106). Как видим, гибель детей беспокоила президента больше всего. И тем не менее, несмотря на то что и президент и его советники хорошо представляли себе все последствия решения потребовать от Советского Союза ликвидации его ракетных баз на Кубе (в противном случае предполагалось эти базы подвергнуть бомбардировке с воздуха), они прониклись чувством, что приказ должен быть отдан, и фактически это было сделано. Таким образом, всеобщее уничтожение человеческой цивилизации было сознательно выбрано в качестве предпочтительного варианта по сравнению с присутствием ракет Советского Союза на Кубе. Если выразаться более точно, то всеобщее уничтожение сознательно предпочиталось одновременному вывозу советских ракет с Кубы и американских ракет из Турции.

В конце посмертно опубликованной книги Роберта Кеннеди его друг и редактор Теодор Соренсен добавил патетическое примечание следующего содержания: «В намерения сенатора Кеннеди как раз и входило обсудить основную этическую проблему: какое обстоятельство или оправдание дает данному или любому другому правительству моральное право довести его народ и, возможно, все народы до непосредственной угрозы ядерного уничтожения. Он написал эту книгу летом и осенью 1967 года на

ни один отдельный человек». Цит. по: Francis Wormuth. *The Vietnam War: The President Versus the Constitution*, Santa Barbara, California. Center for the Study of Democratic Institutions, 1968, p. 11. Президенты начинают войну тогда, когда они имеют основание полагать, что конгресс не поступил бы подобным образом. О фактах, относящихся к вьетнамской войне по этому вопросу, см.: John Somerville. *The Relation of Morality and Law to Contemporary Youth Protests in the United States*. VIIIth World Congress of Sociology. Varna, 1971. Дополнительный анализ проблемы американской «президентской войны» и мира во всем мире см.: J. Somerville. *Durchbruch zum Frieden*, ch. I, II, Darmstadt, Verlag Darmstädter Blätter. 1973.

основе своих личных дневников и воспоминаний, но он никогда не имел возможности ее переписать или закончить»¹. Нет ничего удивительного в том, что Роберт Кеннеди осознавал всю проблему, связанную с попыткой найти моральное оправдание подобным решениям, оправдание, которое, будучи изложено на бумаге, выглядело бы убедительным. И столь же не удивительно то, что он не нашел этого оправдания. В самом деле, как можно оправдать тотальное уничтожение человечества, которое означает не только уничтожение всей разумной жизни и ценностей, накопленных человечеством, но и уничтожение всего будущего человечества со всеми скрытыми в нем беспредельными человеческими возможностями? Это преступление настолько чудовищно и невыразимо словами, что ему даже нельзя найти названия.

Однако это решение было принято высокообразованными личностями, людьми, морально чувствительными во многих других отношениях. Каким образом возможно такое? Я исследовал в другом месте психологические, а также социально-культурные условия, которые могли бы объяснить сам факт принятия подобного решения такими личностями и тот факт, что оно не вызвало волну негодования со стороны общественности². Однако то, что нас здесь интересует, и то, что мы рассматриваем как одну из самых жгучих проблем современности, заключается в очевидном факте, который может быть сформулирован в следующем виде: осознание всех возможных катастрофических для человечества последствий решений, принимаемых государственными деятелями, являющимися образованными людьми, не дает нам никаких оснований надеяться, что в критической ситуации это сознание удержит их от принятия роковых решений. Дает ли нам классический или современный марксизм что-нибудь эффективное, на что мы можем опереться в попытке решить данную проблему, которая теперь сделалась в самом буквальном смысле предварительным условием для решения всех других проблем? Если классический марксизм предоставляет нам такую возможность (а я думаю, что это так и есть), то она, во всяком случае, не заключается в концепции, согласно которой капитализм будет уничто-

¹ Robert F. Kennedy. Op. cit., p. 128.

² John Somervill. Durchbruch zum Frieden, ch. V, Verlag Darmstädter Blätter, 1973.

жен в последней тотальной войне, после чего возникнет твердая основа для мира на земле. Насколько мы можем судить сегодня, после такой войны будет действительно мир, но, к несчастью, это будет уже не человеческий мир. Классический марксизм предлагает нам нечто другое, что не есть еще решение, но есть основа, опираясь на которую можно надеяться достичь решения. Мы имеем в виду глубокую многостороннюю мысль, которая уже упоминалась нами вначале: фундаментальная динамика человеческой истории находит отражение в изменениях, которые происходят в технологическом базисе человеческого общества, то есть в орудиях, силах, материалах и методах общественного производства. Изменения, которые имеют место на этом базисном уровне, в конце концов (через соответствующие изменения в производственных отношениях) делаются главными причинами изменений на надстроечном уровне, который включает политику и мораль. Как писал К. Маркс в начале своего «Предисловия» к «Критике политической экономии»: «Способ производства материальной жизни обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще»¹. Другими словами, качественные изменения в силах и методах производства создают новые требования, возможности, новые потребности и условия, которые могут найти свое разрешение, осуществление и удовлетворение только через соответствующие качественные изменения в экономике, политике, морали, праве, образовании и других социальных институтах и факторах. Человек до сих пор выживал и развивался потому, что он был способен создавать подобные изменения, создавать их вовремя и при этом не как автоматические реакции на воздействия, а проявляя творческую инициативу, порождаемую интеллектом, мужеством и моральным чувством. (К. Маркс не давал мистической или фаталистической гарантии вечно успеха; он верил в успех человека, но не отрицал возможности, что человек может потерпеть неудачу и погибнуть.) Сегодня совершенно очевидно, что технические средства производства претерпевают качественные изменения, и это обстоятельство наиболее драматично проявилось в новой силе, созданной расщеплением атома и ядерным синтезом. Примененная в целях созидания, эта гигантская новая сила может создать для человека

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, стр. 7.

новую жизнь на земле. Примененная в целях разрушения, она может положить конец всей жизни на нашей планете. Человеку явно требуется новая теория и практика морали и политики, чтобы жить в мире с этой новой силой, продолжать существовать и развиваться. Старая теория и практика морали и старая политика отражают качественно другую, соответственно давно устаревшую ситуацию в технологическом базисе.

Это означает, что мы должны заново исследовать все унаследованные нами из прошлого обычаи, убеждения, принципы и практику, связанные с моралью и политикой войны в свете последствий применения нового оружия в войне. Это, несомненно, потребует новых разнообразных исследований, нового и многостороннего подхода к проблеме войны и мира в современных условиях. Реализация подобной программы сопряжена с немалыми трудностями и требует проявления неустанной творческой инициативы. Исключительно важно то, что начало здесь как в теории, так и на практике было положено марксизмом. Примером этого может служить вопрос, который мы только что рассмотрели, — кубинский кризис. Все старые обычаи, практика и принципы требовали от Советского правительства, чтобы оно отказалось от вывоза своих ракет с Кубы, если американцы не согласятся вывезти одновременно свои ракеты из Турции, и что оно должно противостоять американцам с оружием в руках и отвечать ударом на удар. В то время нашлись люди, которые критиковали Советское правительство за принятое им решение на том основании, что главная коммунистическая держава якобы потеряет доверие в глазах всего мира, потеряет свое политическое влияние и якобы будет неспособна проводить свою международную политику вопреки желаниям американского правительства. В действительности же произошло обратное. У большинства человечества Советское правительство завоевало моральное уважение и политическое доверие за свои усилия в деле предотвращения перерастания кубинского кризиса в разрушительную термоядерную третью мировую войну. Конечно, мы рассмотрели лишь отдельный пример, теоретические выводы из которого не решают проблемы в целом, которая все еще существует и бросает нам вызов; и мы должны принять этот вызов с глубочайшей ответственностью. Для человеческого будущего другого пути не существует.

КОГО СЛЕДУЕТ ВИНИТЬ ЗА КРИЗИС ГОРОДОВ: ДВА КОММЕНТАРИЯ

Герберт Антекер

I

Эдвард К. Бэнфилд — специалист по вопросам городского управления, профессор Гарвардского университета, являвшийся также при президенте Никсоне председателем рабочей группы по разработке программы моделирования городов (Model Cities Program). Когда человек, занимающий подобное положение, выпускает книгу под названием «Забытый богом город: характер и перспективы нашего городского кризиса», изданную при содействии Гарвардского университета и Массачусетского технологического института, оказывавших, как писал Бэнфилд, постоянную и длительную помощь в подготовке его книги, возникает желание воспринять ее всерьез. Однако лишь положение автора, отмеченное выше, является тому причиной. Сама по себе книга на редкость низкопробна, местами бестолкова или просто непристойна, а демагогия автора, подобно благочестию полицейского, вызывает настоящее отвращение.

В первом же параграфе книги читателя уверяют, что автор «преисполнен столь же благих намерений» и «столь же мягкосердечен», как и сам читатель; но, bravo продолжает Бэнфилд, «факты есть факты». И последняя фраза книги вызывает в памяти все тот же образ мягкосердечного ученого, уповающего на то, что «факты, рациональный анализ и рассуждения об общественных интересах, предложенные читателю в этой книге, могут изменить к лучшему и общественное мнение, и политику».

С философской точки зрения книга Бэнфилда идеалистическая, то есть сознание признается первичным, а социальная действительность — его производной. С со-

диологической точки зрения книга статична — в ней *предполагается* оправданность, неизменность существующего социального устройства общества. В экономическом плане Бэнфилд придерживается концепции свободного рыночного спроса и предложения. С политической точки зрения его позиция — что-то близкое к Меттерниху или к Никсону — Агню. Все в целом — это социальный дарвинизм чистейшей воды, основанный на концепции врожденной порочности тех, кого Бэнфилд называет «низшим классом» (выбор термина в данном случае зависит от того, религиозен ли автор, как Джонатан Эдвардс, или светски настроен, как Джордж Фитцхью).

Что же касается характеристики термина Бэнфилда «низший класс», то американская литература, за исключением крайне правых, не видела ничего подобного с тех пор, как профессор Томас Р. Дью «объяснял» необходимость рабства в 1832 году. К «низшему классу», по оценке Бэнфилда, относится примерно 35 млн. американцев, из которых 15 млн. сконцентрированы в различных городских центрах. В той мере, в какой кризис городов существует (что признается автором отчасти и в заглавии книги, хотя одной из ее задач является доказательство того, что в действительности кризис невелик), его причина усматривается в наличии «низшего класса», характерные черты которого обрисовываются следующим образом:

«Ничтожное и слабое самосознание... испытывает презрение к себе, страдает чувством неполноценности... подозрительный и враждебный, агрессивный, но внушаемый... никаких привязанностей по отношению к обществу, к соседям, к друзьям» (стр. 53).

«...Живет в трущобах и почти не видит причин жаловаться... Его не заботит, в каком грязном и обветшалом жилище он живет... Он не возражает против несовершенств таких общественных учреждений, как школы, парки и библиотеки... Условия жизни в трущобах, которые оттолкнули бы других, его вполне устраивают» (стр. 62).

«...Работает только время от времени, даже если условия работы хорошие. Обеспечивать себя на будущее, хотя бы на одну или две недели вперед, не входит в его планы» (стр. 112).

«...Предпочитает праздную жизнь на грани нищеты достатку, добытому трудом» (стр. 122).

«...Моральный уровень «низших классов» не является чем-то заранее обусловленным, действия их представителей определяются не их сознательностью, а лишь чувством того, чего можно с помощью этих действий избежать» (стр. 163).

«...Взгляды на жизнь и сам образ жизни... таковы, что работа, сознательное принесение чего-то в жертву, самоусовершенствование, а также служение семье, друзьям или обществу — все это не имеет никакой ценности» (стр. 211).

Директор Центра по распространению знаний в области урбанистики в Колумбии и профессор социологии в Колумбийском учительском колледже Роберт А. Дентлер в своей рецензии на книгу Бэнфилда язвительно заметил: «Хотя среди урбанистов-социологов я являюсь отчасти грубым эмпириком, который встречается с жителями больших городов и проводит статистические обследования среди них, я, надо признаться, никогда не встречал людей, охарактеризованных подобным образом Бэнфилдом, разве что в книгах и монографиях других ученых-социологов»¹.

Во всем этом отвратительно не только то, что Бэнфилд характеризует подобным образом 35 млн. мужчин, женщин и детей в Соединенных Штатах; для Бэнфилда причина явления, именуемого термином «низший класс», имеет не социальный и общий характер, а психологический и индивидуальный; следовательно, если существует бедность, то только потому, что существуют люди, по самому своему характеру склонные к бедности! Это бедные создают бедность; свойственные им психологические черты, указанные выше, предшествуют социальным условиям и даже являются основной причиной возникновения последних.

Поскольку Бэнфилд, как мы уже говорили, начинает свою книгу с трогательного призыва не судить его слишком сурово и поскольку далее в книге он возвращается к этой мысли, меланхолически замечая, что «не стоит спорить с читателем, сознательно решившим неправильно понимать смысл сказанного» (стр. 212), мы приводим некоторое количество высказываний самого Бэнфилда,

¹ «Christianity and Crisis», October, 19, 1970.

освещающих в достаточной степени тот «смысл сказанного», который составляет сущность его тезиса.

Используя термины Оскара Льюиса, он пишет о существовании «культуры бедности»; «но бедность есть скорее следствие, чем причина... Чрезмерная ориентация на сегодняшний день (Бэнфилд считает ее *определяющей* для тех, кого он относит к «низшему классу». — Г. А.), а вовсе не недостаток доходов или богатства — вот основная причина бедности с точки зрения концепции «культуры бедных» (стр. 125).

И снова: «Бедность низшего класса, напротив, вызвана внутренними причинами (психологической неспособностью заботиться о своем будущем и всем тем, что влечет за собой эта неспособность. — Г. А.). Улучшение внешних условий может оказать на эту бедность лишь поверхностное влияние» (стр. 126).

«...Не имеет значения, способны ли, преданы делу и усердно ли работают учителя; не имеет значения, как оснащены школы и насколько хорошо составлены их учебные планы; не имеет значения, свободна ли атмосфера школы от расовых и иных предрассудков, — успеваемость учеников, находящихся на низшем уровне культурно-классовой шкалы, всегда будет не только хуже успеваемости учеников, относящихся к ее высшему уровню, но и ниже того, который необходим, чтобы сделать из них образованных рабочих» (стр. 142).

Отсюда с неизбежностью напрашивается вывод, что, поскольку урбанистический кризис возник из условий, в которых живет «низший класс», а эти условия порождены самой природой этого «класса», «политический руководитель всегда должен принимать некоторые реально существующие особенности культуры и психики как нечто данное» (стр. 159).

Что это за особенности — мы уже видели. Следовательно, любая программа помощи, движимая мотивами сочувствия или альтруизма (стр. 249), способна принести только вред. Одной из трудностей, с которой сталкиваются здравомыслящие политики этой страны, является то, что слишком много ее граждан верят в идею равенства людей, сочувствуют угнетенным (так называемым), верят в возможность того, что человек может стать лучше и даже совершеннее. И вот из-за такого своего ошибочного понимания эти граждане приходят к неправильным

выводам, например, что бедность характеризуется скорее недостатком доходов и материальных средств к существованию (внешними по отношению к индивиду причинами), чем «неспособностью или нежеланием думать о будущем или неумением управлять своими побуждениями»¹.

Выходит, что на вопрос Бэнфилда: «Что можно сделать?» (так названа одна из глав его книги) — следует отвечать: «Не очень многое». Правда, в начале этой главы Бэнфилд просит читателя не относиться с предубеждением к его аргументам и не рассматривать их как попытку «оправдать программу бездействия». Он рекомендует читателю запастись терпением и читать далее. Итак, читатель последовал этому совету, однако, увы, на стр. 239 он читает: «...диапазон тех мер, которые могут быть использованы для решения важных городских проблем, гораздо уже, чем это может показаться». И далее: «...в этом диапазоне мероприятий едва ли какие-либо из них можно считать приемлемыми» в практическом, то есть политическом смысле. В итоге остающиеся возможности оказываются очень скромными, но если вспомнить, что речь идет о «низшем классе», характерные черты которого как раз и порождают те самые проблемы, которые надо решать, то, конечно же, область возможных — не говоря уже о «приемлемых» — рекомендаций здесь и не может быть слишком широкой. Например, «обеспечение людей низшего класса действительно хорошей работой — это неподходящий способ побудить их изменить свой образ жизни, так как сам этот образ жизни делает невозможным предоставление им такой работы» (стр. 242)².

Далее, «имеется последовательный перечень мер, которые могли бы считаться приемлемыми... но он весьма

Бэнфилд высоко оценивает свою книгу и считает ее исключительно оригинальной, в действительности же ее основные положения так же стары, как и сама идеология общества, разделенного на классы. См., например, книгу предшественника Бэнфилда Уильяма Грэхема Самнера «Чем социальные классы обязаны друг другу», опубликованную в 1833 г., которую Бэнфилд почти буквально повторяет.

² Таким образом, перед нами неразрешимая проблема. Читателю можно напомнить «Американскую дилемму» Гуннера Мюрдаля; при всей либеральности этой книги и консерватизме книги Бэнфилда у них много общего: философский идеализм, поиски причин «проблемы» в культуре и образе жизни негритянского населения, не подвергаемый никакому сомнению социальный дар-

краток... и едва ли поможет решить какую-либо из обсуждаемых проблем». Действительно, автор затем скромно отмечает: «Если даже все рекомендации будут полностью претворены в жизнь, то положение в больших городах существенно не изменится к лучшему» (стр. 244). Заметим, однако, что если бы автор пришел к какому-нибудь другому выводу, то это противоречило бы всей направленности его книги. Итак, программа необходимо должна быть умеренной и должна подтверждать выводы Бэнфилда, как это, возможно, ни неприятно для «низшего класса» и «альтруистов».

Программа Бэнфилда такова (стр. 245—246):

1. Избегать любых риторических высказываний, порождающих большие надежды на разрешение урбанистического кризиса в целом или в каких-то его аспектах.

2. Не считать и не утверждать, что общество в ответе за проблемы индивидов (о классовом анализе в марксистском смысле наш ученый-социолог не упоминает ни единым словом, даже с целью опровержения).

3. Попытаться уменьшить безработицу с помощью отказа от законов о минимальной заработной плате и всех законов, предоставляющих профсоюзам «монопольные» права, то есть, например, возможность добиваться, чтобы на предприятиях работали только члены профсоюза.

4. Не переплачивать за работу, предоставляемую государством.

5. Перестать чинить препятствия частным предпринимателям, предлагающим низкую оплату и непривлекательный (однако не опасный) труд тем рабочим, которые иначе оказываются безработными.

6. Отменить законы о детском труде и сократить срок обязательного образования с 12 до 9 лет.

7. Поощрять, а «возможно, даже требовать» устройства на работу с полным рабочим днем или на военную службу тех, кто «неспособен или не хочет» окончить колледж.

8. При определении понятия «бедность» исходить не

вниз, сведение коренных социальных проблем к психологическим особенностям индивидов — все это автор данной статьи уже обсуждал в свое время в книге «Негритянский народ в Америке» (Нью-Йорк, 1946).

из сравнения жизненных уровней, а принимать за основу некий «фиксированный стандарт» (установленный кем? Может быть, профессором Бэнфилдом?).

9. Поощрять (или требовать), чтобы те, кто подпадает под указанный «фиксированный стандарт», проживали в специально предназначенных для этой цели государственных или полугосударственных заведениях (например, типа ночлежных домов со строгим надзором) (со стороны кого? Профессора Бэнфилда?).

10. Принять строгие меры по контролю над рождаемостью среди «недеспособных бедных» слоев населения и отправлять их детей в приюты.

11. Усилить полицейский контроль, и в частности «разрешить полиции задерживать и обыскивать людей и производить превентивные аресты для предотвращения вероятных преступлений».

12. Ускорить процедуры судебного разбирательства и исполнения приговоров.

13. Ограничить до необходимой степени свободу тех, кто, по мнению суда, весьма склонен к совершению насильий.

14. Со всей ясностью предупредить, что «те, кто подстрекает к беспорядкам, будут сурово наказаны».

15. Запретить непосредственные телевизионные трансляции беспорядков и инцидентов, способных их спровоцировать.

Предложение 13 об ограничении свободы для «склонных» к совершению преступлений тщательно разработано во всех деталях. Бэнфилд требует, «чтобы степень ограничения свободы личности была поставлена в зависимость от степени ожидаемых для общества потерь, если данный человек будет свободен и совершит при этом преступление. Другими словами, следует считать степень вероятности совершения преступления числовой мерой серьезности наказания» (ст. 182—183). Так, «подросток с вероятностью 0,5» будет ущемлен в своей свободе в меньшей степени, чем тот, у которого вероятность, скажем, 0,9. Это может означать, как нам объясняют, постоянный надзор полиции; соблюдение комендантского часа с 10 часов вечера; запрет владеть огнестрельным оружием или автомобилем; возможность в любой момент быть обысканным; изоляция в пределах «поселка для наказанных», куда посетители могут приезжать лишь в опреде-

ленное время, а живущие там лишаются права выезда. Все это, как должен понять читатель, относится не к уголовникам, осужденным за какие-либо действия, а к людям, имеющим склонность к совершению преступлений или от которых с высокой степенью вероятности можно ожидать преступного поведения (ожидать — кому? При каких условиях? Как эта вероятность может быть измерена? Как проявляется «склонность» к совершению преступлений? Кто определяет существо преступления? и т. д. — всех этих вопросов профессор Бэнфилд даже не касается).

Все это вдохновляет меня предложить свою собственную возможную, а может быть, даже и приемлемую программу. Все те профессора, которые проявляют склонность к написанию человеконенавистнических книг, подобных книге Бэнфилда, и демонстрирующие высокую вероятность такого преступного поведения, подлежат наказанию в соответствии с нижеследующей шкалой: вероятность 0,5 — чинить телефоны жены министра юстиции США в течение всей ее жизни; вероятность 0,7 — вставать на колени перед персоной Дж. Эдгара Гувера трижды в день перед едой; вероятность 0,9 — объяснять достоинства программы Бэнфилда в Гарлеме перед аудиторией, состоящей из представителей «низшего класса», дважды в неделю в течение года.

Сам Бэнфилд, выдвигая свою программу, отмечает, что «многие пункты ее... не конструктивны, то есть они не требуют принятия каких-либо мер...» (стр. 244). Основание этому, по мнению самого Бэнфилда, одно: что бы до сих пор ни предпринималось для решения проблем обеспечения жилищами, распределения доходов и т. д. — все приводило не к разрешению урбанистического кризиса, но к обострению его. Посмотрим, как же автор все это объясняет.

Например, он пишет: «В настоящее время чрезмерный рост городов создает препятствия для тех, кто пытается улучшить работу общественного транспорта» (стр. 9). Но Бэнфилд не спрашивает: «Почему?»

Он отмечает, что мэры городов говорят о необходимости финансовой помощи со стороны федерального правительства и штатов (а говорят они это часто), то фактически это означает, что главные налогоплательщики города «предпочитают обойтись без усовершенствований,

чем платить за них самим». И опять-таки он не спрашивает при этом: «А почему?»

«Как это ни странно, — пишет он (стр. 14), — грандиозные программы помощи большим городам направлены прежде всего на создание комфорта, удобств, сервиса, необходимых бизнесу. Если же говорить о том, насколько они разрешают серьезные и неотложные проблемы, то единственное, что можно сказать, так это что данные проблемы становятся лишь еще более серьезными». Поскольку все это выглядит по меньшей мере «страшно», то можно было бы ожидать, что автор ради своих читателей попытается выдвинуть какое-то объяснение, но напрасно: Бэнфилд и здесь не задается вопросом: «Почему?»

Касаясь ассигнований на транспорт и жилища, он отмечает, что они составляют около 90% всех федеральных правительственных затрат на «повышение благосостояния городов». Однако, прибавляет он, «эти ассигнования не нацелены на решение серьезных проблем, они лишь способствуют их усложнению» (стр. 14). И опять-таки озадаченному читателю не помогают с разъяснениями: «Почему?»

Хотя жилищные программы федерального правительства были, по всей видимости, задуманы в качестве попыток как-то решить определенные городские проблемы, они, как пишет Бэнфилд, «субсидировали перемещение средних слоев белого населения за пределы центральных городов и старых пригородов. И в то же самое время блокировали инвестиции, необходимые для реконструкции захудалых районов в окрестностях старых больших городов» (стр. 15). Это парадоксально, но это и есть жилищная политика, и Бэнфилд отмечает: «Реконструкция городов оказалась выгодной только состоятельным и богатым, а бедным она принесла больше вреда, чем пользы» (стр. 16). Противоречие очевидно, но Бэнфилд даже не намекает: «Почему?»

В самом деле, в 1965 году Агентство по обновлению городов истратило 3 млрд. долл., но это лишь «привело к значительному снижению обеспеченности дешевым жильем в американских городах» (стр. 16). Это невероятно, скажете вы, но у Бэнфилда нет вопроса: «Почему?»

С проблемами городов связано также наличие бедности и ухудшение условий жизни в сельскохозяйствен-

ных районах, что стимулирует постоянную миграцию обедневшего населения в город. Но, как отмечает Бэнфилд (стр. 17), ссылаясь на профессора Теодора Шульца¹ из Мичиганского университета, политика министерства сельского хозяйства и его программы «не привели к улучшениям в обучении фермерских детей, не уменьшили неравенства в распределении доходов и богатств, не ликвидировали причин бедности сельского населения и даже не уменьшили ее остроты. Напротив, они способствовали ухудшению положения в области распределения доходов в сельском хозяйстве». И снова со всей очевидностью напрашивается вопрос: «Почему?» И снова Бэнфилд благополучно избегает его.

План «обновления городов» был широко разрекламирован как имеющий цель разрешить социальные проблемы, порожденные дискриминацией и трущобами. Данные, однако, показывают, что осуществление этого плана привело к противоположным результатам. И снова автор не спрашивает: «Почему?»

Как понимать это постоянное и, очевидно, умышленное умолчание профессора Бэнфилда? Я считаю, что здесь имеются два аспекта: приведенные выше данные ясно указывают на классовый характер социального строя США и отчетливо демонстрируют направленность исполнительной и законодательной власти местной администрации в США против бедных и цветных, в защиту интересов имущих слоев населения.

Как видим, Бэнфилд предоставляет осуществление своей программы тому классу и тому правительству, которые на деле как раз и создали кризисное положение, что, собственно, пашло отражение и в его книге. Отсюда становится очевидной вся абсурдность предположения о том, что программа Бэнфилда может хоть как-то повлиять на решение назревших проблем американских городов. Программа Бэнфилда не имеет своей целью решение городских проблем — даже и в тех скромных пределах, которые он сам себе поставил, — более того, это программа репрессий и усиления гнета. В ней отражается отказ от либеральной ориентации буржуазного государства в пользу откровенной реакции. Это программа железа

¹ T. Schultz. Economic Crisis in World Agriculture. Ann Arbor, 1965, p. 94.

и крови. Во второй половине XX века и в Соединенных Штатах — с их развитой монополистической структурой и империалистической сущностью — такая программа расчищает путь фашизму.

Это программа представителей антигуманной идеологии, категорически отвергающих идеи эпохи Просвещения и Века Разума, проповедующих концепцию неполноценных людей и сверхчеловеков. Программа действий, основанная на такой идеологии, означает не просто систему полицейских репрессивных мер: превентивных арестов, обысков прохожих и вторжений «без стука в дверь» (по knock), провокаций против независимых профсоюзов — целевая установка подобной идеологии в Соединенных Штатах на практике означает не что иное, как фашизм в том виде, каким он всегда был в действительности, то есть массовые убийства в государственно-организованной форме.

Расизм Бэнфилда — это расизм капиталистической социально-экономической формации. Так, одно из его основных положений состоит в том, что проблемы городов коренятся скорее в испорченности «низшего класса», чем какой-либо расы, то есть основной порок — это бедность, как таковая. Бедные бедны, потому что они порочны; иначе говоря, они «стоят ниже» и, следовательно, принадлежат к «низшему классу».

Случается, говорит Бэнфилд («просто случается»), что многие представители «низшего класса» в городах США оказываются неграми, и при этом они *думают*, что являются объектом особенно сильного угнетения вследствие расизма белых, причем эта убежденность поддерживается в них профессиональными организаторами, делающими на этом свою карьеру. Однако в действительности положение негров нужно рассматривать в классовом аспекте. А под этим наш ученый-социолог подразумевает вовсе не то, что условия жизни негров являются следствием их принадлежности почти исключительно к рабочему классу, а, скорее, то, что они психологически принадлежат «низшему классу» (со всеми теми признаками, которые уже были перечислены нами ранее) и что, следовательно, им не *остается ничего другого*, кроме того как быть бедными.

Бэнфилд не придерживается явно генетической концепции, якобы объясняющей «неполноценность», хотя он с заметным уважением относится к книге Артура Йенсе-

на, где эта концепция активно защищается, несмотря на то, что она противоречит всем результатам серьезных психологических и антропологических исследований, выполненных за последние 35 лет.

Бэпфилд приписывает неграм некий «животный» дух; он говорит об их жизни в «анклавах» так, как если бы речь шла о зоопарках. А его объяснение вспышек гнева в гетто 60-х годов дословно совпадает с названием посвященной этому главы: «Бунтующие главным образом для развлечения и собственной выгоды». Такой цинизм не подлежит даже обсуждению, я только хотел обратить на него внимание и напомнить, что автор является профессором Гарвардского университета и возглавлял работу по программе городского планирования при президенте Соединенных Штатов!

Следует отметить, что расовая дискриминация действительно оказывает влияние на социально-экономическое положение американцев африканского происхождения. Это подтверждается данными на многих уровнях, которые хорошо известны и имеются во всех специальных сочинениях. Так, Лестер Тароу в монографии, опубликованной Институтом Брукингса в Вашингтоне в 1969 году («Бедность и дискриминация»), пишет: «Как качественный, так и количественный подход к исследованию бедности показывает, что расовая дискриминация в данном случае является одним из важных факторов» и «поскольку по распределению доходов негры находятся на самом низшем уровне, то они являются жертвой экономической дискриминации» (стр. 1, 3).

Тщательные исследования показывают, что черные и белые рабочие, занятые одинаковым трудом в одних и тех же районах страны, получают существенно различную зарплату. Так, разница в оплате труда в пользу белых рабочих в 1959 г. составляла: у пекарей — 28%, у плотников — 46, у лифтеров — 10, у сварщиков — 13, у автомехаников — 27, у жестянщиков — 15% и т. д.¹

Другие исследования показывают, что негры и белые с одинаковым уровнем образования имеют весьма различные доходы. Так, негры с начальным образованием имеют

¹ R. Fein. An Economic and Social Profile of the American Negro. В: T. Parsons and K. B. Clark (eds.). The Negro American. Boston, 1965, p. 102—133.

заработок, составляющий 64% заработка белых с таким же образовательным уровнем; в случае среднего образования эта цифра составляет 60% и при высшем образовании (колледж) 50%. Профессор Пол М. Сигел в журнале «Sociological Inquiry» (1965, т. 35, № 1), анализируя разницу в оплате труда белых и негров, зависящую, возможно, от многих факторов, пришел к выводу, что на различия в оплате, причиной которых является расизм, падает около 40% всех случаев дискриминации в оплате труда белых и черных¹.

Установленный факт, что «расовая дискриминация, как говорится в исследовании Брукингса,— это важный фактор», усиливающий эксплуатацию черного населения, не вызывает никакого сомнения. То, что его отрицание является одним из основных мотивов книги Бэнфилда, служит лишним доказательством ее несостоятельности и лицемерия. С первой до последней страницы книги ее автор не устает призывать смотреть фактам в лицо, стремясь предстать в глазах читателя в облике эдакого свободного от всяких пристрастий, объективного эксперта. И что же мы видим? Наиболее важные и существенные факты этот «беспристрастный эксперт» попросту игнорирует. Обращение непосредственно к этим фактам подрывает основы рассуждений Бэнфилда, свидетельствуя о существовании социальной несправедливости и эксплуатации, что в свою очередь диктует настоятельную необходимость в радикально иной серии программ, с иными предпосылками и целями.

Мы чувствуем необходимость в заключение сказать несколько слов о методологии Бэнфилда. Для нее характерно, как мы это уже видели, не только презрение к фактам, не только превознесение сочинений сомнительного свойства вроде труда Йенсена по психологии и Филлипса по истории, не только употребление терминов, нигде не объясняемых, вроде «криминальности» (чьей и кем определяемой?) или «склонности к совершению преступ-

¹ Литература по этому вопросу обширна. В дополнение к цитированному выше см.: Th. Mayer. *The Position and Progress of Black America*. В: «Radical Education Project», Ann Arbor, 1968; R. Raymond. В: «Western Economic Journal», March 1969 (IV, p. 57—70); E. Rayack. В: «Review of Economic Statistics», May 1969 (LXIII, p. 209—214); R. Weiss. В: «Review of Economics and Statistics», May 1970 (LII, p. 150—159), and L. L. Knowles and Prewitt (eds.). *Institutional Racism in America*. N. Y., 1970.

лений» (каким образом определяемой, как объясняемой, как измеряемой?). Любопытно, что внимательный читатель книги может найти в ней многословные рассуждения, из которых складывается впечатление, что основные концепции автора в высшей степени сомнительны даже в его собственных глазах.

Приближаясь к концу его сочинения, основанного, как мы помним, на концепции, что сама психологическая природа «низшего класса», приземленность, отсутствие воображения и сиюминутность мышления его представителей есть причина, обуславливающая статус их жизни как «низшего класса», читатель может прочесть следующее:

«Утверждения о сравнительной важности того или иного типа мышления, ориентированного лишь на наличное данное, должны рассматриваться как в высшей степени условные. Может оказаться, что низший класс, о котором столь много говорится в этой книге, как таковой, не существует (то есть никакой сиюминутности мышления в принципе не существует с самого начала ни в культуре, ни в характере познания) или же что такое мышление характерно для столь незначительного числа людей, что его вообще не следует принимать во внимание. Более того, может быть, что и свидетельства тестов по оценке уровня интеллекта не имеют особого значения, поскольку со временем все может измениться. Широкие возможности или мощные стимулы могут за два или три поколения произвести такие изменения, возможность которых сейчас начисто отрицается имеющейся теорией и наблюдениями» (стр. 223).

Далее автор на стр. 223 сообщает нам о том, что все его предыдущие рассуждения, возможно, не имеют никакого обоснования, а также, что по меньшей мере половина людей, принадлежащих к «низшему классу», согласно его же определению этого понятия, «очень часто следует образу действий, нехарактерному для этого класса». При этом он имеет в виду женщин из «низшего класса». Повидимому, было бы очень трудно привести еще один пример такой книги с претензией на научный подход, в которой автор утверждал бы, что предпосылки его труда, вполне возможно, не обоснованны и что у половины от общего числа тех, кому на основе этих предпосылок приписаны определенные качества, эти качества тем не менее отсутствуют.

И этот беспрецедентный образец «научного» исследования принадлежит одному из бывших главных советников президента Никсона. Следует добавить, что признание в недостаточности аргументации не заставило автора рассматривать свою программу в качестве лишь предположительного первого шага. Напротив, можно не сомневаться, что при соответствующих условиях и поддержке со стороны влиятельных кругов правящей элиты США программа Бэнфилда будет не предложением, а практическим применением таких мер, как обыск прохожих, методов «стреляй первым», «оправдываться после» и превентивных арестов.

Низкопробность книги не делает ее значение менее серьезным. Наоборот, бэнфилды и их хозяева хорошо знают, что они предлагают. Так, наш автор беспокоится, что «у недовольных, проживающих в огромных анклавах, может развиться коллективное самосознание и сплоченность». Он допускает, что в чем-то это, возможно, было бы и желательно, но не следует оболыцаться, ибо:

«В течение некоторого времени они будут угрозой миру и порядку, и следует допустить, что длительный процесс их приспособления может требовать проведения политики менее демократической, менее уважающей права личности, менее эффективно служащей интересам общества, чем это имеет у нас место теперь» (стр. 12).

«Подобное «приспособление» есть ничто иное, как фашизм; чтобы предотвратить его, все мы, люди «низшего класса», должны упрочить наше «коллективное самосознание» и наше «чувство общности» с тем, чтобы защитить себя от несчастья в нашей стране и от катастрофы в международном масштабе, к которой приведут программы, выдвигаемые деятелями типа профессора Бэнфилда и теми, в угоду которым он стряпает свои теории.

II

Социальные системы, основанные на эксплуатации, нуждаются в апологетах, а следовательно, и порождают их. Эти системы основаны на угнетении и на подавлении, само собой разумеется поэтому, что они вызывают сопротивление. Для того чтобы его как-то ослабить и подорвать, используется широкий набор средств, начиная от

экономических и кончая откровенными политическими репрессиями. Сопrotивляющиеся также прибегают к различным средствам борьбы. Как те, кто управляет, так и те, кем управляют, вырабатывают свои собственные, противостоящие друг другу идеологические системы, а поскольку справедливость на стороне угнетенных, следовательно, их мышление, их мировоззрение гораздо более разумно и истинно, чем мировоззрение угнетателей.

В сущности, имеется всего лишь две точки зрения, выработанные в течение многих веков правящими классами для объяснения и «оправдания» своего господства: теологическая и светская — и обе они фактически сводятся к одной, но с несколько разными оттенками. Согласно теологической концепции, существование социальной несправедливости и страданий масс приписывается «божьей (более или менее непостижимой) воле»; в виде украшения эта концепция часто дополняется преданием о «первородном грехе», вызвавшем необходимость наказания, которое лишь невеждами воспринимается как несправедливость, а на самом же деле есть лишь искупление. Вторая точка зрения объясняет существование социальной несправедливости и страданий масс самой природой, утверждая, что есть высшие и низшие типы людей (вовлеченные, согласно этому социал-дарвинистскому мифу, в «борьбу за выживание»). Причем само существование высших и низших биологических типов людей доказывается существованием социально-экономических элитарных групп, привилегированных богатых наций или расовых групп с биологическим превосходством.

Теологическая точка зрения и сейчас еще имеет значительное влияние — причем не только в США; но наш век — это светский век, который нуждается и в соответствующей аргументации, а последняя оформилась в систему главным образом в прошлом столетии.

С того времени светская точка зрения на привилегированность подверглась суровым испытаниям. Так, мнение о том, что богатые богаты потому, что они находятся на более высоком уровне интеллектуального или этического развития, было погребено под обломками таких социальных катастроф, как две мировые войны и эпоха великой депрессии. Сюда еще надо добавить и шок от большевистской революции, в результате которой образовалось новое

государство, радикально изменившее весь ход мировой истории.

Концепция национальной исключительности, истоки которой лежат в извращенном чувстве любви к отечеству, все еще сохраняет свое определенное влияние. Но и здесь разгром во второй мировой войне крайнего выражения этой националистической патологии — фашизма, — а также тот факт, что решающей силой в этом разгроме оказалось единственное тогда социалистическое государство, последовательно руководствовавшееся принципом интернационализма, который никоим образом не противоречит естественной любви к своему народу и который является неотъемлемой частью марксизма-ленинизма, — все это в огромной степени подорвало концепции национального превосходства и избранности.

Остается еще идея о существовании биологически высших расовых групп, то есть расизм.

Первый удар этой отравляющей сознание людей идеологии нанесли сами его жертвы — их сопротивление является важнейшим фактором, противостоящим расизму. К тому же борьба трудящихся за свои права и освобождение, которая находит свое выражение во всемирном коммунистическом движении, органическим образом включает в себя борьбу против расизма. Более того, в полном соответствии с основными тезисами марксизма-ленинизма (в сущности, таков марксизм XX столетия) борьба против колониализма, расизма, капитализма — империализма слилась в одну глобальную силу, направленную на освобождение человечества от всех форм эксплуатации и угнетения.

Значительным вкладом в опровержение расистской идеологии явились научные открытия в области антропологии, анатомии, психологии и истории. Ввиду всего этого апологетика расизма нуждается в новых формах. В наше время она принимает вид идей Мюрдаля — Мойнихауэра — Бэнфилда, которые, по сути дела, возлагают ответственность за бедность на самих бедных.

Среди сторонников подобных идей могут быть некоторые различия — один может быть либералом, другой социал-демократом, а третий советником Никсона, но они едины в том, что касается существа защищаемых ими концепций, а существо это старо так же, как и само классовое эксплуататорское общество, и сводится к идее, по

которой тот, кто правит, и в самом деле выше по своим достоинствам тех, кто подчиняется, и поработанные находятся в соответствующих условиях потому, что у них и в самом деле нет нужных качеств, необходимых для того, чтобы управлять другими и быть богатыми.

* * *

Предыдущие замечания, как я надеюсь, помогут лучше оценить значение недавно вышедшей книги Уильяма Райена «Обвинение жертвы» (Нью-Йорк, 1971), бывшего сотрудника Гарвардского университета, затем Йельской медицинской школы, а сейчас возглавляющего факультет психологии в Бостонском колледже.

Три нижеследующие цитаты, надеюсь, дадут читателю некоторое представление как о далекой от академической беспристрастности манере изложения профессора Райена, так и о тезисах его книги.

«Для Америки очень характерно, что в случае любой социальной проблемы виновником оказывается всегда ее жертва. Так, ничтожность усилий по охране здоровья бедных оправдывается тем, что они не склонны обращаться к услугам квалифицированной медицинской помощи. Проблемы трущоб сводятся к характеристике их обитателей. Утверждают, что «многопроблемные» бедные испытывают психологическое воздействие сажей бедности, то есть что имеется «культура бедности», иначе говоря, у низших классов иная система ценностей, следовательно, они сами невольны создают свои проблемы» (стр. 4—5).

«Новая идеология (в сущности, вовсе не новая.— Г. А.) приписывает все недостатки, пороки и несправедливости жизни в трущобах злокачественной природе самой бедности. Клеймо, лежащее на жертве и объясняющее ее положение как жертвы, — это приобретенное клеймо, имеющее скорее социальное, чем генетическое происхождение. Но это клеймо, эта дефектность, фатально предопределенное различие, хотя в прошлом они и явились результатом воздействия внешних сил, — все же принадлежат *самой* жертве... Эта блистательная идеология призвана оправдать извращенную форму управления обществом, цели которого изменять не общество, как можно было бы в данном случае ожидать, а, скорее, жертву этого общества» (стр. 7).

В предисловии к работе профессор Райен говорит: «В мои намерения входило, во-первых, убедить читателя, что многие его друзья и соседи — а возможно, и он сам — были введены в заблуждение различными хитроумными манипуляциями и поверили многочисленным лживым утверждениям, а во-вторых, я хочу предложить ему такую точку зрения и такой метод анализа, которые бы вооружили его против подобных трюков и лжи».

Своих целей автору в основном удалось достичь, хотя в ряде мест его анализ все же несколько слаб и непоследователен. Основное внимание в книге уделено рассмотрению метода «обвинения жертвы» в каждой из областей социальной жизни — в образовании, в здравоохранении, в жилищной сфере, в сфере материального благосостояния, а также в том, что хорошо названо «органами неправосудия». Я не знаю другой книги, где бы это было сделано с такой полнотой и убедительностью.

Анализ слаб потому, что исходит из предпосылок наподобие следующих: люди «хитростью введены в заблуждение» или — «коварные силы» каким-то образом «уже сформировали стереотипы мышления».

Профессор Райен склонен психологизировать процесс возникновения и господства идеологии «обвинения жертвы» — здесь, видимо, сказалось влияние его специальности, и он поясняет, что термин «идеология» он употребляет не в смысле Маркса, а в смысле Манхейма — согласно последнему же, идеология есть результат «систематически мотивированных, но *непреднамеренных* искажений реальности», и что она связана с «коллективной бессознательностью», коренящейся в стремлении сохранить статус-кво. Вопрос о преднамеренности спорный и в сфере социального неуместный, а концепция «коллективной бессознательности» не только крайне туманна, но и близка к субъективизму и идеализму, а значит, далека от объективности и материализма, то есть от подлинной научности. Кроме того, с точки зрения действий, выработки программ и ведения социальной борьбы трудно понять, как можно преодолеть эту «коллективную бессознательность». Я, разумеется, не собираюсь и менее всех способен отнестись недоброжелательно к столь активному, целеустремленному и честному писателю, каким является Уильям Райен, но я не могу удержаться от сомнений,

уместны были бы его рассуждения в «свободных» академических кругах сторонников Манхейма?

В книге Райена имеется другой отрывок, тоже весьма характерный, в котором, быть может, с большей очевидностью заметна некоторая идеалистичность его анализа. Он пишет: «Все те, кто с облегчением отделяется таким решением (обвинить жертву), неизбежно закрывают глаза на основные причины возникновения проблем, которые надо решать. (Каковы эти основные причины, в книге не говорится.— Г. А.) Они, по существу, отрицают возможность вины не жертв, но самих себя. Они бессознательно переносят осуждение на самих себя и единодушно выносят приговор: «Не виновен!» (стр. 28).

Здесь мы опять сталкиваемся со столь существенным для профессора Райена вопросом о сознательном и бессознательном. И основная ошибка его заключается в том, что тех, кто соблазняется объяснением типа «бедность во всем виновата сама» (а среди них Райен имел в виду учителей, работников различных общественных организаций), нельзя винить за это в существенном (то есть социальном) смысле. Тот факт, что в своем образовании они были неверно ориентированы,— это исходный пункт анализа, ставящий серию вопросов относительно того, почему их образование содержит подобные дефекты, кто управляет этой системой образования и почему вообще эта система не выполняет функции подлинного просвещения и настоящего образования?

* * *

Марксистский анализ приводит к необходимости решения этих фундаментальных вопросов. Он раскрывает сущность классового господства и функции господствующей идеологии, он показывает ее надстроечный характер, и это понимание ее происхождения дает возможность более эффективно бороться с подобной идеологией не только повседневно, но и с учетом длительной перспективы.

В этой связи Райен выполняет необходимую задачу, разоблачая многословные формулы адептов идеи «культуры бедности» и двусмыслицу господствующей социологии, ясно заявляя, что «бедность — это прежде всего отсутствие денег».

У него заметна тенденция идти дальше этого утверждения к пониманию того факта, что бедность — это не просто отсутствие денег, это также и результат эксплуатации. Иначе говоря, бедности может быть дано негативное определение, аналогичное определению свободы как отсутствия ограничений; но необходимо и позитивное определение бедности, если, конечно, ставится цель ее преодоления; позитивное определение бедности состоит в том, чтобы рассматривать ее как социально обусловленное явление, выраженное в страданиях миллионов людей, причина которых заключается в существовании эксплуататорского социального строя.

Характеризовать бедность как отсутствие средств к существованию уже лучше, чем рассматривать ее как некую «культуру», порожденную якобы неизменной природной сущностью бедных людей, но это еще не радикальный анализ явления. Здесь следует вспомнить тех, кто считает страны, бывшие когда-то колониями, «неразвитыми». Да, эти страны перазвиты, но это лишь описание положения дел, а не объяснение явления. Эти страны являются сверхэксплуатируемой частью мира, и поэтому они неразвиты; но, конечно, не удивительно, что газета «Нью-Йорк таймс» или профессора Гарварда ограничиваются термином «неразвитые».

И наконец, слабость анализа Райепа обнаруживается там, где он говорит о самом болезненном для Соединенных Штатов вопросе, о котором столь много уже написано, — о положении негритянского населения. Здесь Райен далек от бэнфилдов и мойниханов и, конечно, лучше их, но он все-таки не понимает сущности угнетения американцев африканского происхождения и вследствие этого не видит революционной в своей основе природы их движения за уничтожение расизма. Он полагает, что цели «огромного большинства негров лишены революционного содержания и могут быть достигнуты с помощью реформ существующих институтов». Следовательно, он полагает, что было бы неправильно считать недавние волнения в негритянских гетто «революционными» (при этом он ссылается на мой собственный анализ восстания в Уоттсе, сделанный в статье, опубликованной в журнале «Political Affairs» пять лет назад), «в смысле ставящими цель разрушения или коренной ломки основных социальных или экономических институтов» (стр. 212, 228). Но эти

волнения были на пути к такой цели, ибо общей задачей негритянского освободительного движения является искоренение расизма, именно как уничтожение сверхэксплуатации *угнетенного народа*, составляющего к тому же 20% всего рабочего класса страны. В Соединенных Штатах расизм является *характерной чертой* социального строя, поэтому движение, направленное на уничтожение расизма в Соединенных Штатах (следует при этом помнить и о роли США на международной арене), — это революционное движение; это часть борьбы за коренное преобразование социального строя США. Национальное, расовое и классовое движение сливаются в единое целое — в борьбу против оплота империалистической системы; если это не революционная борьба, то тогда и никакая другая борьба не является таковой.

Выпустив книгу «Обвинение жертвы», оставляющую глубокое и сильное впечатление, профессор Райен дал прогрессивным силам США хорошее противоядие против господствующей реакционной идеологии. Высоко оценивая эту книгу, я лишь хотел отметить некоторые моменты, с которыми я несогласен. Однако самое важное заключается в том, что эта книга дает нам достаточно полную фактическую картину, опровергающую один из весьма распространенных пропагандистских мифов правящего класса, мифа, который имеет большое влияние в либеральных кругах. Я надеюсь, что эта книга получит самое широкое распространение.

ИМПЕРИАЛИЗМ В АФРИКЕ

Гарольд С. Роджерс

1960 год навсегда останется в истории как год Африки. Именно тогда империалисты были вынуждены вступить в переговоры с представителями национально-освободительных движений для предоставления им независимости.

В 1961 году насчитывалось 27 независимых африканских государств. Распад колониальной системы явился результатом изменения соотношения сил на международной арене, к которому мировой империализм волей-неволей был вынужден приспособливаться. Возникновение СССР и других социалистических стран, а также национально-освободительная борьба в африканских странах за полную политическую и экономическую независимость значительно ослабили мировую империалистическую систему. Другим фактором являлось распространение идей марксизма-ленинизма в мировом масштабе в результате победы Великой Октябрьской социалистической революции. Социализм менее чем за 50 лет своего существования победил на 1/3 территории земного шара, и идеи марксизма-ленинизма теперь оказывают влияние на развитие целого ряда африканских стран.

В то же время, хотя большинство стран Африки достигло политической независимости в 1960 г., их экономическое развитие все еще зависит от мирового империализма. Нельзя не видеть, что африканские страны сделали значительный шаг в сторону политической независимости, но несомненно и то, что для изменений их политико-экономической системы, неразрывно связанной с производственными процессами, потребуется значительно боль-

пий период времени. Экономическая независимость, как часто отмечал В. И. Ленин, является основой политического суверенитета, и ее достижение связано с радикальными изменениями в существующем капиталистическом международном разделении труда, что в первую очередь означает необходимость для освободившихся стран отказа от односторонней сельскохозяйственной и сырьевой специализации экономики¹.

В своей классической работе «Империализм, как высшая стадия капитализма» В. И. Ленин подверг глубокому анализу взаимоотношения между колониями и капиталистическими странами. И этот анализ не потерял своего значения для стран Африки и сегодня. В области торговли и производства Африка все еще играет подчиненную роль поставщика сырья, дешевой рабочей силы и рынков сбыта промышленных товаров капиталистических стран, а также как сфера приложения капитала. Это подтверждается характером внешней торговли Африки. Так, например, экспорт 20 основных сырьевых товаров составлял 65,7% в 1960 г. и 70,1% в 1965 г. всей суммы экспорта африканских стран, исключая ЮАР; в то же самое время импорт готовых промышленных товаров из капиталистических стран равнялся 70,6% всего импорта в 1960 г. и 71,8% в 1965 г.² Отсюда следует, что империалистические державы все еще контролируют экономическое развитие Африки и, как мы покажем дальше, ее экономика сейчас привязана к капиталистическому миру даже в большей степени, чем это было раньше во времена старого колониализма. Каковы же в таком случае новые формы колониализма в Африке? Развивается ли Африка независимо от американского финансового капитала?

Техника «третьего мира»

В начале 60-х годов в неоколониальной политике США в Африке начали выявляться новые аспекты, связанные в первую очередь с использованием в целях этой политики таких империалистических государств, как Южно-Африканская Республика (ЮАР) и Израиль. Это

¹ «International Affairs». Moscow, № 1, 1971, p. 10.

² United Nations E/CH/141, UNCTAD/11/1, New York, 1965.

обстоятельство имело немаловажное значение для нового раздела Африки на сферы влияния между разными группами международного финансового капитала.

Использование американским империализмом и его союзниками подобных империалистических центров для осуществления своих планов можно ясно проследить на примере ЮАР. В лице ЮАР империалистические державы поддерживают и укрепляют в Южной Африке расистское и фашистское государство, являющееся соединением развитого капитализма и колонии с крупным промышленным капиталистическим производством. Для этого государства характерен высокий уровень жизни трехмиллионного белого меньшинства, достигнутый за счет жестокой и безжалостной эксплуатации 15 миллионов черного населения, живущего в рабских условиях. Значение этой страны для империализма видно из того факта, что ЮАР дает 20% африканского экспорта и 18% импорта. Кроме того, производство золота, по которому ЮАР занимает ведущее место в капиталистическом мире, обеспечило ей особый статус в рамках экономической капиталистической системы¹.

Монополии делают все, чтобы независимые африканские страны оставались политически и экономически слабыми. При этом США и их союзники надеются использовать ЮАР как опорный пункт для осуществления своих экспансионистских планов наступления на север Африки. В настоящее время ЮАР и ее союзники непосредственно контролируют использование рабочей силы и экономику ряда африканских стран, находящихся вне ЮАР. Например, Малави и Ботсвана — центры дополнительной рабочей силы, которая используется на шахтах и в промышленности ЮАР.

Южноафриканская политика диалога с африканскими лидерами, так называемая политика «наведения мостов», есть, по сути дела, ширма для мирового империализма, и особенно для США, для использования сильной и жизненно важной позиции ЮАР в качестве основы военной экспансии в Индийском океане и для развязывания агрессии и подрывной деятельности против африканских государств к северу от Претории. ЮАР осуществляет эти планы посредством создания Южноафриканского общего

¹ «International Affairs», January 1971, № 1, p. 40.

рынка (ЮАОР), куда предполагается включить, помимо стран, упомянутых выше, и ряд других, таких, как Родезия, Замбия, бангустаны ЮАР (при этом представляется странным не только то, что Замбия должна входить в эту систему, но и то, что она часто упоминается ЮАР как план «третьей Африки»)¹. Мадагаскар также был втянут в планы ЮАР с той целью, чтобы ЮАР получила возможность присоединиться к Афро-Малагасийской общей организации и таким образом открыть себе путь в бывшие французские колонии. И эти планы не пустые разговоры — они уже начали претворяться в жизнь.

Приток белых рабочих из Европы в Южную Африку имеет место уже давно. К 1965 г. в рамках организации под названием «Межгосударственный комитет европейской миграции» США вложили 4,9 млн. долларов, или 29,7% бюджета этой организации, с целью содействия миграции 25 000 европейцев в Южную Африку, главным образом высококвалифицированных рабочих. Помимо этого, ЮАР и «Замко консорциум», созданный западными корпорациями, финансируют набор белых рабочих для строительства 5 плотин на реке Замбези с целью промышленного развития и переселения белых жителей Африки. Проект строительства плотины Кабора Басса, первой из пяти плотин, несмотря на международные протесты, уже вышел за рамки плана. Этот проект предполагает карательные акции против национально-освободительных сил в провинции Тет Северного Мозамбика, причем эти акции будут осуществляться южноафриканской армией. Согласно этому проекту, более 1 млн. европейцев будет размещено вдоль линий электропередачи от Тет до ЮАР, по которым, хотя об этом часто умалчивают, более 70% электроэнергии пойдет в ЮАР.

Итак, если сущностью неокOLONиализма является экономическое господство над территориями, получившими недавно независимость, то ЮАР явно становится заместителем колониальной власти в Южной Африке. Конечно, роль ЮАР не сводится лишь к посредничеству в деле капиталистического проникновения Запада на север Африки. (Во многих отношениях эта роль ЮАР вполне са-

¹ The Concept of Economic Cooperation in Southern Africa, by J. Lombard, J. Stadler and B. Van der Mereve. Pretoria, 1969.

мостоятельна. Об этом говорит и тот факт, что южноафриканские капиталовложения в соседние с ней страны превосходят 425 млн. фунтов¹.) Распределение капиталовложений по этим государствам следующее:

- Родезия — 245 млн. фунтов стерлингов в 1966 г.
- Замбия — по крайней мере 280 млн. фунтов
- Ангола и Мозамбик — 10 млн. фунтов
- Юго-Западная Африка 96 млн. фунтов в 1965 г. (по крайней мере 125 млн. фунтов в настоящее время)
- Ботсвана, Лесото и Свазиленд — 25 млн. фунтов².

Важно подчеркнуть, что отношения ЮАР к своим соседям представляют собой типичный образец капиталистических отношений между развитыми и развивающимися странами. ЮАР экспортирует промышленные товары, которые в настоящее время приблизительно на 50% представляют собой продукты американского и британского производства, состоящие из машин и оборудования (транспортного), в обмен из этих стран она получает пищевые продукты, сырье и рабочую силу.

Внутрирегиональный экспорт составляет только 28% субконтинентального экспорта, направляемого в другие страны мира. Внутрирегиональный импорт составляет лишь 25% субконтинентального общего импорта. Как отмечается в докладе «Концепции экономического сотрудничества в Южной Африке», составленном Ломбардом, Стадлером и Ван дер Мервом, задача заключается в том, чтобы изменить эту внутрирегиональную структуру связей, ибо имеющееся положение вещей не может рассматриваться как удовлетворительное. Более предпочтительной структурой связей следует считать такую, при которой увеличится внутрирегиональное движение товаров за счет миграции трудовых ресурсов и торговли с остальным миром. Другими словами, ЮАР должна больше экспортировать товаров в периферийные страны взамен тех, которые теперь приходится ввозить из-за границы. В свою очередь для этого потребуется больше тех товаров, которые может произвести периферия. Для этого потребуется гораздо большее количество этих товаров для того, чтобы дать возможность осуществить репатриацию той рабочей

¹ «Private Overseas Investments in Southern and Central Africa», M. Stoneman. Private Memo Pretoria, 1970, p. 18.

² «Sechba», London, June 1971, p. 18.

силы, чьи доходы теперь в значительной степени покрывают периферийный импорт¹. Таким образом, доминирующая роль ЮАР в создании «третьей Африки» вместе с другими соперничающими империалистическими державами во многом сходна с ролью США в отношении Американского континента в целом. Это вряд ли благоприятная перспектива для южноафриканцев.

Последствия подобных замыслов выходят далеко за пределы субконтинента. Капиталовложения ЮАР и ее экономический союз со странами Запада во многом способствуют укреплению ее позиций в Южной Африке. В политическом плане это означает, что, укрепляя ЮАР и ослабляя ее соседей, Южноафриканский общий рынок будет способствовать защите ЮАР от любых попыток уничтожить апартеид, будет наносить удары по освободительному движению и, безусловно, будет оказывать давление на другие африканские государства с целью сделать их более сговорчивыми в так называемом «диалоге» с ЮАР.

Важно, однако, отметить, что, несмотря на растущую экономическую независимость от американского и английского капитала, ЮАР все же еще не способна конкурировать на мировом рынке с крупнейшими капиталистическими державами.

Поэтому до тех пор, пока ЮАР не в состоянии противостоять проникновению иностранного капитала, она так или иначе будет служить империалистическим планам для нового раздела Африки и использоваться как территория, предоставляющая исключительные привилегии международным корпорациям, а также как база для дальнейшей экспансии на север континента. Ее значение в этих планах наглядно отражается как в налоговых льготах, существующих в ЮАР для иностранных компаний, так и в объеме иностранных капиталовложений. Например, если в США налог на каждый доллар прибыли иностранных инвесторов в 1970 г. был 39%, в ФРГ — 30%, то в ЮАР — лишь 7%². Английские инвестиции — самые большие — достигали 3 млрд. долл. в 1970 г. В ЮАР функционируют около 500 английских компаний, причем 16% прибылей от всех английских капиталовложений за

¹ «Sechba», June 1971, p. 19.

² «The South Africa Block of Colonizers», Moscow, 1968, p. 97.

границей притекает из ЮАР, а 32% экспорта последней идет в Англию. В разоблачающем документе «ЮАР, апартеид и Великобритания», опубликованном британским научно-исследовательским бюро по вопросам труда и Африканским национальным конгрессом, говорилось, что 7 министров консервативного правительства Э. Хита являются членами совета директоров компаний, имеющих филиалы в ЮАР. Развиваются тесные экономические связи Претории и ФРГ. Около 300 западногерманских фирм, связанных главным образом с обрабатывающей, горнодобывающей и химической промышленностью, действуют в ЮАР. С помощью специалистов ФРГ были построены военные заводы и атомные реакторы. Западногерманские средства вкладываются в развитие нефтяной промышленности, и в настоящее время западногерманские инвестиции в ЮАР превышают 160 млн. долл. Американские предприниматели имели в 1970 г. в этой стране капиталовложения на сумму 995 млн. долл., занимая лишь второе место после Великобритании. Из американских капиталовложений за границу на долю Африки приходится только около 13%, из них 70% падает на ЮАР.

При рассмотрении американских инвестиций обращает на себя внимание их быстрый рост. Так, *прямые* инвестиции возросли с 50 млн. долл. в 1953 г. до 140 млн. долл. в 1957 г., с 280 млн. долл. в 1960 г. до 467 млн. долл. в 1964 г., когда доля ЮАР в американских прямых инвестициях в Африке составляла около 30%, и, наконец, достигли постоянного уровня в 995 млн. долл.¹ Прямые прибыли от инвестиций, достигшие почти 100 млн. долл., в 1964 г. составили 21% чистой стоимости инвестиций, делая, таким образом, ЮАР очень выгодной областью приложения частного капитала².

На интересный и разоблачающий факт, касающийся роли иностранных капиталовложений в ЮАР, указала недавно одна юганнесбургская газета. В ее сообщении говорилось, что растущий приток западного капитала дает возможность Претории направлять свои собственные

¹ US Business Investment in Foreign Countries US. Department of Commerce, Washington, 1960, p. 87, а также Survey of Current Business, August 1964, p. 56.

² «New Republic», New York, August 13, 1966.

средства в районы Южной и Центральной Африки, где потребность в долгосрочных займах для экономического развития очень остра.

ЮАР занимает важнейшее место в планах американского империализма в Африке. Не удивительно поэтому, что расистский тезис, согласно которому Южная Африка является последним оплотом западной цивилизации, красной нитью проходит через все выступления руководителей этой страны. Западные неокolonизаторы рассчитывают не только на свою собственную экономическую и политическую экспансию в Африке. Они возлагают также определенные надежды на политику экономической экспансии, проводимую правительством Форстера. Если эта политика будет иметь успех, то она поможет империалистическим державам достичь многих целей. Чем больше укрепляются экономические связи Претории с независимыми африканскими государствами и чем больше африканских стран будут соглашаться на сотрудничество с расистским режимом, тем легче будет для империалистических держав оправдать свои экономические и другие отношения с ЮАР; подрыв африканского единства даст возможность империалистическим странам сохранить и укрепить свои позиции в африканских государствах; Ленин был совершенно прав, когда говорил: «Финансовый капитал — такая крупная, можно сказать, решающая сила во всех экономических и во всех международных отношениях, что он способен подчинить себе и в действительности подчиняет даже государства, пользующиеся полнейшей политической независимостью...»¹

Другим важным агентом неокolonизма в Африке является Израиль, который осуществляет планы американского империализма и его союзников, рядясь при этом в тогу «малой страны». При этом руководители Израиля пытаются создать впечатление, что их политика в Африке отличается от политики колониальных держав. Будучи новым, созданным империалистами государством, Израиль изображается западными пропагандистами как страна, которая покончила с колониальным наследством и отсталостью в результате своего «некоммунистического пути развития». Но никакие пропагандистские усилия не могут скрыть от африканцев истинных целей политики Израиля в отношении Африки.

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 379.

Правители Израиля рассматривают Африканский континент как часть «второго кольца» стран, окружающих Израиль («первое кольцо» — арабские государства). С помощью экономических подачек Израиль пытается нейтрализовать страны «второго кольца» в их отношении к его агрессивной политике, направленной против арабских стран. В своем идеологическом наступлении на африканские страны Израиль часто берет на вооружение расистские мифы, лозунги и предрассудки, оставшиеся в наследство от эпохи старого колониализма — такие, как, например, «черные африканцы» против «белых африканцев»; миф об арабах как работоторговцах и т. п. Используя расовые проблемы, сионисты надеются расколоть африканские страны.

Может показаться, что израильские неоколониалистские притязания в Африке второстепенны по сравнению с его многочисленными внутренними проблемами, а также масштабами его агрессии против арабских государств. Но следует иметь в виду, что Израиль, действуя в Африке как посредник США, получает за это солидные комиссионные.

Трогательное единство Вашингтона и Тель-Авива в Африке иллюстрирует такой небольшой, но характерный случай. Несколько лет назад Израиль подписал контракт с Угандой о поставке самолетов в эту страну. Угандийцы были изумлены, когда они обнаружили, что самолеты были поставлены в Уганду прямо из Нью-Йорка.

Весьма активен Израиль и в своей подрывной деятельности, направленной против прогрессивных африканских правительств. Израиль имеет свои дипломатические миссии в 26 африканских странах, и знаменательно то, что большинство послов Израиля в них являются профессиональными военными. Эти миссии, по сути, центры подрывной и шпионской деятельности против африканских государств.

Существуют также доказательства, что израильская секретная служба Шин Бет располагает обширной шпионской сетью в африканских странах. Так, по мнению журнала «Африкан стейтмент», 80% всех израильских экспертов, работающих в государствах Африки, связаны с организацией Шин Бет и занимаются шпионажем и подрывной деятельностью. Далее газета «Нью-Йорк

таймс» писала, что «израильтяне очень хорошо осведомлены и их дипломатия часто оказывается более широкой, чем у крупных держав»¹. Конечно, вся наиболее ценная информация направляется в ЦРУ.

Особого внимания заслуживают отношения Израиля с фашистским южноафриканским правительством Претории. Многие высшие посты в израильском правительстве занимали бывшие южноафриканцы, например министр иностранных дел Абба Эбан, председатель израильского агентства Луис Пинкус и бывший представитель Израиля в ООН Майк Комай.

Близость между Израилем и ЮАР обнаруживается в расистских взглядах, которых придерживаются правящие круги этих двух государств. Как те, так и другие считают, что бог специально сотворил их «избранные народы» для достижения ими «земли обетованной». Не удивительно также то, что сионисты по примеру ЮАР рассматривают «раздельное развитие» (апартеид) в качестве «решения проблемы» оккупированных ими арабских земель.

Итак, одна из функций государства Израиль на Севере и ЮАР на Юге заключается в том, чтобы служить проводником неоколониалистской политики США в Африке. Не случайно поэтому, что расистский нацист Форстер и «социалист» Голда Мейр оказались в том же самом лагере на разных концах континента. Следует еще раз подчеркнуть, что эти созданные империалистами государства маскируются под страны «третьего мира», что иногда вводит в заблуждение молодые африканские государства. И эту иллюзию нужно всячески разоблачать, показывая, каким образом правящие круги США и других империалистических держав используют наряду с другими методами ЮАР и Израиль в качестве инструмента для своей неоколониалистской политики. Рассмотрим теперь один из аспектов этой новой политики, связанной с общей тенденцией к увеличению объема капиталовложений в обрабатывающую промышленность африканских стран, что отражает в свою очередь общие структурные изменения в международном капиталистическом разделении труда. Данные о прямых инвестициях 11 крупнейших капиталистических стран к концу 1966 г. показывают, что из общей суммы капиталовложений в африканские развива-

¹ «New York Times», November 3, 1970.

ющиеся страны 26,9% было вложено в обрабатывающую промышленность, причем США вложили 24,5% всех своих инвестиций в этом районе мира в обрабатывающую промышленность, Великобритания — 23,8, Франция — 58,6 и ФРГ — 76,3%¹. Инвестиции США в Африке (за исключением ЮАР) распределяются по следующим отраслям²:

1950 г. (в млн. долл.) 1968 г. (в млн. долл.)

Обрабатывающая	11	68
Нефтяная	79	1420
Добывающая	31	308
Прочие	26	184

Эта общая тенденция к реализации трудоемких проектов и усиленному развитию обрабатывающей промышленности связана с тем обстоятельством, что усиливающаяся конкуренция на мировом рынке дала возможность монополиям сократить за счет развивающихся стран издержки производства и расширить свои рынки. Используя опыт старых колониальных фирм по повышению производительности труда при низкой зарплате, многие монополии торопятся наживаться на выгодах развития промышленности в этих странах. Капиталистические фирмы развивают в освободившихся странах Африки трудоемкие и технически несложные производства. У себя же дома, напротив, они стимулируют развитие производств на качественно новой технологической основе. Империалисты утверждают, что это дает возможность развивающимся африканским странам выйти на мировой рынок с готовыми промышленными изделиями и, таким образом, получить необходимую валюту для своего экономического развития. Развитые страны, в свою очередь свернув основанные на неквалифицированном труде отрасли производства, смогут более эффективно и рационально использовать свою высококвалифицированную рабочую силу в технически более передовых отраслях промышленности.

То, как используется дешевая африканская рабочая сила, можно проследить на примере таких стран, как Ке-

¹ International Corporation, by S. Rolie, Paris, 1969, p. 149.

² Balance of Payments, Statistical Supplement, Washington, 1963, p. 210, а также: Survey of Current Business, № 10, p. 28, October 1969.

ния, где монополии строят заводы по обработке и консервированию ананасов, которые затем поступают на продажу в Европу и Америку; ЮАР, где собираются автомобили для дальнейшей их реализации в европейских странах; Республика Берег Слоновой Кости, где изготавливается набивная ткань для продажи ее во Франции. В результате этого нового капиталистического разделения труда растет внешняя торговля и занятость в этих странах, но в то же самое время возникает все увеличивающаяся зависимость от заказов на сырье со стороны иностранных фирм. Монополии, однако, не стремятся создавать в этих регионах высокопроизводительные современные производства с полным промышленным циклом, ограничиваясь лишь производством по изготовлению отдельных компонентов и полуфабрикатов промышленных изделий. Эта форма зависимости в ряде отношений хуже прежней зависимости, так как она основана не на внешне-экономическом принуждении, а на чисто экономической или даже чисто технологической привязанности и, таким образом, способствует, по сути дела, не подлинно промышленному развитию африканских стран, а «уродливому росту», порождая вместе с тем плюэзии «индустриализации».

Промышленность, созданная империалистическими странами, не становится органической частью экономических комплексов африканских государств, а является лишь своего рода технологическим придатком монополистических предприятий метрополии.

Цель этой неоколониалистской программы развития для африканских стран весьма прозрачна, она заключается в попытке затормозить их экономическое развитие, привязывая их слабую промышленность к устаревшей производственной технологии. Африканским странам сбывается масса морально устаревшего оборудования. Это оборудование, устаревшее в результате стремительных темпов научно-технической революции, которое не соответствует более мировым стандартам и от которого монополии надеются выгодно избавиться. Капиталистические фирмы сбывают устаревшее оборудование, как якобы наиболее подходящее для африканских стран, ввиду его дешевизны и возможности применения менее квалифицированной рабочей силы для его обслуживания. Продавая это устаревшее оборудование, они могут частично возместить

издержки на модернизацию своих предприятий и в то же самое время сохранить технологическую отсталость производственных процессов в своих бывших африканских колониях¹.

Для реализации устаревшего оборудования монополии используют и такую форму бизнеса, как сдача его в аренду. В США объем этих операций достиг цифры в 20 млн. долл. в год, в то время как за последние 5 лет операции по аренде ФРГ, Франции и Японии выросли на 50%, 40 и 40—50% соответственно. Одна из крупнейших фирм, сдающих в аренду оборудование в Африке — «Прюденсиал иншуренс компани», созданная фирмой «Интернэшнл лисенг», где «Фёрст нэшил бэнк оф Бостон» владеет 14 фирмами подобного рода за границей.

Монополии не заинтересованы в развитии Африки, куда более их интересует эксплуатация рабочей силы, ее сырья, а также инвестиции для развития ее внутреннего рынка, способного поглотить избыточные товары, которые не находят спроса в капиталистических странах.

Многонациональные корпорации и национальные интересы

На современном этапе все более углубляющегося кризиса капиталистической системы Африка очень часто оказывается ареной столкновения противоречивых капиталистических интересов, и это пагубно влияет на африканское развитие. И чем больше африканские страны связаны с капиталистическими, тем больше они чувствуют на себе последствия межимпериалистического соперничества и противоречий. Следовательно, другая важная неколониалистская тенденция, которую мы наблюдаем, — это противоречие национальных интересов капиталистических стран, влияющее на экономическое и политическое развитие африканских государств. Так, сравнительно недавно обострилось торговое соперничество в этом районе между США, ФРГ и Японией. Империалисты, конечно, едины в мнении, что Африка должна остаться под их контролем, однако встает вопрос, под чьим именно?

¹ Business Abroad, New York, May 1970, p. 8.

США, самая большая и самая могущественная держава капиталистического мира, столкнулась в Африке, где она не обладает таким большим опытом колонизации, как Англия и Франция, с весьма жесткой конкуренцией. Американская империалистическая политика придерживалась либеральных принципов «свободного предпринимательства» и «смешанного участия», в то время как бывшие колониальные страны предпочитали систему «регулируемого» развития своих прежних колоний. Однако после второй мировой войны гегемония американского капитала над европейским вынудила старые колониальные державы «либерализировать» политические и экономические отношения со своими подопечными территориями, иными словами, потесниться в пользу Америки.

По сравнению с европейскими государствами Африка была не столь притягательна для *прямых* американских инвестиций, хотя следует отметить, что США удовлетворяют почти на 100% свои потребности в алмазах, литии, бериллии, танталовой руде, кобальте за счет Африки. Они покрывают 25—50% своих потребностей в сурьме, хrome, марганце, тантале и большую часть потребностей в каучуке, золоте и уране за счет африканского экспорта. Тем не менее лишь 13% прямых инвестиций из всех зарубежных капиталовложений США падает на Африку, причем 70% из них вложено в ЮАР. Присматривая во внимание незначительный объем прямых капиталовложений американских корпораций в африканские государства, конкуренцию с другими европейскими странами, рост освободительного движения и всеобщий кризис капиталистической системы, США начали прибегать к политике предоставления экономической и военной помощи африканским странам, истинная цель которой состоит в защите и усилении позиций американских монополий в Африке.

«Новый подход», провозглашенный в послании президента Никсона конгрессу по вопросам помощи иностранным государствам в мае 1969 г., предусматривал смещение акцентов на техническую помощь и переход от двусторонних программ помощи к многосторонним, то есть оказание помощи в сотрудничестве с другими промышленно развитыми странами, при упоре на программы преимущественного сельскохозяйственного развития и ограничения рождаемости. В вышеупомянутой программе помощи приоритет отдается национальным частным компа-

ниям. Организация в январе 1971 г. так называемой Корпорации частных зарубежных инвестиций была наиболее важной мерой администрации Никсона по поощрению частных капиталовложений в развивающиеся африканские страны. Международный банк реконструкции и развития дал особые гарантии этим частным инвеститорам на случай возможных политических потрясений. В целом же, если присмотреться внимательнее к так называемому «новому подходу» Никсона к помощи иностранным государствам, то можно увидеть, что на самом деле этот подход не представляет собой, по существу, ничего нового. Организационная перестройка административного аппарата, занятого реализацией программ помощи, создание программы «смешанных предприятий» в Африке, в которых часть капитала принадлежит государству и частным африканским организациям, использование международных экономических и финансовых организаций — все это довольно хорошо известно и уже применялось ранее в Африке.

Следует отметить также, что, форсируя осуществление своих программ в Африке, американский империализм часто расходится с другими капиталистическими державами в вопросе о формах политического контроля над африканскими странами, занимая в этом вопросе более эластичную позицию. Так, в то время когда ряд капиталистических стран осудил африканские государства, вступившие на путь некапиталистического развития, США не были столь враждебны по отношению к некоторым формам социализма на континенте, особенно в случае, когда подобный «социализм» сопровождался антисоветизмом. Одним из примеров позиции США в отношении стран Африки, выбравших социалистический путь развития, служит Гана. Когда президент Нкрума в начале 60-х годов провозгласил Гану социалистическим государством, газета «Нью-Йорк таймс» в своих комментариях по поводу нового положения Ганы в Африке была весьма сдержанна. Однако затем, чем больше Гана запутывалась в долгах империалистическим державам, тем больше «Нью-Йорк таймс» расхваливала чудеса «африканского социализма» Нкрумы.

Кроме того, в противоположность политике других капиталистических стран в отношении своих бывших колоний США не выступали против создания больших ре-

гиональных политико-экономических группировок. Единственное, по отношению к чему США настроены враждебно, — это процесс региональной автономной индустриализации. Следовательно, не случаен тот факт, что для прощипывания на Африканский континент Управление международного развития (УМР) уделило особое внимание созданию более широких рынков под видом региональных группировок. В отчете Корри об отношениях с Африкой подчеркивается, что американская помощь этому континенту должна все больше предоставляться именно таким группировкам. То же самое подчеркивалось в рекомендациях доклада специальной подкомиссии палаты представителей конгресса США по вопросам экономической политики за границей¹.

Что же касается других капиталистических стран, то здесь в первую очередь следует обратить внимание на Англию. Эта страна еще более тесно, чем Америка, связана с Африкой. На Африку приходится 20% всех ее зарубежных капиталовложений и 27% всех прибылей от иностранных операций. Большинство бывших английских африканских колоний стали теперь ее «партнерами» в Содружестве Наций, с помощью которого она имеет возможность, используя современные формы колониализма, продолжать свою политику ограбления африканских стран. На Африку приходится 32% всех французских частных инвестиций за рубежом; Франция привязала свои бывшие колонии к системе «соглашений о сотрудничестве», что привело их в ряды «Общего рынка» в качестве ассоциированных членов. Аналогичными инвестициями в Африке весьма значительных размеров обладают также Западная Германия и Япония.

29 июля 1969 г. между 18 африканскими государствами и Европейским экономическим сообществом (ЕЭС) была подписана вторая Яундская конвенция об ассоциации. Этот инструмент неоколониализма был создан европейскими странами с целью прочнее привязать африканское экономическое развитие к ЕЭС. Яундская ассоциация включает в себя 18 параллельных зон свободной торговли между ассоциированными африканскими странами

¹ The Involvement of US Private Enterprise in Developing Countries, Government printers, Washington, 1968, p. 89.

ми, Францией, Бельгией, Люксембургом, ФРГ, Италией и Нидерландами, которые должны предоставить финансовую и техническую помощь для консультации и управления в рамках нескольких совместных организаций. Так, 18 африканских государств, включая Камерун, ЦАР, Мадагаскар, Мали, Мавританию, Нигер, Сенегал, Того, Верхнюю Вольту, Бурунди, Руанду и Сомали, за период между 1-й (1962 г.) и 2-й (1969 г.) Яундскими конвенциями увеличили свой импорт из этих шести стран сообщества на 13%.

Рассматривая различные методы, посредством которых действует капитализм в Африке, необходимо, помимо его монополистической природы, принимать в расчет и его национальные интересы. Так, например, интересы Англии и Америки в бывших английских колониях существенным образом расходятся, то же самое имеет место и в отношениях Америки с Францией — в франкоязычных африканских странах, между Англией и ФРГ — в Восточной Африке. Габон может служить хорошим примером проявления этих противоречий. По словам бывшего американского посла в Габоне Дарлингтона, «обнаружилось, что в некоторых африканских странах правительство де Голля чинило помехи, причем иногда весьма значительные, деятельности США в этой стране с явной целью расстроить американские планы и уменьшить их влияние»¹. Причины такой позиции Франции для него совершенно очевидны: «В Габоне Франция была недовольна широким участием американской корпорации «Ю. С. стил» в разработке марганцевых руд и американской корпорацией «Бетлехем стил», обладающей 50% акций в предприятиях по добыче железной руды. Франция была недовольна, когда компания «Фолей бразерс оф Плезативиль» получила контракт от Мирового банка на проведение геологических изысканий с целью прокладки железных дорог в Габоне...»². Все более заметную роль в Африке в последние годы начинает играть японский капитал, активность которого служит новым источником империалистических противоречий в этой части света, являясь в то же время периферийными проявлениями межимпериалисти-

¹ C. Darlington. African Betragal. N. Y., 1968, p. 169.

² J. Saul and G. Arrighi. Nationalism and Revolution in Sub-Saharan Africa. — «The Socialist Register», London, 1969, p. 8.

ческих противоречий между развитыми капиталистическими странами.

В данном обзоре мы рассмотрели не все, а лишь некоторые из новых аспектов и тенденций неокOLONиалистской политики империалистических держав в Африке. Специального анализа заслуживает лишь упомянутый нами здесь вопрос о роли так пазываемых многонациональных корпораций в Африке и целый ряд других. Но уже из того, что было здесь сказано, вырисовывается достаточно отчетливая картина переплетающихся между собой неокOLONиалистских тенденций, которые являются, по существу, результатом усилий США приспособить свои цели к изменившимся условиям, а именно появление на Африканском континенте новых классовых сил и растущая солидарность и сплоченность народов этого региона. Задача США в Африке — это укрепление любым путем капиталистических производственных отношений в африканских государствах с их еще отсталой и многоукладной экономикой и сохранение этих стран в рамках системы полукOLONиальной эксплуатации. Однако в результате перехода к новым неокOLONиальным отношениям положение в расстановке классовых сил в Африке изменилось, что обнаруживается различными путями. Некоторые африканские государства вовлечены в интеграционные процессы неокOLONиалистского характера, другие государства служат форпостом для осуществления корыстных целей неокOLONизаторов; третьи страны — это государства с социалистической ориентацией, стремящиеся ликвидировать ключевые позиции, занимаемые империалистическими державами в их экономике. Важнейшими факторами будущего социального развития Африканского континента являются сотрудничество африканских стран с социалистическими государствами, размах освободительной борьбы, степень единства этих стран, политическая зрелость их руководителей.

КТО ТАКОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ?

*Беттина Аптекер,
Анджела Дэвис**

Роберт Блейк, негр, заключенный тюрьмы Тумс, во время бунта в этой тюрьме в октябре 1970 г. вел переговоры с ее администрацией. Ниже приводится короткое интервью, которое он дал журналистам:

— Ваша фамилия?

— Я революционер.

— В чем вас обвиняют?

— В том, что я родился черным.

— Сколько времени вы находитесь в тюрьме?

— Меня преследуют с того дня, когда я родился.

Том Уикер, корреспондент газеты «Нью-Йорк таймс», был одним из тех, кто был приглашен заключенными тюрьмы штата Аттика в сентябре 1971 г. быть членом комиссии по переговорам с целью прекращения бунта заключенных. Том Уикер — белый, средних лет, родился и вырос в Джорджии, выходец из средних классов. После кровавой бойни в тюрьме Аттики он сделал заявление, к которому многие отнеслись с недоверием: расовая

* Эта статья писалась в тот момент, когда Анджела Дэвис находилась в тюрьме в ожидании суда, окончившегося, как известно, ее полным оправданием. Это исправленный и дополненный вариант доклада, прочитанного Беттиной Аптекер на симпозиуме «Философия гражданской свободы и дело Анджелы Дэвис», организованном «Обществом изучения диалектического материализма» по программе «Американской философской ассоциации», ее Тихоокеанским отделением 23 марта 1973 г. в Сан-Франциско. Доклад представляет собой дальнейшее развитие идей, изложенных в книге Анджелы Дэвис и Беттины Аптекер «If They Come in the Morning» (Third Press, New York, 1971),

гармония среди заключенных была поразительна. Тюремный двор оказался единственным местом в Америке, где не было расизма.

Основой любого анализа положения политических заключенных в США должен быть прежде всего следующий факт: угнетение негров как раньше, так и сейчас является неотъемлемой чертой американского капитализма.

Колониальная экспансия американского капитализма привела к тому, что под его гнетом, кроме негров, оказались индейцы, пуэрториканцы, чиканос, народы Латинской Америки и народы Азии¹. Люди с черной и цветной кожей и поныне остаются самыми первыми жертвами репрессий, страдая от них больше всех.

Наиболее распространенным определением понятия «политический заключенный» является следующее: политический заключенный — это человек, выступающий против государственного строя и преследуемый правительством в уголовном порядке; или же политический заключенный — это человек, нарушающий закон, потому что этот закон или несправедлив, или потому что его несправедливо применяют. Как марксисты, мы должны к этому определению добавить: политический заключенный — это сторонник прогрессивных социальных перемен. Исходя из марксистской теории, мы видим общие контуры прогрессивного исторического развития — развития самосознания народа и определения им своей собственной судьбы. За теми, кто выражает прогрессивные политические идеи, стоит правда истории. Те же, кто придерживается реакционных политических взглядов, являются тормозом исторического развития. Исходя из требований исторического развития общества, мы определяем политического заключенного как человека, выступающего против существующего социального строя и требующего прогрессивных социальных перемен.

Сегодня в США имеются тысячи мужчин и женщин, подпадающих под это определение политического заклю-

¹ Угнетение индейцев в США, имевшее своей основной целью их физическое уничтожение, началось еще до возникновения монополистического капитализма и современного колониализма. Оно приобретает широкий размах и характер геноцида после окончания гражданской войны в США. Подробный анализ этой проблемы дается в кн.: D. Brown, *Bury My Heart at Wounded Knee*. New York, Bantam Books, 1972.

ченного. Анджела Дэвис, ложно обвиненная в убийстве, похищении и заговоре, стала жертвой чудовищного, фальшивого оговора, инспирированного политическими соображениями. Большое количество активных политических деятелей — негров брошено в тюрьмы по ложному обвинению. Правящий класс рассматривает их политическую деятельность как угрозу своему правлению.

Вот уже свыше десяти лет в южных штатах США царит самый настоящий террор, санкционированный правительствами этих штатов и федеральным правительством. Террор направлен против таких негритянских борцов за свободу, как Ли Отис Джонсон в Техасе, Конни Такер во Флориде, Вейланд Брайант, Рональд Вильямс и Гарольд Робертсон в Алабаме, Вальтер Коллинз в Кентукки, и против многих и многих других. Политические репрессии применяются и по отношению к другим политическим деятелям — белым, черным, цветным, участвующим в борьбе рабочих, в движении за мир, студенческом движении. Репрессии принимают форму как политических убийств, участники которых не преследуются по закону, так и «законного» тюремного заключения. Примерами этого служат: убийство Джозефа Яблонски, лидера Объединенного профсоюза горняков; заключение в тюрьму Цезаря Шезеа, председателя Организационного комитета сельскохозяйственных рабочих; заключение в тюрьму Керрол Грейвз, председателя профсоюза учителей в Ньюарке, штат Нью-Джерси; суд над Билли Дин Смитом, солдатом-негром, ложно обвиненным в убийстве из-за его несогласия с политикой войны во Вьетнаме; убитые и раненые студенты Калифорнийского университета в Беркли, Университета Кент, Университета Джексона, Южного университета в Техасе; суды над священником Филипом Берриганом и Элизабет Макалистер и пятерыми другими в Харрисбурге, в Пенсильвании.

Политическими заключенными становятся все, кто подходит под приведенное выше определение. В защиту большинства этих людей было развернуто широкое народное движение, и сила этого движения была наглядно продемонстрирована в многочисленных случаях. Под давлением народного движения были освобождены: Анджела Дэвис, Хью Ньютон, Бобби Спл, Эрик Хаггинз, 21 человек из организации «Черные пантеры» в Нью-Йорке, Ли Отис Джонсон, 7 человек из Харрисбурга, доктор

Бенджамин Спок, Цезарь Шевез, священник Чарльз Коэн и многие другие.

Исключительно важно подчеркнуть далее, что наша защита политических заключенных не означает нашего согласия с той или иной конкретно избранной ими тактикой борьбы. Определяющим фактором здесь должна быть политическая природа их действий. Защита политического заключенного, понимание его мотивов не обязательно должны исходить из одобрения или пропаганды методов его борьбы. Но поскольку правящий класс несет ответственность за бесчеловечные, жестокие, расистские и несправедливые условия жизни, вызвавшие протест и борьбу, то тем самым протестующий и борющийся человек имеет право на защиту. По этой причине правящий класс, контролирующий суды и тюрьмы, государственный аппарат, не имеет права судить человека, выступающего против установленного порядка.

История США изобилует примерами подобного рода. Например, коммунисты под руководством Уильяма Фостера, сурово осуждая террор как средство борьбы, были в первых рядах защитников братьев Макнамара, которые в 1921 году в разгар забастовки бросили бомбу в здание газеты «Лос-Анджелес таймс» и неумышленно убили нескольких человек. Точно так же получают широкую поддержку и многие другие политические заключенные, защищающие как самих себя, так и своих собратьев от полицейского террора. Важным обстоятельством является и то, что исторически коммунисты были всегда в первых рядах защитников жертв ложных политических обвинений, даже если последние и не были коммунистами, а идеологически и политически были противниками их взглядов. Здесь следует упомянуть защиту коммунистами ложно обвиненных Сакко и Ванцетти.

Усложнение теоретических и практических проблем, связанных с определением понятия «политический заключенный», явилось результатом быстрой политизации все большего числа заключенных американских тюрем. И эта политизация обуславливается следующими двумя взаимосвязанными факторами: 1) новым подъемом движения за гражданские права цветного населения Америки, массовостью этого движения и его политической зрелостью; 2) социальной функцией тюремного аппарата США. Рост политического сознания дал толчок массовым демонстра-

циям протеста заключенных в тюрьмах, наиболее драматичной из которых было выступление заключенных в тюрьме в Аттике, штат Нью-Йорк, в нем принимало участие свыше одной тысячи человек.

Социально-политические функции тюремной системы в США являются следствием социальных условий угнетения и эксплуатации, в сохранении которых заинтересовано государство. Марксисты всегда считали тюремную систему придатком государственного аппарата. Известно, что Ленин, а до него Энгельс относили к государственному аппарату полицию и армию, а также тюрьмы и т. д. Разумеется, нет ничего нового в том, что существуют тюрьмы и что немущие люди страдают в них. Нет также ничего нового и в том, что негры несправедливо попадают за тюремную решетку благодаря узаконенному расизму, проникшему во все поры государственного аппарата США. В 30-х годах коммунисты вели борьбу за спасение жизней узников Скотсборо, рассматривая их в качестве жертв так называемого «правосудия» правящего класса и расистского варварства¹. Доктор Дюбуа, указывая на тяжелое положение заключенных-негров, писал в 1932 г.: «В наши дни, если против негра выдвинуто обвинение, будь он виновен или невиновен, ему не только не сообщается суть обвинения, но даже не известны законы, на основании которых его обвиняют. Чем еще можно объяснить тот факт, что в США количество негров, приговоренных к смертной казни и пожизненному заключению или

¹ 9 юношей-негров были арестованы в округе Джексон, штат Алабама, в марте 1931 г.; им было предъявлено обвинение в изнасиловании двух белых девушек. Их невиновность была очевидна, и в связи с этим была организована широкая кампания по спасению их жизней (они были приговорены к смертной казни на электрическом стуле). Массовое движение за освобождение узников Скотсборо вызвало ряд реформ в уголовно-процессуальной процедуре, осуществление которых продолжалось в течение 20 лет. Среди наиболее важных дел были: дело Норриса в Алабаме (1935 г.) и дело Пауэлла в 1939 г. в Алабаме. Первое дело было передано Верховным судом США на новое рассмотрение на основании того, что негры в течение долгого времени не допускались в качестве присяжных заседателей в суды округов Джексон и Морган в штате Алабама, где состоялись судебные процессы над узниками Скотсборо; решение по делу Пауэлла было отменено на основании нарушения 14 поправки к Конституции США и было установлено правило, что если обвиняемому грозит смертная казнь, штат должен предоставить ему защитника, если он сам не в состоянии этого сделать.

на длительные сроки — десять, двадцать или сорок лет, — составляет удивительно большой процент по сравнению с общей их численностью»¹.

Те новые черты, которые обнаруживаются в социально-политических функциях тюремной системы в эпоху государственно-монополистического капитализма, имеют свои исторические корни в национальном и расовом угнетении негритянского населения. Усиление эксплуатации и подавления широких народных масс, становящееся все более характерной чертой капиталистического строя, влечет за собой появление все более усложненных и изощренных форм репрессий, которые используются для запугивания не только цветного населения, но и всех инакомыслящих, а главным образом для терроризирования рабочего класса в целом. В частности, именно существующая тюремная система породила такие бихевиористские концепции, как «преступный тип человека».

Так называемая теория испорченности и склонности к преступности неимущих — старая теория классового общества. В XIX в. склонность к преступлению зачастую объясняли наличием у преступников определенных физических особенностей, например косящие глаза и скошенный лоб. Современная бихевиористская теория преступности сегодня не столь примитивна и поэтому более опасна. Теперь утверждают, что преступник внешне может ничем не отличаться от других людей, но он имеет ряд психологических характеристик, обуславливающих его преступное поведение. Видный ученый-бихевиорист Джеймс Мак-Коннол предлагает такой рецепт для избавления от преступных наклонностей: «Для обучения людей, крыс или плоских червей в нашем распоряжении имеется всего два средства: поощрение и наказание»². Процедура, которую Мак-Коннол называет «промывание мозгов» преступника, состоит из серии следующих друг за другом поощрений и наказаний (а также лекарственное лечение, лечение шоком и т. д.), применяемых до тех пор, пока заключенный не «узнает», что такое непреступное поведение в поимании общества. В конечном итоге

¹ Дюбуа, цитированный Анджелой Дэвис в заявлении национальному съезду Южнохристианского руководства 12 августа 1971 г.

² James V. McConnell. Brainwashing the Criminals. «Psychology Today», April 1970, Vol. 3, № 11.

Этот метод приводит к полному разрушению человеческой личности.

Единственное, что можно извлечь из бихевиористской теории, так это то, что уголовная преступность в США не имеет ничего общего с нарушением закона. Это подтверждается статистическими данными.

Во-первых, известно, что вскрывается только очень незначительное число случаев действительного нарушения закона. Далее, из числа заявленных преступлений лишь небольшой их процент приводит к полицейскому расследованию и аресту.

Во-вторых, 90% всех обвиняемых в уголовных преступлениях в США признают себя виновными еще до суда (ибо они не в состоянии нанять защитника), надеясь этим заслужить себе снисхождение.

В-третьих, 52% всех заключенных в тюрьмах (городских тюрьмах и в тюрьмах округов в отличие от федеральных тюрем и тюрем штатов) не были осуждены за какое-либо преступление; они находятся там по той простой причине, что не имеют средств для внесения залога за свое освобождение. Многие находятся в тюрьмах месяцами и даже годами в ожидании суда.

В-четвертых, от 30 до 50% заключенных тюрем различных городов и штатов являются представителями черного и цветного населения США, составляющего лишь около 15% всего населения страны. В тюрьмах штата Калифорния содержится 28 тысяч заключенных, из них 45% — негры и другие цветные.

Совершенно очевидно, что тысячи и тысячи людей, находящихся в тюрьмах и в заключении, не нарушали никакого закона.

Отсюда сами собой напрашиваются выводы. Профессор Теодор Сарбин из Калифорнийского университета весьма метко сказал: «...Принадлежность к группе людей, известных как правонарушители, не определяется их экономическим или общественным статусом, но принадлежность к группе уголовных преступников определяется экономическим и социальным статусом этих людей»¹. В качестве примера, подтверждающего эту мысль, может

¹ Theodore R. Sarbin. The Myth of the Criminal Type. «Monday Evening Papers», № 18. Center for Advanced Studies, Wesleyan University, 1969.

служить процесс десяти высших чиновников компании «Дженерал электрик», осужденных в 1961 г. за незаконный сговор о ценах на электрогенераторы, что дало им возможность положить в карман десятки миллионов долларов. Этим людям назвали правонарушителями, и некоторые из них действительно отсидели несколько месяцев в тюрьме. Однако общество не рассматривает их как преступников. И наоборот, чиканос или негр, если они украдут 10 долларов в соседнем бакалейном магазине, будут не только называться преступниками, но и будут преследоваться полицией со всей жестокостью и безнаказанностью. Полицейский может даже застрелить такого человека на улице, и коронер* имеет право в этом случае вынести решение об убийстве в целях самозащиты. Полиция часто устраивает провокации там, где живет цветное население¹.

Какова же политическая характеристика преступника и заключенного, которую им дают буржуазные специалисты по тюрьмам и криминологи?

Пенология** является одним из аспектов теории и практики сдерживания противника на внутреннем фронте, то есть система подавления и репрессирования людей, которые непосредственно или даже потенциально опасны для социальной системы.

Вся юридическая и уголовная система, включая полицию, суды, тюрьмы, стала слаженным механизмом, посредством которого правящий класс осуществляет физический и психологический контроль над миллионами трудящихся, в особенности над молодежью, и в первую очередь над цветной молодежью. Эта юридическая машина, помимо тюрьмы, включает в себя Комиссию по условно-досрочному освобождению.

Рассмотрим деятельность этой Комиссии. В Калифорнии примерно 97% всех заключенных-мужчин освобождаются из тюрьмы на поруки. По истечении определенного срока пребывания в тюрьме заключенный освобождается условно на 5—10 и более лет. Условия его освобождения

* Коронер — следователь, производящий дознание в случаях насильственной или скоропостижной смерти. — *Прим. перев.*

¹ Paul Chevigny. Cops and Rebels: A Study of Provocation, Pantheon Books, New York, 1972.

** Пенология — раздел науки уголовного права, занимающийся изучением проблем наказания. — *Прим. перев.*

ужасны. Например, в любое время его могут остановить и обыскать, войти в его дом без разрешения; в ряде случаев ему необходимо иметь разрешение от чиновника этой Комиссии, например, для того чтобы занять денег, жениться, водить машину, сменить работу, переехать в другое место и т. д. Если условное освобождение отменяется, заключенный без суда возвращается обратно в тюрьму и отбывает до конца весь срок заключения. Члены Комиссии по условно-досрочному освобождению назначаются губернатором штата и подчиняются только ему. Это обстоятельство вместе с законами штата, дающими право вынесения приговоров о лишении свободы на срок от одного года до пожизненного заключения в зависимости от поведения заключенного, предоставляет комиссиям по условно-досрочному освобождению неограниченную власть.

Весь этот комплекс мер является не чем иным, как системой тирании, в условиях которой вынуждены жить трудящиеся. И эта система по сути своей есть прелюдия к фашизму. Профессор Герберт Пакер из школы права Стэнфордского университета совершенно справедливо приходит к выводу, что «...неизбежным итогом бихевиористской точки зрения на преступность является превентивное заключение»¹.

Если согласиться с бихевиористской точкой зрения на преступника как на морально извращенную или умственно отсталую личность, то отсюда вытекает необходимость превентивного заключения под стражу всех, кто обнаруживает порочные склонности и, следовательно, потенциально является преступником. Так, в апреле 1970 г. известный врач и близкий к президенту Никсону человек предложил, чтобы правительство начало массовую проверку детей от 6 до 8 лет с целью выявления у них склонностей к преступному поведению. Он предложил организовать специальные лагеря для детей «с сильными расстройствами» и для «молодых трудновоспитуемых преступников».

Еще более опасными с точки зрения потенциальных политических последствий являются предложения Эдварда Бэнфилда, специалиста по городскому управлению

¹ Herbert C. Packer. Crimes of Progress. «Review of Books», New York, October 23, 1969.

Гарвардского университета и председателя Комитета по программе образцовых городов президента Никсона. Профессор Бэнфилд написал книгу о кризисе современных городов. Его анализ природы кризиса современного города содержит мысли, в точности совпадающие с бихевиористской точкой зрения на преступника. Причину кризиса городов Бэнфилд видит в существовании задавленных нищетой и бедностью «низших классов». Этими «низшими классами», вне сомнения, являются трудящиеся, особенно негры и другие цветные. Эти люди, как пытается убедить нас Бэнфилд,¹ моралью опустошены и умственно отстали.

Характеристика низших классов у Бэнфилда есть, по сути, не что иное, как описание бихевиористского образа преступной личности. Это отождествление людей «низшего класса» и преступников служит идеологической основой фашизма и геноцида. Но именно таковой и является программа Бэнфилда. Бэнфилд делает *следующие предложения*: правительство должно избегать всяких заверений, вселяющих надежду на разрешение кризиса городов или даже хотя бы каких-то его аспектов; оно должно сократить безработицу путем отмены всех законов о минимальной заработной плате и законов, предоставляющих профсоюзам «монопольную власть»; отменить все законы о детском труде и снизить срок обязательного обучения в школе с 12 до 9 лет; изменить определение уровня бедности, исходя не из относительного жизненного уровня, а из «установленного уровня»; поощрять или требовать от всех, имеющих «установленный» уровень бедности, проживания в специально организованных для этого местах (читай — концентрационных лагерях!); правительство должно установить меры по контролю за деторождаемостью у бедняков и помещать их детей в общественные детские сады; усилить контроль полиции и разрешить ей «останавливать и обыскивать», а также осуществлять аресты по мелким правонарушениям лишь на основании подозрений; правительство должно ускорять судебные разбирательства и ограничивать свободу тех, кто, по мнению суда, может совершить тяжкое преступление. Это есть не что иное, как фашистская программа,

¹ Более подробный анализ взглядов Бэнфилда содержится в статье Г. Антекера «Кого следует винить за кризис городов: два комментария», помещенной в данном сборнике.

программа геноцида. Появление подобных программ объясняется тем, что правящие круги рассматривают трудящуюся молодежь, и в особенности негров, как действительную и потенциальную подрывную силу, и поэтому эти люди первыми становятся жертвами полицейского террора и тюремной системы.

Из всего сказанного нам необходимо сделать практические выводы. Прежде всего следует обобщить и расширить понятие «политический заключенный», ибо тысячи мужчин и женщин ежедневно становятся жертвами политических репрессий, незаконных полицейских обысков, общего национального и расового угнетения.

Обобщая понятие «политический заключенный», мы должны сделать это с предельной точностью. Нельзя утверждать, что все люди, находящиеся в тюрьмах, или что все цветные заключенные — это политические заключенные. Безусловно, многие из них, хотя и не все, могут быть жертвами расизма и несправедливости классового правосудия, что само по себе, однако, еще не делает их политическими заключенными.

Говоря о расширении понятия «политический заключенный», мы должны учитывать специфические функции тюрем в США и те новые реальности, с которыми мы в настоящее время сталкиваемся. Мы имеем в виду рост политического сознания многих тысяч ранее не интересовавшихся политикой людей, оказавшихся жертвами классового, расового и национального угнетения.

Арестованные за якобы совершенные ими преступления и не имея соответствующей правовой или политической защиты, они лишаются свободы на долгие сроки в нарушение основных гражданских и человеческих прав. В тюрьмах томятся и другие люди, совершившие различные правонарушения, чаще всего это преступления против частной собственности, совершенные в силу условий эксплуатации и угнетения. Для многих из них рост политической сознательности начинается под влиянием политических заключенных, с которыми они ежедневно сталкиваются.

Став политически сознательными, многие заключенные превращаются в убежденных политических лидеров. Примерами этого могут служить Джордж Джексон, Флит Драмгоу, Ричард Кларк, Герберт Блайден и многие другие мужчины и женщины в тюрьмах Тумс, Сан-Квентин

в Аттике, в Нью-Йоркской женской тюрьме, женской федеральной тюрьме Алдерсон. И по мере того как крепнет их политическая сознательность, они становятся политическими заключенными. И неизбежно, что на первый взгляд обычный разбор их дел в судах начинает приобретать политическую окраску. Иными словами, в результате пробуждения их политического сознания власти вынуждены обращаться с ними как с политическими заключенными. Появление новых общественно-политических функций в самой тюремной системе — объективный процесс. Конечно, особые условия существования заключенных: изоляция, грубость, лишение элементарных прав — все это оказывает на них влияние; их политические взгляды могут быть неустойчивыми, их восприятие действительности может быть весьма туманным, их политические взгляды зачастую содержат в себе различные анархические концепции. И все же нередко они приходят к верным и интересным мыслям и идеям, важным и ценным не только для них самих, но и для революционного движения в целом.

Статистика указывает на два неопровержимых факта: 1) с одной стороны, в местах заключения и тюрьмах находятся тысячи людей, которым не предъявлено никакого обвинения; и еще большее количество людей находится там вследствие несправедливой, пропитанной расизмом судебной системы; 2) с другой стороны, в США ежедневно совершается огромное количество преступлений; преступность растет, поскольку само общество дегенерирует и распадается. Причем жертвами преступлений оказываются главным образом трудящиеся, в особенности негры и другие цветные.

Статистические данные и политическая реальность приводят к однозначному логическому выводу. Масштабы расизма и коррупции в полиции, судах, тюрьмах США достигли такого уровня, когда большинство арестованных и заключенных не совершали никакого правонарушения, в то время как гангстеры, убийцы, сводники, торговцы наркотиками занимаются своей преступной деятельностью без особых помех со стороны полиции, судебного аппарата, которые занимаются главным образом не розыском действительных преступников, а репрессиями против негров и других цветных, используя для этой цели специальные службы, отряды, разведывательные группы

программа геноцида. Появление подобных программ объясняется тем, что правящие круги рассматривают трудящуюся молодежь, и в особенности негров, как действительную и потенциальную подрывную силу, и поэтому эти люди первыми становятся жертвами полицейского террора и тюремной системы.

Из всего сказанного нам необходимо сделать практические выводы. Прежде всего следует обобщить и расширить понятие «политический заключенный», ибо тысячи мужчин и женщин ежедневно становятся жертвами политических репрессий, незаконных полицейских обысков, общего национального и расового угнетения.

Обобщая понятие «политический заключенный», мы должны сделать это с предельной точностью. Нельзя утверждать, что все люди, находящиеся в тюрьмах, или что все цветные заключенные — это политические заключенные. Безусловно, многие из них, хотя и не все, могут быть жертвами расизма и несправедливости классового правосудия, что само по себе, однако, еще не делает их политическими заключенными.

Говоря о расширении понятия «политический заключенный», мы должны учитывать специфические функции тюрем в США и те новые реальности, с которыми мы в настоящее время сталкиваемся. Мы имеем в виду рост политического сознания многих тысяч ранее не интересовавшихся политикой людей, оказавшихся жертвами классового, расового и национального угнетения.

Арестованные за якобы совершенные ими преступления и не имея соответствующей правовой или политической защиты, они лишаются свободы на долгие сроки в нарушение основных гражданских и человеческих прав. В тюрьмах томятся и другие люди, совершившие различные правонарушения, чаще всего это преступления против частной собственности, совершенные в силу условий эксплуатации и угнетения. Для многих из них рост политической сознательности начинается под влиянием политических заключенных, с которыми они ежедневно сталкиваются.

Став политически сознательными, многие заключенные превращаются в убежденных политических лидеров. Примерами этого могут служить Джордж Джексон, Флит Драмгоу, Ричард Кларк, Герберт Блайден и многие другие мужчины и женщины в тюрьмах Тумс, Сан-Квентин

в Аттике, в Нью-Йоркской женской тюрьме, женской федеральной тюрьме Алдерсон. И по мере того как крепнет их политическая сознательность, они становятся политическими заключенными. И неизбежно, что на первый взгляд обычный разбор их дел в судах начинает приобретать политическую окраску. Иными словами, в результате пробуждения их политического сознания власти вынуждены обращаться с ними как с политическими заключенными. Появление новых общественно-политических функций в самой тюремной системе — объективный процесс. Конечно, особые условия существования заключенных: изоляция, грубость, лишение элементарных прав — все это оказывает на них влияние; их политические взгляды могут быть неустойчивыми, их восприятие действительности может быть весьма туманным, их политические взгляды зачастую содержат в себе различные анархические концепции. И все же нередко они приходят к верным и интересным мыслям и идеям, важным и ценным не только для них самих, но и для революционного движения в целом.

Статистика указывает на два неопровержимых факта: 1) с одной стороны, в местах заключения и тюрьмах находятся тысячи людей, которым не предъявлено никакого обвинения; и еще большее количество людей находится там вследствие несправедливой, пропитанной расизмом судебной системы; 2) с другой стороны, в США ежедневно совершается огромное количество преступлений; преступность растет, поскольку само общество дегенерирует и распадается. Причем жертвами преступлений оказываются главным образом трудящиеся, в особенности негры и другие цветные.

Статистические данные и политическая реальность приводят к однозначному логическому выводу. Масштабы расизма и коррупции в полиции, судах, тюрьмах США достигли такого уровня, когда большинство арестованных и заключенных не совершали никакого правонарушения, в то время как гангстеры, убийцы, сводники, торговцы наркотиками занимаются своей преступной деятельностью без особых помех со стороны полиции, судебного аппарата, которые занимаются главным образом не розыском действительных преступников, а репрессиями против негров и других цветных, используя для этой цели специальные службы, отряды, разведывательные группы

и т. д. Причем за последние годы структура и функции полицейского аппарата все более перестраиваются для борьбы с движениями протеста. В условиях государственно-монополистического капитализма полицейский аппарат все больше и больше принимает формы полувоенной организации. Имея армейское вооружение, включая пулеметы, танки, вертолеты, газ Си-Эс и находясь под единым командованием, полиция выступает фактически как оккупационная сила на «вражеской (рабочего класса) территории». Новая техника связи, дополненная использованием вычислительных машин, координирует действия полиции как на местах, так и в пределах национальной системы ФБР, ЦРУ и военной разведки. Эти организации свою основную задачу видят в борьбе с так называемыми гражданскими беспорядками: забастовками, демонстрациями, митингами протеста, выступлениями студентов и т. д.

Борьба за освобождение политических заключенных и за коренные преобразования функций и целей тюремной системы поддерживается теперь многими тысячами людей, ранее не имевших обо все этом никакого представления. Об этом в первую очередь свидетельствуют три события. Первое — борьба за освобождение соледадских братьев: Джона Кладчетта, Флита Драмгоу и Джорджа Джексона. Книга Джексона «Соледадский брат. Письма из тюрьмы Джорджа Джексона» только в США разошлась в количестве более четверти миллиона экземпляров. Борьба за освобождение братьев, обвинявшихся в убийстве, окончилась оправданием двух из них — Джона Кладчетта и Флита Драмгоу — судом присяжных, состоявшимся в Сан-Франциско в марте 1972 г. Кладчетт вышел из тюрьмы, за свободу Драмгоу еще нужно бороться, ибо он был вновь обвинен — в убийстве Джорджа Джексона, который на самом деле был убит охраной в тюрьме Сан-Квентин 21 августа 1971 г.

Вторым важным событием явился бунт заключенных тюрьмы в Аттике в сентябре 1971 г. Этот бунт впервые раскрыл правду о политических заключенных миллионам людей. Тщательно спланированное военное нападение, окончившееся гибелью 43 заключенных и избитием и пытками, которые последовали за этим уничтожением беззащитных людей, — все это развеяло в прах представ-

ленно о «просвещенных тюремных служителях» в глазах всего американского народа.

И наконец, массовое движение, возглавляемое Коммунистической партией США, которое выиграло битву за освобождение Анджелы Дэвис. В борьбе за свободу Анджелы Дэвис это движение использовало все виды демократических и конституционных свобод. В этом проявилась сила народа, организованного и объединенного в борьбе. Победа показала, что борьба за свободу Анджелы Дэвис затронула каждого человека. Ее жизнь тесно связана с жизнью всех угнетенных людей, и их жизнь оказалась связанной с ее жизнью.

Следует подчеркнуть, что движение в защиту мужчин и женщин, являющихся политическими заключенными, не есть оборонительное движение. Напротив, оно наступательно по самой своей сути. И его результаты выражаются не только в том, что оно может освободить отдельного человека. По своей природе это движение представляет собой массовое наступление на государственный аппарат, который становится слабее как политически, так и идеологически с каждой одержанной над ним победой. Одной из наиболее примечательных особенностей борьбы в последние годы является тот факт, что правительство уже не может привлекать к суду активистов движения по обвинению в заговоре. Вне всякого сомнения, доверие к правительству среди народных масс в значительной степени было подорвано, в особенности во время борьбы за прекращение войны во Вьетнаме, борьбы, принявшей столь невиданный размах. Люди больше не верят правительству. В этом — огромное значение освобождения Анджелы Дэвис и соледадских братьев.

Далее, борьба за освобождение всех политических заключенных и проведение кардинальных изменений в тюремной системе имеет объективно необходимую и сознательно преследуемую цель — сломать отдельные звенья буржуазного государственного аппарата. Эта цель соответствует положениям марксистской теории о государстве. Ленин писал: «...все прежние революции усовершенствовали государственную машину, а ее надо разбить, сломать. Этот вывод есть главное, основное в учении марксизма о государстве...»¹. При этом необходимо пол-

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 33, стр. 28.

ностью учитывать потенциальные возможности движения за освобождение всех политических заключенных, нужно поддерживать требования самих заключенных о прекращении вынесения приговоров на неопределенные сроки, в зависимости от поведения, требования адекватной платы за работу, выполняемую в тюрьме, требования предоставления возможности изучать марксизм в самостоятельно организованных группах в тюрьмах, предоставление заключенным гражданских и человеческих прав. Все эти требования способствуют подрыву идеологической, политической и социальной основы тюремной системы. И именно поэтому губернатор штата Нью-Йорк Нельсон Рокфеллер и президент Никсон утопили в крови тюремный бунт в Аттике¹.

Резня произошла по той причине, что если бы требования заключенных были удовлетворены посредством переговоров, то это еще более слобило бы их и укрепило дисциплину, а также усилило бы массовую поддержку пэпсе. Если бы выступление заключенных имело успех, то всей системе тюремного контроля, манипулирования и запугивания был бы нанесен ощутимый удар.

Тюрьмы с их особыми социальными функциями предназначены для защиты и укрепления отношений эксплуатации, царящих на производстве в условиях государственно-монополистического капитализма. Они используются для защиты и усиления национального и расового угнетения черных и цветных народов, которые в своем подавляющем большинстве принадлежат к рабочему классу, занятому в основных отраслях промышленности¹. Движение за освобождение политических заключенных, направленное против основ тюремной системы, способствует развитию революционной борьбы и укреплению мощи революционного движения. Опыт этой борьбы помогает росту политической сознательности трудящихся масс и придает новое значение их политической силе.

¹ Анализ результатов выступлений заключенных в Аттике содержится в статье Генри Уинстона в «The Daily World», vol. IV, № 48, September 21, 1971.

² См.: Carl Bloice. Triple Threat Against Black Workers, «Political Affairs», April 1972, статья посвящена анализу изменений в использовании рабочих-негров в экономической структуре США.

О РОЛИ НЕГРИТЯНСКИХ ЖЕНЩИН В БОРЬБЕ С РАБСТВОМ

Анджела Дэвис

Очень часто приходится слышать утверждения о том, что матриархат в негритянской семье является одним из неизбежных продуктов рабства. Когда с официального одобрения Вашингтона этот миф был закреплен в докладе Мойнихана, его фальшивость и пропагандистская направленность стали полностью очевидными. Однако еще до сих пор можно встретить упоминания о матриархате в негритянской семье, исходящие от людей, которые не связаны с идеологическим аппаратом правящего клана. В ряде случаев упоминание о матриархате можно встретить и у представителей негритянского народа. Еще бытует мнение о «патологической путанице», вызванной матриархатом (в этом матриархате, согласно докладу Мойнихана, следует искать корни угнетения негритянского народа).

Точное воспроизведение жизни негритянской женщины-рабыни должно развеять миф о матриархате и одновременно показать исторические условия ее угнетения и различные формы протеста, а часто и героические поступки как ответ на господство рабовладельцев.

За идеей черного матриархата кроется молчаливый обвинительный акт в адрес наших прародительниц, которые якобы активно поддерживали рабство. Печально известная фраза «оскопленная самка» родилась из ложного мнения, что, играя главную роль в рабской «семье», негритянская женщина выступила как коллаборационист по отношению к классу рабовладельцев. Подобное утверждение крайне далеко от истины. Система рабовладения по

своей природе не создавала и не могла создать матриархальной семьи. Матриархату присуще понятие власти. Но для рабовладельцев было бы слишком рискованно открыто признать чью-либо власть — даже со стороны женщины. Подобная узаконенная власть вполне могла обратиться и против интересов рабовладельческой системы, которая стремилась дезорганизовать жизнь семьи раба, всячески боролась с возможными потенциальными социальными структурами, посредством которых негры могли бы сознательно строить свою жизнь¹. Отцы и матери безжалостно отделялись друг от друга; дети, достигнув совершеннолетия получали клеймо и часто увозились от своих матерей. Тот факт, что мать была «единственным законным родителем своего ребенка», не означал, что ей разрешалось его воспитывать.

Рабы, живущие под одной крышей, часто не были связаны кровными семейными связями. Фредерик Дуглас, например, не знал своего отца. Он очень смутно помнит свою мать, так как видел ее крайне редко. В семилетнем возрасте ему пришлось покинуть свою бабушку, о которой он позже говорил: «Она была для меня и отцом и матерью»². Однако члены семьи были связаны между собой прочными узами, несмотря на насильственное их разъединение, что свидетельствует о замечательной способности негритянской семьи сопротивляться своему разрушению.

В ряде случаев негритянские семьи не подвергались разъединению, что делалось исключительно в интересах жадных до наживы рабовладельцев. Сильная рука рабовладельца управляла негритянской семьей, находившейся

¹ Здесь напрашивается сравнение с положением семьи в нацистской Германии, с ее напыщенной болтовней и бредовыми идеями о материнстве и роли семьи. Гитлеровский режим сознательно лишал семью ее социальных функций. Цель нацистской программы по отношению к семье — сделать ее биологической единицей и привязать к фашистской бюрократии. Совершенно очевидно, что нацисты всячески пытались разрушить семью, чтобы она не могла стать центром возникновения какой-либо оппозиционной деятельности.

² Herbert Aptheker, ed. *A Documentary History of the Negro People in the United States*, N. Y., 1969, p. 272. О Ф. Дугласе см. также статью Г. Аптекера: Фредерик Дуглас — титан нашей истории. — В: «Прогрессивные деятели США в борьбе за передовую идеологию», М., 1955, стр. 389—396.

под его властью и часто создаваемой им самим. Один бывший раб рассказывал об издевательствах над неграми на одной из плантаций, где он работал. «Когда вы женитесь, вас заставляют перепрыгнуть три раза через метлу»¹. Этот бывший раб описывает различные способы, с помощью которых хозяин заставлял насильно жить друг с другом мужчин и женщин, стремясь получить как можно больше детей-рабов. По словам Джона Генриха Кларка, «семья как функциональная единица была поставлена вне закона и существовала, как таковая, если это было выгодно ее хозяину-рабовладельцу. Сохранение семьи раба было выгодно рабовладельцу, ибо в семье появлялись новые рабы, которых можно было эксплуатировать»².

Представление о негритянской женщине как о главе семьи является грубым искажением действительности, поскольку это означает наличие устойчивого кровного родства, в пределах которого мать — глава семьи — обладает полной властью. Подобные представления игнорируют также глубокую психологическую травму, наносимую негритянской женщине, когда она должна была отказываться от рожденного ею ребенка, отчуждаемого от нее ради хищнического экономического интереса. Даже самое широкое понимание матриархата не применимо к негритянской женщине-рабыне. Но отсюда не следует делать вывод, что она не играла никакой значительной роли в общине рабов. Значение ее абсолютно необходимых усилий, направленных на сохранение семьи и существование негритянского народа, едва ли можно как-то умалить или принизить. Если бы она ничего не сделала другого, кроме этого, то все равно ее героические усилия заслуживали бы полного одобрения. И все же борьба за физическое существование при всей ее важности не была главным делом жизни негритянской женщины. В условиях грубой силы ей выпала миссия развития самосознания своего народа и его способности к борьбе. Много говорится о борьбе негров-мужчин в период рабства, но очень мало об отношении к борьбе негритянских женщин. Чтобы понять роль негритянской женщины в борьбе за свободу в усло-

¹ Andrew Billingsley. *Black Families in White America*. Englewood, New Jersey, 1968, p. 61.

² John Henrik Clarke. *The Black Woman: A Figure in World History*. Part III, *Essence*, New York, July 1971.

виях рабства вообще и в условиях американского рабства в частности, необходимо специальное исследование.

Рабство является древнейшим институтом человека. Карл Маркс писал о рабском труде в его традиционной форме, а также о крепостническом труде: «Раб не находится в каком-либо отношении к объективным условиям своего труда; напротив, сам работник, и в форме раба и в форме крепостного ставится в качестве *неорганического условия* производства в один ряд с прочими существами природы, рядом со скотом или является придатком к земле»¹.

Существование раба как естественного условия производства дополняется и подкрепляется, как указывает Маркс, его участием в социальной жизни. Участие в повседневных делах, пассивное отношение раба к этим делам есть молчаливое согласие с угнетением. Энгельс в своей книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства» отмечает, что в древних Афинах государство зависело от полицейских сил, состоящих исключительно из рабов².

Рабство в Америке значительно отличалось от рабства в древнем мире. Негры в Америке были вынуждены вести себя, как если бы они были «неорганическими условиями производства». При рабстве «личность поглощалась корыстной идеей собственности, мужество терялось в имуществе»³.

Ранее не существовали никакие социальные структуры или какое-либо культурное наследие, которые могли бы дать повод к примирению рабов с условиями их рабства. Наоборот, африканские рабы в Америке были лишены своего естественного окружения, социальных связей и культуры. Рабство не позволяло создавать какое-либо социально-культурное окружение для рабов, ибо, по всей вероятности, оно было бы несовместимо с ним.

Еще одно обстоятельство свидетельствует не в пользу гармонии и равновесия в отношении раба к своему положению: рабство в Америке существовало в обществе так называемого «свободного наемного труда». Негры-рабы имели возможность сравнивать свое положение с номп-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. I, стр. 478.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 107.

³ Frederick Douglass. Life and Times of Frederick Douglass, N. Y. 1962, p. 96.

нально свободным статусом белых трудящихся. В отличие от «свободных» людей, рядом с которыми они работали, они не имели никаких прав даже на нищенскую заработную плату. Таковы некоторые из противоречий, возникших в результате насильственных попыток включить рабство в рамки американского капитализма на его ранних ступенях развития.

Сочетание исторически изжившей себя системы рабского труда, основанной почти исключительно на расовом принципе, и стремление разрушить все социальные и культурные связи негров подорвали основу самой системы рабовладения. Рабы больше не хотели мириться с условиями своего существования, и их заставляли покориться насильственным путем. Если бы рабовладельцы не использовали насилие и если бы они не получали поддержку со стороны других белых — а это были правящий класс и введенные в заблуждение белые трудящиеся, помогавшие терроризировать негров, — рабство не получило бы такого развития, какое оно имело в США.

История сопротивления рабству негритянского народа в полном ее объеме еще не полностью воссоздана, и здесь еще предстоит многое сделать. Имеется много примеров, которые показывают размах и силу сопротивления негров попыткам рабовладельцев лишить их элементарных человеческих прав. Недавние исследования показали, что сравнительно небольшое число негритянских восстаний — слишком громких, чтобы умолчать о них даже историкам правящего класса, — не были изолированными явлениями, как в этом пытались нас убедить некоторые историки. В действительности мы знаем теперь, сколь часто вспыхивали восстания рабов, доведенных до крайности непосильными условиями труда. Но восстания рабов были вершиной айсберга; сопротивление выражалось и другими способами, которые на первый взгляд могут показаться незначительными, например симулирование болезни, лень и т. д.

Если сопротивление было органической частью жизни рабов, то оно должно было опираться на социальную организацию, созданную ими самими. Осознание своего угнетения и стремление уничтожить его не могли иметь места без поддержки сообщества, созданного рабами своими силами. По самой своей сути это сообщество формировалось скрытно от глаз эксплуататоров. Его центр нахо-

дился в жилых районах или рядом с ними, в местах, где рабы после изнурительного труда на плантациях восстанавливали свои жизненные силы.

На плантациях рабы были не более чем вьючные животные, лишённые человеческих качеств. (А человек, лишённый своих человеческих качеств, не стремится к свободе). Сообщество, складывавшееся около жилищ рабов, могло помочь им снова стать людьми. Можно сказать, что только в домашних условиях — вдали от глаз и кнута надсмотрщика — рабы могли ещё сохранять оставшиеся у них крупицы свободы. Только здесь они могли мечтать о свободе и готовиться к борьбе с рабовладельцами, чье ненасытное стремление выколотить из рабов как можно больше прибыли было причиной их нищеты.

Отсюда мы и вернемся к негритянской женщине-рабыне. Все домашние обязанности, «естественно», должна была выполнять она. На ее долю выпала обязанность ведения домашнего хозяйства. Ведение домашнего хозяйства женщиной диктовалось идеологией якобы мужского превосходства, прочно укоренившейся в американском обществе белых. Это также исходило из патриархальных традиций Африки. Считалось, что биологическое назначение женщины — рожать детей, ее социальное назначение — готовить пищу, убирать жилище, растить детей. Традиционно считается, что домашний труд женщин есть свидетельство их подчиненного положения и их неполноценности.

Но с негритянскими женщинами-рабынями дело приняло несколько иной и необычный оборот. В бесконечных заботах о мужчинах и детях, которые не обязательно были членами ее собственной семьи, она выполняла единственный вид труда в рабском обществе, который не мог непосредственно контролироваться рабовладельцем. Негры не получали никакого вознаграждения за работу на плантациях; этот труд для рабов был лишен какой-либо цели. В то же время домашний труд был единственным осмысленным трудом для общества рабов в целом (не учитывая некоторые исключительные и, в общем, нетипичные случаи, когда рабы получали некоторую плату за свой труд).

Выполняя тяжелую домашнюю работу, считавшуюся признаком социально обусловленной подчиненности и закабаления, негритянская женщина тем самым способство-

вала заложению основ некоторой самостоятельности как для себя, так и для окружающих. Страдая от угнетения, она силами обстоятельств была поставлена в центр общества рабов, и в силу этого она играла большую роль в борьбе за жизнь этого общества. Не все рабы могли выжить в условиях тяжелого изнурительного труда, поэтому ее деятельность, направленная на помощь им в борьбе за жизнь, явилась сама по себе формой борьбы. Борьба за то, чтобы выжить, стала, таким образом, необходимой предпосылкой для всех других, более высоких уровней борьбы.

О роли женщины в период рабства можно сказать очень много. Диалектический характер ее угнетения был весьма сложным. Негритянская женщина стала жертвой социального мифа, что только женщина с ее ограниченными способностями к умственному и физическому труду должна заниматься домашним трудом. Так называемые выгоды теории об особых женских привилегиях не выпали на ее долю. Негритянскую женщину не превозносили и не окружали ласковыми заботами; она не была в стороне и от отчаянной борьбы за существование вне своего дома. Она была на плантациях вместе с мужчинами, работая под кнутом надсмотрщика от восхода до захода солнца.

Одной из злых насмешек системы рабовладения, цель которой состояла в извлечении максимально возможной прибыли из труда рабов и мужчин и женщин, было освобождение негритянской женщины от мифа женственности, то есть мифа о ее особом привилегированном положении как женщины. По словам Дюбуа, «...нашим черным женщинам свобода была вколочена палками»¹. В качестве рабыни негритянская женщина должна была перестать быть женщиной, утратить свою историческую роль попечителя всей мужской иерархии. Обстоятельства сделали ее равной мужчине. Не учитывая роли женщины как хранительницы домашнего очага, нельзя правильно себе представить систему рабовладения и место в ней господства мужчины. Хотя в господствующем классе главенство было у мужчины, система рабовладения не могла дать рабу-негру даже видимости привилегированного по-

¹ W. E. B. Du Bois, *Darkwater, Voices from Within the Veil*, New York, AMS Press, 1969, p. 185.

ложения по отношению к негритянской женщине. Мужчина-раб не мог быть полновластным хозяином в семье или обществе, ибо у рабов отсутствовало даже такое понятие, как «обеспеченная семья». В целях рабовладельческой эксплуатации необходимо было самое жестокое и предельное использование всех производительных способностей каждого мужчины, женщины и ребенка. Все они должны были «обеспечивать» хозяина.

«Колокол начинает звонить в четыре часа утра, на сбор дается полчаса. Мужчины и женщины выходят на работу в одно и то же время, и женщины должны так же усердно работать, как и мужчины, и выполнять ту же работу»¹.

Даже во время исполнения материнских обязанностей — в других обстоятельствах повод для лицемерного обожания женщин — с негритянской женщиной обращались так же жестоко и безжалостно, как и с мужчиной. Вот что говорит один раб, описывая свою жизнь: «...кормящие матери, находясь на работе, сильно страдали от избытка в груди молока, так как их младенцы оставались дома, по этой причине они не могли работать так же усердно, как и другие. Я видел, как надсмотрщик бил их ремнем; кровь и молоко, смешиваясь, текли по их телу»².

Мозес Гранди, бывший раб, указывает на обычную форму наказания негритянской женщины, имеющей ребенка: «Ее заставляли ложиться над ямой и били кнутом или палкой с дырками так, что после каждого удара на теле появлялись волдыри»³. Необузданная жестокость, с помощью которой негритянскую женщину уравнивали с негритянским мужчиной, совершенно очевидна, и нет нужды больше говорить об этом. Негритянская женщина была равна мужчине в эксплуатации.

Но это уродливое равенство стало способствовать пробуждению громадных потенциальных сил черной женщины. Обогащая своим трудом угнстателя, она начала пра-

¹ Lewis Clarke. Narrative of the Sufferings of Lewis and Milton Clarke, Sons of a Soldier of the Revolution. Boston, 1848, p. 127 (Цит. по: E. Franklin Frazier, The Negro Family in the United States Chicago, 1966).

² Moses Grandy. Narrative of the Life of Moses Grandy; Late a Slave in the United States of America. Boston, 1844, p. 18 (Цит. по: E. Franklin Frazier, The Negro Family in the United States, Chicago 1966).

³ Там же.

ктически осознавать его зависимость от нее, поскольку хозяину раб нужен больше, чем рабу хозяин. Одновременно она начинала понимать, что, хотя ее производственная деятельность была подчинена интересам хозяина, последняя тем не менее была доказательством ее способности изменять вещи. По словам К. Маркса «труд есть живой, преобразующий огонь; он есть брэнность вещей, их временность...»¹.

Осознание черной женщиной гнета, от которого ежедневно страдал ее народ, росло в условиях жестокой реальности ее ежедневного опыта. Это не было ограниченное осознание женщины, прикованной к домашнему труду. Она была подготовлена к тому, чтобы подняться до тех же форм борьбы, до которых способны были дойти и мужчины-рабы. Даже в рамках домашнего труда роль негритянской женщины в общине рабов не идентична истории развития роли женщины вообще. Лишенная сомнительной возможности найти утешение в пассивном выполнении домашних дел, она приобрела взамен способность привести в домашнюю жизнь глубокое чувство сопротивления эксплуататорам.

С помощью обретших силу негритянских женщин община рабов в целом могла достигнуть степени сплоченности, недостижимой для угнетенной белой семьи или даже для патриархальной родовой общности африканцев. Скрыто или явно, но община рабов была всегда борющимся сообществом людей. Гнев рабов и их ненависть к своим угнетателям часто прорывался в восстаниях, в ежедневных актах саботажа против рабовладельцев. И без активного участия в этой борьбе негритянской женщины движение сопротивления рабовладельцам не могло бы успешно развиваться. Угнетение негритянской женщины в эпоху рабства сопровождалось различными репрессиями. Утверждение, что угнетение черных женщин-рабынь было неизбежно связано с открытыми формами подавления негритянских бунтов, не должно рассматриваться как нечто необычное, каким оно кажется на первый взгляд. Конечно, это утверждение нуждается в подтверждении. Нужно доказать, что женщины-рабыни принимали участие в открытых выступлениях рабов, выступлениях, которые сотрясали всю систему рабовладения.

¹ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. I, стр. 324.

Пока что за единственным исключением Гарриэт Табман и Соджорнер Трус активная деятельность черных женщин в эпоху рабства остается до сих пор нераскрытой. Но даже и здесь, по утверждению Эрла Конрада, роль «генерала Табман» в американской истории постоянно и упорно принижалась. А она была выдающимся борцом против рабства, и ее заслуги не только в том, что она сделала 19 вылазок на Юг, освободив свыше 300 рабов. «Она была руководителем разведки южного отдела в течение всей гражданской войны; эта женщина — единственная американка, руководившая войсками белых и черных на поле битвы. Как талантливый оратор, она выступала в советах аболиционистов, будучи одним из желанных участников съездов против рабства. Вместе с Дугласом, Мартином Делони, Уэнделем Филлипсом, Джеррит Смит и другими она активно участвовала в движении за освобождение рабов»¹.

Я пока еще не видела сколько-нибудь полного и систематического исследования роли негритянских женщин в борьбе с рабством. Об участии женщин в известных и малоизвестных восстаниях рабов имеются лишь отрывочные сведения. Так, например, известно, что жена Габриеля активно участвовала в подготовке восстания, руководимого ее мужем, но больше о ней никаких сведений нет.

Этот очерк основан на исследовании Герберта Аптекера — единственном материале, находившемся в нашем распоряжении в момент написания этой работы². Фактические данные, приведенные в исследовании Аптекера относительно восстаний рабов и других форм их борьбы за свободу, свидетельствуют о необходимости тщательного анализа роли негритянских женщин в борьбе с рабством.

В работах Аптекера имеется указание на повсеместное существование общин негров, которые не были ни рабами, ни свободными. По всему Югу, в Северной и Южной Каролине, Виргинии, Луизиане, Флориде, Джорджии, Миссисипи и Алабаме существовали в период с 1642 по 1864 г. общины маронов, состоявшие из беглых рабов

¹ Earle Conrad. I Bring You General Tubman. «The Black Scholar», vol. I, № 3—4. Jan. Feb. 1970, p. 4.

² В феврале 1949 г. Герберт Аптекер опубликовал статью в журнале «Masses and Mainstream» под заголовком «Негритянская женщина», пока я не смогла ознакомиться с ней.

и их детей. Эти общины «...предоставляли убежище беглецам, служили базами для нападений на ближайшие плантации, а иногда организовывали и руководили восстаниями»¹.

Жизнь этих общин протекала в борьбе и полностью определялась ею, поскольку смысл их существования заключался в постоянной борьбе с рабством. Только в борьбе они могли надеяться обеспечить себе свободу. Женщины общин маронов боролись вместе с мужчинами.

Можно было бы привести примеры того, как женщины-рабыни часто отравляли пищу и поджигали дома своих хозяев. Этим способом борьбы пользовались наиболее часто слуги-негры. Конечно, восстановление истории сопротивления негритянского народа рабству сопряжено со значительными трудностями, поскольку очень многое замалчивалось и оставалось неизвестным. Мы приведем здесь лишь отрывочные свидетельства, которые дошли до нас и которые при всей своей фрагментарности служат указанием на огромную и еще мало исследованную историю борьбы негритянского народа.

В начале рабовладельческой эры в Америке (1708 г.) вспыхнуло восстание рабов в Нью-Йорке. Среди его участников несомненно было много женщин, и одна из них вместе с тремя мужчинами была казнена в отместку за убийство семерых белых. Не случаен тот факт, что мужчин повесили, а женщину зверски сожгли живой². В той же самой колонии женщины сыграли активную роль в восстании 1712 г., в ходе которого рабы, вооруженные ружьями, ножами и дубинками, убили и ранили нескольких белых рабовладельцев. Было схвачено несколько оставшихся, среди последних была беременная женщина, многие из них покончили с собой, но не сдались³.

В Новом Орлеане в 1730 г. женщину-рабыню сильно избил французский солдат за отказ подчиниться ему; в яром гневе она воскликнула: «Французы должны прекратить оскорблять негров»⁴. Как обнаружилось позже,

¹ Herbert Aptheker. Slave Guerrilla Warfare. In: «To Be Free, Studies in American Negro History». New York, International Publishers, 1969, p. 11.

² Herbert Aptheker. American Negro Slave Revolts, New York; International Publishers, 1970, p. 169.

³ Там же, стр. 173.

⁴ Там же, стр. 181.

эта женщина и, без сомнения, многие другие принимали участие в обширном плане уничтожения рабовладельцев. Вместе с восемью мужчинами эта бесстрашная женщина была казнена. Два года спустя в Луизиане были схвачены женщина и четверо мужчин, оказавшиеся руководителями готовящегося восстания. Всех их казнили, и их головы были насажены на шести¹ — типичная черта варварства и дикости того времени. В Чарльстоне, штат Южная Каролина, черная женщина была приговорена к смерти за поджог². В Мэриленде женщина-рабыня была казнена в 1776 г. за поджог дома своего господина, всех наружных построек и сарая для сушки табака³.

В разгар колониальной войны с Англией в приходе Сан-Эндрью, штат Джорджия, в 1784 г. была арестована группа рабов, мужчин и женщин. До своего ареста они успели уничтожить несколько рабовладельцев⁴.

О существовании общин маронов мы уже упоминали выше; в период с 1782 по 1784 г. Луизиана подвергалась непрерывным нападениям маронов. 25 маронов были захвачены, и все они — и мужчины и женщины — были жестоко наказаны⁵.

Как видно из приведенного примера, на Севере США также имели место выступления борющихся негритянских женщин. В Олбани, штат Нью-Йорк, в 1784 г. среди трех казненных за выступления против рабства были две женщины⁶. Уважение и восхищение перед негритянской женщиной-борцом со стороны ее народа видно из события, совершившегося в начале 1803 г. в Йорке, штат Пенсильвания. Маргарет Бредли была осуждена за попытку отравления двух белых; в знак протеста черные жители этого района организовали массовый бунт. «Они сделали несколько попыток сжечь город, в течение трех недель им удалось сжечь 11 зданий. Везде были выставлены патрули, установлена сильная охрана, на место бунта была послана полиция, была установлена награда в 300 долларов за поимку мятежников»⁷.

¹ Herbert Aptheker. American Negro Slave Revolts, New York, International Publishers, 1970, p. 182.

² Там же, стр. 190.

³ Там же, стр. 195.

⁴ Там же, стр. 201.

⁵ Там же, стр. 207.

⁶ Там же, стр. 215.

⁷ Там же, стр. 239.

Последовательное уничтожение путем отравления «наших уважаемых людей» (говорилось в письме губернатору Северной Каролины) было отомщено: казнили четыре или пять рабов. Одной из последних была женщина, которую сожгли живой¹. В 1810 г. две женщины и мужчина были обвешены в поджоге в Виргинии².

В 1811 г. Северная Каролина стала местом схватки между маронами и отрядом по поимке рабов. Местные газеты писали, что мароны «бросили вызов вооруженному отряду, будучи полны решимости защищать свою землю». Два человека были убиты, один ранен и двое — обе женщины — были схвачены³.

В «Документальной истории негритянского народа США» Г. Аптекаера приводится свидетельство раба-мятежника, который признал на суде, что черная женщина посвятила его в свой план убить хозяина и что другая черная женщина его укрывала после совершения убийства⁴. В 1816 г. 300 беглых рабов — мужчины, женщины, дети — захватили форт во Флориде. После того как туда были направлены отряды армии США с приказом уничтожить рабов, десятидневная осада форта окончилась тем, что в живых осталось только 40 рабов⁵. В ходе аналогичной, хотя и меньшей по размерам, схватки между маронами и отрядами милиции в Южной Каролине в 1826 г. были убиты женщина и ребенок⁶. Было совершено нападение на общину маронов в Мобили, штат Алабама, в 1837 г. Ее обитатели — мужчины, женщины и дети — упорно сопротивлялись. По словам местных газет, «они дрались, как спартанцы»⁷.

Осужденная за участие в организации пожаров в 1829 г. в Аугусте, штат Джорджия, негритянская женщина была «казнена, разрублена на части и выставлена напоказ» (со слов одного англичанина). Угрожала казнь и другой женщине, собиравшейся родить⁸. В тот же год группа рабов, которых вели из Мэриленда на продажу на

¹ Herbert Aptheker. American Negro Slave Revolts, New York, International Publishers, 1970, p. 241—242.

² Там же, стр. 247.

³ Там же, стр. 251.

⁴ Aptheker. Documentary History, p. 55—57.

⁵ Aptheker. Slave Revolts, p. 259.

⁶ Там же, стр. 277.

⁷ Там же, стр. 259.

⁸ Там же, стр. 281.

Юг, задумали убить работорговцев и вырваться на свободу. Им удалось убить одного из них, но их схватил отряд белых. Из шести руководителей, приговоренных к смерти, была одна беременная женщина. После того как она родила ребенка, ее повесили¹. Рабовладельцам в Луизиане, как отмечалось выше, было хорошо известно о силе духа черной женщины, вставшей на путь борьбы. В 1846 г. отряд рабовладельцев сделал засаду в общине маронов, убив одну женщину и ранив двух других². В других штатах также были случаи выступления черных женщин против рабства. В 1850 г. в штате Миссури «около 30 рабов, мужчин и женщин, принадлежавших разным рабовладельцам, вооружившись ножами, дубинками и ружьями, направились в свободный штат». Однако их планы были сорваны белыми преследователями³. Мы закончим наш обзор открытых актов сопротивления, в которых негритянские женщины играли главную роль, упоминая еще о двух событиях. Когда в 1857 г. в Миссисипи был разгромлен лагерь маронов, всем рабам удалось бежать, за исключением четырех человек, среди которых была одна женщина⁴. Все рабы, и мужчины и женщины, храбрились с белыми. И, наконец, в октябре 1862 г. произошла стычка между маронами и разведывательной группой солдат в штате Виргиния⁵. На этот раз победу одержали мароны, им в этом помогали черные женщины.

Участие негритянских женщин в борьбе с рабством вызвало жестокие репрессии против них со стороны рабовладельцев. Об этом свидетельствуют приведенные выше факты. Женщины, выступавшие в открытой борьбе, наказывались не менее жестоко, чем мужчины. В ряде случаев их наказание было более суровым. Если мужчин вешали, то женщин сжигали живыми. Поскольку существует тенденция всячески принижать роль негритянской женщины в борьбе с рабовладением, мы еще раз вернемся к вопросу о ее угнетении в повседневной жизни. Если негритянских женщин жгли, вешали, четвертовали на колесе, насаживали их головы на кол для устрашения их

¹ Herbert Aptheker. American Negro Slave Revolts, New York, International Publishers, 1970, p. 487.

² Aptheker. Guerilla Warfare, p. 27.

³ Aptheker. Slave Revolts, p. 342.

⁴ Aptheker. Guerilla Warfare, p. 28.

⁵ Ibid., p. 29.

братьев и сестер, то само собой понятно, что атмосферой насилия, порождаемой этим варварским и разнузданным террором рабовладельцев, был пропитан каждый день существования, каждый шаг в жизни негритянской женщины. Рабовладельческая система использовала бесчисленное число способов и средств подавления и удушения стремления рабов к свободе. Мы остановимся здесь еще на одном специфическом и особенно жестоким виде угнетения негритянской женщины.

Многое говорилось о половых насилиях, которым подвергалась черная женщина, что, как правило, объяснялось мужским господством в рабовладельческой культуре Юга. Чистота белой женщины не осквернялась сексуальной агрессивностью белых мужчин. Их инстинктивные потребности находили свое удовлетворение в использовании их собственности — черной женщины-рабыни, которая становилась их наложницей. Вне сомнения, в подобных утверждениях содержатся элементы истины, но чрезвычайно важно раскрыть и иной аспект половых насилий по отношению к негритянской женщине, как одного из средств в общей системе подавления духа и воли к борьбе негритянского народа.

Для того чтобы вскрыть всю диалектику этого вопроса, еще раз перечислим все факторы угнетения негритянской женщины. Основным фактором здесь является, как уже отмечалось выше, полная и насильственная экспроприация труда женщины без какого-либо вознаграждения, за исключением жалких крох для поддержания существования.

Во-вторых, как женщина, она должна была вести домашнее хозяйство, а это значит, что она испытывала на себе двойной гнет. Однако обстоятельства, а именно насильственный труд, не давали ей возможности жить пассивной, «женской» жизнью. Домашний труд не шел ни в какое сравнение с ее участием в производстве. Участвуя в производстве, она не могла уже быть пассивной, а также, как и мужчина, стремилась к изменению условий своего существования. Будучи центральной фигурой в домашней жизни, единственной формой ее жизни, недоступной эксплуатации со стороны рабовладельца, негритянская женщина стала играть также ведущую роль в борьбе за свободу.

Рабовладелец всячески боролся с этим. Он знал, что,

как женщина, рабыня была особенно беспомощна в половом отношении, и пытался с помощью полового насилия сделать ее животной самкой, низвести до уровня биологического существования, стремясь тем самым подорвать ее стремление к свободе. Видя в негритянской женщине противника, белый хозяин использует самую простую форму террора по отношению к ней — изнасилование. Работая на плантации, черная женщина, будучи наиболее незащищенной, становилась жертвой насилия. Владелец плантации часто заставлял ее платить своим телом за пищу, за безопасность детей, менее жестокое обращение на работе и т. д.

Половые насилия над женщинами-рабынями восходят к феодальному «праву первой ночи». Феодал проявлял свою власть над крепостными через свое право на обладание всеми женщинами. Этим правом особо пользовались по отношению к новобрачным женщинам. Но в то время как «право первой ночи» постепенно превратилось в уплату «новобрачного налога»¹, половые притязания американских рабовладельцев всегда были необузданными по своему характеру.

В своем политическом аспекте изнасилование негритянской женщины было не только агрессией лично против нее. Это была агрессия против всей колонии рабов. Ведя войну с женщиной, где оружием было половое насилие, рабовладелец этим не только утверждал свое господство над ней, он также наносил удар и чернокожему мужчине. Подчеркивая варварский характер полового насилия белого рабовладельца, Дюбуа с негодованием пишет: «Я много простил бы Югу в его последний Судный день: простил бы рабство, ибо рабство — древнейший человеческий институт; я простил бы борьбу рабовладельцев за их безнадежное дело, и за воспоминания об этой борьбе со слезами на глазах; я простил бы им их «расовую гордость», страсть их горячей крови и их смешную чопорность и позирование; но я никогда не прощу ни в этом мире, ни в том, который ожидает меня, постоянные оскорбления чернокожих женщин, из которых пытались сделать проститутки для удовлетворения своей похоти»².

Половое насилие еще более подчеркивало факт безыс-

¹ См.: А. Бебель. Женщина и социализм. М., 1959, стр. 106—109.

² Du Bois. Darkwater, p. 172.

ходности положения черного мужчины. Совершенно ясно, что рабовладелец рассчитывал на то, что если чернокожий мужчина не в состоянии защитить своих женщин, то тем самым будет вообще подорвана его уверенность в своей способности вести борьбу.

Вне сомнения, половые насилия над жепщинами-рабынями сказывались на жизни общины рабов. Однако этим путем рабовладельцам не удалось подавить стремление рабов к свободе. Многие чернокожие женщины не могли примириться с половым насилием, так же как рабы не могли пассивно относиться к рабству. Борьба негритянской женщины в этой области была частью борьбы рабов с рабовладельцами.

Даже Франклин Фрезьер, защищавший тезис, что «хозяин в своем доме и его чернокожая возлюбленная в другом доме являлись примером победы человеческой солидарности»¹, не мог не признать борьбы чернокожей женщины. Он пишет: «...физическое принуждение было необходимо, чтобы заставить чернокожую женщину подчиняться... оно подтверждается историческими примерами и было традиционным в негритяпских семьях»².

Сложная и жестокая сеть угнетения окутывала жизнь негритянской женщины в период рабства. Однако одно обстоятельство очевидно. Она активно боролась, утверждая себя как человек в жестоких условиях своего существования. И она боролась вместе с мужчиной, принимая его руководство или руководя им в зависимости от таланта и цели борьбы. Она ни в каком смысле не была авторитарной фигурой: ни ее роль в семье, ни ее борьба не ставили мужчину на второе место. Наоборот, она была выпущдена жить в условиях кажущейся женской пассивности, чтобы затем занять свое законное место рядом с восставшим мужчиной.

Эта характеристика, безусловно, не может быть отнесена к любой женщине-рабыне. Это, скорее, характеристика потенциальных возможностей, заложенных в тех социальных условиях, в которых находились женщины-рабыни. Среди них были и такие, которые не смогли реализовать эти потенциальные возможности. Были и равно-

¹ E. Franklin Frazier. *The Negro Family in the United States*. Chicago 1966, p. 69.

² Там же, стр. 53.

душные, и небольшое число предателей. Но все эти люди никогда не составляли большинства негритянских жепцин. Представление о негритянской женщине как подчинившей себе негритянских мужчин и домогающейся милостей у угнетателя есть не что иное, как грубый вымысел, используемый в качестве идеологического оружия, направленного на подрыв нашей борьбы сегодня.

Хорошо известно, что положение женщины в любом обществе служит барометром, показывающим уровень социального развития этого общества. На это неоднократно указывали К. Маркс и В. И. Ленин, подчеркивая, что сила и успех социальной борьбы, и в особенности революционной борьбы, зависит от активности и участия в этой борьбе женщин.

Значимость этого положения наглядно подтверждается ролью негритянских женщин в период рабства. Используемая как источник грубой наживы, женщина-рабыня получила статус равенства с чернокожим мужчиной. И она использовала это уродливое равенство для организации и участия в борьбе в самых различных ее формах. Она смогла повернуть оружие равенства против рабовладельческой системы, создавшей карикатуру на равенство мужчины и женщины в условиях гнета и несправедливости. Особенно важным является то обстоятельство, что вследствие нетерпимости к рабству черной женщины борьба с ним стала постоянным делом всего негритянского народа. Положение негритянской женщины в обществе рабов было безусловным барометром, показывающим потенциальные возможности борьбы.

Этот процесс не окончился с формальной отменой рабства. В условиях расизма нашего времени негритянская женщина вынуждена бороться за свое существование. И сегодня она — как и мужчина — вынуждена бороться за свое существование. Она — как и мужчина — работает за плату, обеспечивая свою семью, как она была вынуждена раньше обеспечивать своим трудом семью рабовладельца. Не следует никогда забывать о тяжелом бремени подобного равенства, поскольку негритянская женщина всегда была привязана к домашней работе.

Негритянская женщина сделала большой вклад в борьбу с расизмом и бесчеловечной эксплуатацией в обществе, построенном на несправедливости и насилии. Фактически успех упорной борьбы, которую вели на про-

тяжении всей своей истории негры, и историческое значение борьбы за освобождение негритянского народа как вестник перемен во всем обществе в значительной степени объясняются объективным равенством черной женщины и черного мужчины. Об этом Дюбуа сказал так: «Пять миллионов наших женщин верят в новые революционные идеалы, что со временем скажется на умонастроении и активности других людей нашей страны»¹. Не вызывают удивления официальные и неофициальные попытки ограничить влияние тенденций равенства между черным мужчиной и черной женщиной. Концепция матриархата является в конечном счете открытым оружием капитализма в идеологической войне. Матриархат в негритянской семье есть не что иное, как миф. И этот миф следует отвергать, как таковой. Необходимо восстановить подлинное историческое лицо негритянской женщины. Мы, черные женщины, сегодня должны принять на себя всю ответственность, к которой обязывает нас наследие, написанное кровью наших закованных в цепи матерей. Наша борьба сегодня протекает в иных общественных условиях и имеет поэтому другую форму. Однако она осталась той же самой по своему духу, и будучи наследниками исключительного упорства в героической борьбе, мы должны занять свое место в рядах борцов нашего народа за свободу.

¹ Du Bois. Darkwater, p. 185.

ДИАЛЕКТИКА ДРЕВНЕРИМСКОГО ПРИНЦИПА ВЕТО В ПЕРИОД СОЦИАЛЬНОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ И СКЕПТИЦИЗМА

Митчел Франклин

I

Принцип вето

Американский капитализм вступил в новый этап своего кризиса в связи с военным поражением во Вьетнаме и усилением и углублением противоречий в самих США. Буржуазные и мелкобуржуазные идеологи пытаются всячески замаскировать классовый характер этого кризиса, являющегося еще не окончательным кризисом американской буржуазии. Возникает вопрос: какова цель сегодняшней борьбы эксплуатируемых трудящихся в период сомнений и неопределенности буржуазной, а отчасти и марксистской мысли в США? Сейчас США переживают времена социальной неопределенности и скептицизма, и не только США, но и другие капиталистические страны, например Франция и Италия. Американцы и отвергают, и соглашаются с существующей ситуацией. Очевиден также и тот факт, что самосознание американской буржуазии характеризуется неопределенностью и скептицизмом.

В период сомнений и слабости классового сознания необходима активная политическая деятельность, способная круто изменить положение вещей, превратив скептицизм в классовое оружие, направленное против буржуазии. Этим оружием может служить принцип права вето или согласия действий противостоящих социальных классов, который получил свое развитие и обоснование уже в римском праве и который в современном международном праве выступает как принцип единогласия всех постоянных членов Совета Безопасности ООН. Эта идея означает, что действия государства отрицаются или парализуются, если противостоящие социальные группы, кото-

рые ведут борьбу между собой за проведение в жизнь мер, отвечающих их интересам, не найдут области взаимного согласия. Цель принципа вето — расшатать исключительное право на управление государством со стороны одного класса в период, когда он уже приходит в упадок, однако еще не столь слаб, чтобы его можно было легко свергнуть.

II

Принцип вето в древнеримском праве

В ранний период существования Рима плебеи обладали большой властью, и это вынудило патрициев признать правовое равенство и суверенитет обоих классов римского общества¹. Как отмечает Бакланд, плебеи добились назначения трибунов как своих представителей с правом вето по любому решению магистрата, касавшегося плебеев². По словам Моммзена, «наряду с двумя консулами патрициев существовали два плебейских трибуна, избравшихся плебеями в куриях... Между ними не было разделения власти. Трибуны обладали правом консула по контролю за деятельностью другого консула; более того, они обладали правом контроля за решениями магистрата, а именно правом отменить любое его решение по делу потерпевшего гражданина, подавшего жалобу по этому поводу... а также правом приостановления действия решения магистрата, другими словами, правом наложения запрета или так называемым вето трибуна»³.

С другой стороны, патриции имели соответствующее право вето против плебеев. Законодательные акты по конституционным вопросам, получившие силу закона у плебеев (через решения триб) и «одобренные Сенатом», представляющим патрициев, были обязательны для «всего общества»⁴.

¹ Franklin. The Roman Origin and the American Justification of the Tribunitial or Veto Power in the Charter of the United Nations. «22 Tulane Law Review», 1947, 24.

² Buckland. A Manual of Roman Private Law, 1928, p. 1.

³ Mommsen. The History of Rome. Dickson's tr., 1895, 1.349.

⁴ Buckland. A Text-Book of Roman Law from Augustus to Justinian 1932, p. 4.

На основании принципа самоопределяемого согласия, основанного на вето, или негативной власти (право вмешательства) общественная власть в тот период базировалась на согласии двух больших общественных классов.

Моммзен называет этот период «борьбой классов» (*lutte des classes* во французском переводе)¹, Моньер — «вековой борьбой»². Монтескье писал: «В то время когда Рим покорял мир, внутри его собственных стен шла скрытая борьба»³. Английские историки Джоунс и Ласт замечают: «Двойная система судейства и администрации явилась результатом отражения борьбы общественных институтов в умах римлян»⁴. Далее они приходят к выводу, что «институты плебеев», возникшие «из революционного акта, установили государство внутри государства»⁵. Моммзен, описывая эту ситуацию, также отмечает наличие государства внутри государства⁶. Жирар вторит Моммзену, когда он говорит, что право вето создало «своего рода государство в государстве»⁷. Кубинский историк Камю, специалист по Древнему Риму, отмечает, что система плебейских трибунов сделала возможным появление «фронта или оппозиции» и была «триумфом демократических принципов»⁸. Петропулос, греческий историк Древнего Рима, считал право вмешательства плебеев частью римской демократии и что плебеи тем самым свели на нет высокомерие патрициев⁹. Выдающийся американский антрополог Льюис Морган, анализируя римскую культуру раннего периода, говорит: «Длительную борьбу плебеев с аристократическими элементами сената и восстановление древних принципов демократии следует считать героическим человеческим предприятием»¹⁰. Морган также

¹ M o m m s e n. *Le Droit public romain*, Girard's tr., 1889, 6.1.160.

² M o n i e r. *Manuel élémentaire de droit romain*, 1947, 1, p. 28.

³ M o n t e s q u i e u. *Considerations on the Causes of the Grandeur and Decadence of the Romans*, Laker's tr., 1882, 163.

⁴ См.: *Cambridge Ancient History*, 1928, 7, 451, 452.

⁵ *Ibid.*, 455.

⁶ M o m m s e n. *Op. cit.*, supra note 5 at p. 162.

⁷ G i r a r d. *Manuel élémentaire de droit romain*, 1929, 24.

⁸ C a m u s. *Curso de derecho romano*, 1, *Historia y fuentes de derecho romano*, 1941, 65.

⁹ P e t r o p o u l o s. *Istoria kai eisighisis tou romaekou thikeou*, 1944, 69.

¹⁰ L. M o r g a n. *Ancient Society*, 1877, p. 323.

отмечает, что «единодушие было основным законом Совета вождей среди американских индейцев-ирокезов»¹.

Монье говорит, что плебеи следовали «двум различным и явно противоречивым тенденциям»². Первая — сепаратистская или стремление к автономии; вторая — политическое равенство с патрициями. Монье анализирует роль права вмешательства только в связи с первой тенденцией, ассоциируемой им с желанием плебеев иметь свои собственные или «соответствующие институты», которые бы поддерживали «партикуляристскую» организацию плебеев.

В связи с «явной противоречивостью» второй тенденции Монье отмечает, что плебеи были готовы умерить силу их «сепаратистского», или «автономного», закона, чтобы добиться равенства с патрициями. Постепенно они начали пользоваться теми же законами, что и патриции.

III

Право вето в Великой хартии вольностей

Моммзен называл римское право вето «чисто латинским, если не чисто римским атрибутом координирования деятельности верховной власти...». Однако это не совсем так. Это право имело место и у так называемых первобытных народов, а также в спартанском Эфрате, деятельность которого исследовали Гегель и Фихте. Оно проявляется позже в древнеримском обществе, когда стало ясно, что одно правовое установление должно быть подтверждено другим³. Эсмейн находит принципы единодушия в деятельности средневековой церкви⁴. Он также считает, что «члены английской палаты общин вначале избирались на основании единодушного и открытого голосования и до конца XV столетия точно так же избирались депутаты Генеральных Штатов во Франции»⁵.

¹ Ibid., p. 119.

² Monier. Op. cit., supra note 6.

³ Buckland. A Text-book of Roman Law from Augustus to Justinian, 16, 2d. ed., 1932.

⁴ Esmein. L'unanimité et la majorité dans les élections canoniques. В: «Mélanges Fitting», 1907, 355, 358.

⁵ Ibid., p. 370.

Это является основой для рассмотрения принципа единогогласия в истории классовых отношений в Англии. Следует также упомянуть о принципе единогогласия англо-американской системы суда присяжных. Однако особое внимание необходимо обратить на раздел 61 Великой хартии вольностей 1215 г., который сравнительно недолго оставался в Хартии. В разделе 61 говорится: «...во имя бога и для процветания нашего государства и прекращения вражды между нами и баронами мы сделали эти уступки, желая установления вечного спокойствия»¹. Король дал согласие в принципе на то, чтобы 25 избранных баронов имели право действовать с целью устранения нарушений Хартии с его стороны. Он согласился с тем, что «эти 25 баронов вместе со всей общиной могут причинять ему ущерб и всяческий вред как только могут, путем захвата принадлежащих королю замков, земель, имущества и другими путями, и так будет продолжаться до тех пор, пока он не исправится»². Затем идет обещание короля, который «будет следовать решениям упомянутых 25 баронов...»³.

Свиндлер не очень высоко расценивает этот раздел: «раздел 61 подвергает сомнению дееспособность всей Хартии, пытаясь представить ее как постоянное право на восстание. Баронов, собравшихся в Ранимеде, не следует сурово осуждать за ограниченность их взглядов, обусловленную обществом того времени. Они не могли знать о возможности существования парламентской формы правления, у них не было никакого опыта в установлении прочного общества... Им предоставлялась лишь альтернатива вместо существующей монархии иметь другую монархию»⁴. Свиндлер, видимо, не осознает, что его собственная буржуазная теория разделения властей появилась в известной степени под воздействием истории принципа единогогласия.

Монтескье, автор теории о механическом разделении

¹ W. S w i n d l e r, *Magna Carta Legend and Legacy*. Indianapolis, 1965, p. 346.

² *Ibid.*, p. 347.

³ *Ibid.*, p. 347.

⁴ *Ibid.*, p. 349. См. также *Montesquieu. The Spirit of the Laws*, 1949, p. 8—11.

властей*, был также автором диалектической концепции власти трибунов в Древнем Риме¹. Монтескье писал, что «...плебеи, имевшие трибунов для своей защиты, использовали их и для нападения»². В противоположность Свиндлеру Керн заявляет, что раздел 61 Великой хартии вольностей «...заслуживает той славы, которой он пользовался в течение столетий и которую не могли подорвать недавние попытки умалить его значение»³. Восстание английских баронов в 1258 г. подтвердило то обстоятельство, что теория согласия действий короля, судей и вельмож появилась вновь как основа английского правления. Благодаря посреднической роли, которую играли народные массы в войне баронов, король, судьи и вельможи должны править на основании принципа единодушия. Эта идея, относительно произошедшего в XIII столетии изменения системы правления, восходит к аббату Мабли, французскому коммунисту-утописту XVIII столетия⁴.

IV

Право вето и аббат де Мабли

Аббат де Мабли внимательно изучил историю как Французской, так и Американской революций. Фактически

* Разделение властей на исполнительную, законодательную и судебную. — *Прим. перев.*

¹ О борьбе теории Монтескье о разделении властей с правом вмешательства в его работе «Дух законов» см. раздел 2.3 (государственные инквизиторы в Венеции); 5.8 (Спартанский эфрат, государственные инквизиторы в Венеции); 6.3 (Спартанский эфрат, римские консулы); 5.11 (римские трибуны); 8.11 (феодалное польское повстанчество); 11.5 (феодалное польское вольное право); 11.6 (Спартанский эфрат, государственные инквизиторы в Венеции, о разделении властей в Англии, римские трибуны, «собственный» или соответствующий судья, суд над Сократом и т. д.); 11.14—18 (плебеи, патриции).

² Montesquieu. *Considerations on the Causes of the Grandeur and Decadence of the Romans*, Baker trans., 1882, 166. См. также: Montesquieu. *Op. cit.*, supra note 25 at 11.14, 18.

³ Kern. *Kingship and Law in the Middle Ages*, Chrimes trans., 1956, 129.

⁴ Mably. *Observations sur l'histoire de France*, 2 Collection complete des oeuvres de l'abbé de Mably, 1794—1795, 258. См.: Hegel. *The Phenomenology of Mind*, Baillie trans., 1931. 2d ed., 528 (medieval class rivalry).

он соотносит принцип права вето с классовой борьбой. В 1783 или 1784 г. Мабли говорит об этом в четвертом и последнем его письме Джону Адамсу, тогдашнему американскому послу в Голландии, который вел мирные переговоры с английским правительством. Мабли писал: «Я страшусь за судьбу, ожидающую Вас...»¹. Он говорит Адамсу, что боится будущей роли американской буржуазии. Он требует установить какие-то границы ее жадности². Ведь... «деньги — душа всей ее деятельности»³. Он спрашивает Адамса: «Какими глазами американская буржуазия будет смотреть на равенство граждан, установленное вашими законами? Она не сможет понять привилегий и право суверенитета, предоставленное народу. Каким образом избежать Америке разделения па классы? Понадобятся новые братья Гракхи, которые поднимут граждан друг против друга и создадут анархию»⁴. Мабли приходит к выводу, что Континентальный конгресс, руководивший американской революцией, должен обладать правом вето, направленным против возможной антидемократической деятельности штатов или социальных сил. Но он явно отвергает идею, что массы имеют право на защиту с помощью принципа вето наподобие римских плебеев в их борьбе с патрициями. «У вас, — пишет Мабли Адамсу, — власть конгресса должна заменить власть трибунов при условии, если вы предоставите конгрессу доверие, необходимое для него. Богатые, когда они поймут, что существует власть, контролирующая их действия, будут более уступчивы, а народ будет себя чувствовать более спокойно и уверенно... Надежды на обоснованное правовое решение или страх перед ним устроят стремление к неповиновению в Америке»⁵. Таким образом, Мабли механистически разрешил проблему борьбы классов посредством «внешнего» посредничества конгресса. Подобный буржуазный конгресс антиисторичен, он является буржуазным институтом, деятельность которого

¹ M a b l y. Remakrs Concerning the Government and the Laws of the United States of America. В: «Four Letters Addressed to Mr. Adams», English trans., 1784, 184.

² Ibid., p. 259.

³ Ibid., p. 193.

⁴ Ibid., p. 203, 206.

⁵ Ibid., p. 241. Cf. M o n t e s q u i e u. Op. cit., supra note 25 at 2.3; 11, 15, 16.

осудил Маркс в третьем тезисе о Фейербахе¹. Историческую концепцию Мабли как социалиста-утописта особенно запутала история феодальной Польши XVIII столетия. В момент, когда США появлялись на арене мировой истории, феодальная Польша покидала ее, прекращая свое существование как национальное государство. По мнению представителей Просвещения, феодальная Польша была уничтожена как самостоятельное государство по той причине, что польское дворянство владело правом «свободного вето» (*Libertum veto*), или правом вмешательства. Судьба феодальной Польши не давала покоя представителям французского и американского Просвещения. В США была принята концепция Монтескье о разделении властей как теория правящего класса «уравновешенной власти». Принцип вето был отвергнут. Теория разделения властей на первый взгляд близка к принципу вето, но она скрывает в себе понятие антиисторического посредника, то есть она скрывает власть буржуазии, которая была посредником между отдельными видами власти². Альтюссер в своей недавней работе о Монтескье усматривает в этом разделении ширму для классовой гегемонии.

¹ «Материалистическое учение о том, что люди суть продукты обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди суть продукты иных обстоятельств и измененного воспитания, — это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан. Оно неизбежно поэтому приходит к тому, что делит общество на две части, одна из которых возвышается над обществом (например, у Роберта Оуэна). Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности может рассматриваться и быть рационально понято только как *революционная практика*» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 2).

² Ср. слова Гегеля: «Если мы, например, рассматриваем нравы спартанского народа как действие его государственного устройства и, наоборот, их государственное устройство как действие нравов, то этот способ рассмотрения может быть и правилен, однако он все же не дает окончательного удовлетворения, потому что на самом деле мы не поняли ни государственного устройства, ни нравов этого народа. Удовлетворение получается лишь тогда, когда мы познаем, что эти две стороны, а также все остальные стороны, которые обнаруживают нам жизнь, и история спартанского народа имеют своим основанием понятие» («Энциклопедия философских наук. Логика». Гегель. Соч., т. 1, стр. 260).

Роль «либерум вето» в истории феодальной Польши дает основание полагать, что борьба за взаимное признание, приведшая к «праву вмешательства», этим не заканчивается, но может даже усилиться и что вероятность применения права вмешательства определяется общественной устойчивостью сил, признающих права друг друга. Как будет показано ниже, Маркс понимал, что институт трибунов, как защитников интересов народа, нуждался не только в социальной борьбе за признание прав угнетенных народных масс, но и в определенной социальной силе, способной сохранять завоеванное признание.

Моммзен указывает, что класс патрициев боролся за уничтожение равенства с плебеями с помощью того же права вето. «Смелый эксперимент, позволяющий лидерам оппозиции использовать право конституционного вето вне зависимости от последствий, оказался выгодным государству; с помощью вето государство осуществляет свою политическую деятельность без каких-либо помех; при этом социальные беды продолжали существовать, ибо применяемые паллиативные меры были не в состоянии чего-либо изменить»¹. Шекспир говорит о том, что Кориолап жалуется на право вето:

Он консулов унизил, видит небо!
И я скорблю душой, ибо знаю,
Что стоит лишь возникнуть двум властям,
Как смута проберется в щель меж ними,
Одной другую подорвав².

Моммзен далее пишет: «Гражданская война есть, по сути дела, не что иное, как продолжение того же курса. Стороны стоят друг против друга, выстроившись как для сражения, каждый под руководством своего лидера. С одной стороны, оспаривалась власть консула и расширялась власть трибуна, с другой — шла борьба за отмену статуса трибуна»³.

И когда у Шекспира патриций Кориолан был изгнан за его враждебное отношение к принципу вето, он находит поддержку у патрициев, несмотря даже на то, что он поднял оружие против Рима.

¹ M o m m s e n. Op. cit., supra note 3, at. p. 357.

² Шекспир. Полн. собр. соч., т. 7, «Искусство», 1960, стр. 327.

³ M o m m s e n. Op. cit., supra note 3, at. p. 357.

Знать до того близко принял к сердцу изгнание доблестного Кориолана, что каждую минуту готов отнять у народа власть и навсегда упразднить должность трибунов. Уж ты мне поверь: огонь тлеет себе да тлеет под пеплом, а потом возьмет и вырвется наружу¹.

V

Право вето и Калхоун

История развития принципа права вето в США начинается, но не оканчивается на Мабли. Однако в данной статье мы не сможем остановиться на таких важных ее этапах, как Кентуккская и Виргинская резолюции в конце XVIII столетия, современная борьба негров и возникновение студенческого движения. Вместо этого мы сосредоточим наше внимание на взглядах Калхоуна*. Калхоун пытался превратить принцип вето в оружие рабовладельцев, контролировавших власть в южных штатах, пытавшихся отделиться от американского государства. Его идеи были суммированы им самим следующим образом: «Никакого рода отрицание власти со стороны правительства штата не может защитить его от вмешательства со стороны федерального правительства всякий раз, когда их власти приходят в состояние конфликта. Здесь фактически имеет место взаимное отрицание каждой из сторон, что я и предполагаю далее показать². Идеи Калхоуна, относящиеся к середине XIX столетия, сейчас приобретают все больший вес, что объясняется, по-видимому, тем, что своим источником они имеют идеи Т. Купера, ректора Университета Южной Каролины. Последователь Джефферсона Купер был не только одним из видных мыслителей американского Просвещения, но и крупным профессиональным ученым в области права, медицины, химии, геологии. Он был материалистом XVIII века в

¹ Шекспир, там же, стр. 360.

* Джон Калхоун (1782—1850) — видный американский политический деятель и публицист. — *Прим. ред.*

² Calhoun. A Discourse on the Constitution and Government of the United States (1848—1849), В: The Works of John C. Calhoun, 1854, p. 241.

философии¹. Идеи Калхоуна заслуживают внимания по следующим причинам: во-первых, в истории римского права Калхоун находит оправдание структуры власти трибунов. Напоминая, что «римляне делились на две группы людей, или два класса — патрициев и плебеев»², он подчеркивал, что функции трибунов в Римской республике состояли в борьбе с законами, направленными на ущемление прав плебеев³. «Вето трибунов, — говорит далее Калхоун, — было средством защиты против угнетения и злоупотребления властью со стороны Сената»⁴. «Плебеи, таким образом, имели право не только наложения вето на издание законов, но и на их исполнение и таким образом через своих трибунов контролировали деятельность властей, не мешая патрициям осуществлять контроль над Сенатом. На основании этого соглашения власть находилась под совместным контролем двух классов, осуществляемым посредством соответствующих отдельных органов; один — обладающий позитивной, другой — негативной властью в правительстве»⁵.

Во-вторых, исходя из своих материалистических взглядов, Калхоун оправдывал классовое самоопределение с помощью принципа вето для преодоления социального отчуждения, в смысле отчуждения как присвоения, захвата или занятия. Калхоун говорил, что общественное мнение, играющее очень важную роль у Джефферсона как источник установления конституционных законов, есть не что иное, как классовое мнение, и что каждый класс сознательно пытается формировать мнение другого класса. «Если бы то, что мы называем общественным мнением, было всегда мнением всего общества, то пресса как его орган охраняла бы общество от злоупотреблений властью. На самом деле это не так. Наоборот, то, что мы называем общественным мнением, есть обычно мнение или голос преобладающих интересов»⁶. На основании

¹ Однако политические взгляды Т. Купера не были твердыми и последовательными. Под влиянием обстановки плантаторской Южной Каролины он выступал в защиту рабовладения.

² Calhoun. A Discourse on the Constitution and Government of the United States (1848—1849), В; The Work of John Calhoun 1854, p. 92.

³ Ibid., p. 272.

⁴ Ibid., p. 211.

⁵ Ibid., p. 94.

⁶ Ibid., p. 75.

аналогичных рассуждений Калхоун подвергает критике принцип большинства. Он считает «заблуждением то, что конституция, определенным образом ограничивающая власть правительства, сама по себе... сможет сдержать стремление большинства к подавлению интересов других людей и злоупотребление властью»¹. В другом месте Калхоун говорит, что принцип численного большинства «учитывает только количественную сторону и рассматривает все общество, как единое, имеющее лишь одни общие интересы». В то время как, по мнению Калхоуна, «общество — это конгломерат различных и противоречивых интересов»². Более того, Калхоун фактически отвергает власть закона или решения нейтрального судьи и критически относится к практике «истолкования закона»³, то есть юридического толкования конституционных положений. Он также против общих параграфов конституции, дающих определение нормы в законодательных документах, ибо «нет ничего легче, — говорит он, — превратно истолковать такие статьи и превратить их в инструмент возвеличения и удовлетворения интересов правящей группы людей в ущерб интересам других на основании законов, которые в общей своей форме кажутся справедливыми и не ущемляют ничьих интересов»⁴.

VI

Гегель и Фихте о праве вето и власть эфор в Древней Спарте

Право вето лишь бегло упоминается в работе Гегеля «Позитивность христианской религии»⁵. В «Философии истории» Гегель дает анализ института трибунов в Риме. Из обширного анализа можно привести следующее: «Суровость патрициев, их кредиторов, которым плебеи должны были уплачивать долги рабским трудом, заставляла их восставать. Сперва они требовали и добились только того,

¹ Ibid., p. 31.

² Ibid., p. 28.

³ Ibid., p. 33, 213.

⁴ Ibid., p. 15.

⁵ См. Гегель. Работы разных лет, т. 1, М., 1972, стр. 87—207.

что они уже имели при царях, а именно — наделения земельными участками и защиты от сильных. Они получили земельные участки и плебейских трибунов, т. е. чиновников, которые могли оказывать противодействие всякому решению сената. Сперва число трибунов ограничивалось лишь двумя, впоследствии их было десять; но это было скорее вредно для плебеев, так как достаточно было сенату привлечь на свою сторону одного из трибунов, чтобы сопротивлением одного сделать недействительным постановление всех остальных»¹. В «Философии права» Гегель непосредственно не анализирует древнеримское право вето. Но в своем диалоге с Фихте он осуждает аналогичное явление на примере эфор Древней Спарты². Эта дискуссия началась в 1802—1803 гг. с работы Гегеля «Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts»³, где право вето рассматривается Гегелем как проблема диалектики общей воли и воли индивида. Ипполит «уверен»⁴, что Гегель имеет в виду Наполеона, но также вполне возможно, что в этой его работе и в «Философии истории» он видит перед собой современную ему Германию, отличающуюся от Древнего Рима и Древней Греции. Критическое отношение Гегеля к эфорату Спарты, по-видимому, было направлено против приверженности к принципу вето, имевшему место в феодальной Германии. Там местные законы «нарушали» общие законы, так же как сегодня американская теория посредничества оправдывает права штатов, поддерживающих расовую сегрегацию. Хюбнер пишет о феодальной Германии: «Постепенно стали признавать правило, что сначала принимается во внимание частный закон, а затем более общий. Это нашло свое выражение в поговорке: «Произвол нарушает городское право, городское право нарушает право сельских жителей, и право сельских жителей нарушает общее право»⁵. Под влиянием французской

¹ Гегель. Соч., т. 8, стр. 284.

² Гегель. Соч., т. 7, стр. 296. См.: Fichte. Grundlage des Naturrechts, Meiner ed., 1960, 169. Точка зрения Фихте здесь не является диалектической.

³ Hegel. Werke, Marheinecke and others ed., 1832, 321, 366.

⁴ Hippolyte. Introduction a la philosophie de l'histoire de Hegel, 1948, 67.

⁵ Heubner. A History of Germanic Private Law, Philbrick trans., 1918, 22. Перевод Филбрика изменен автором. Савиньи

и американской революций феодальное право вето снизу было вытеснено буржуазным правом вмешательства сверху. Это видно на примере французского буржуазного кассационного трибунала, а до этого в правах Верховного суда США по сравнению с правами отдельных штатов в раннем законодательстве американского конгресса, выраженного в конституции.

Гегель в «Философии права» критикует идею эфората Фихте, хотя ему было известно, что Фихте нравились права спартанских эфор за их сходство с правом вето римских трибунов¹. В «Философии права» Гегель приводит слова Фихте, согласно которому только Эфорат может служить условием создания и поддержания в государстве всеобщего права. И далее Гегель утверждает, что Фихте имеет поверхностное понимание государства, и полагает, что идея Фихте применима лишь в условиях очень простой социальной организации².

VII

О диалектической положительной роли негативной деятельности трибунов в Древнем Риме

Критика Гегеля идеи эфората Фихте является одним из аспектов его анализа теории Монтескьё о разделении властей, принимаемой им лишь в качестве опосредующей власти. Монтескьё теоретически обосновал принцип права вето римских трибунов и принцип разделения властей. Как же связан принцип права вето римских трибунов с принципом разделения властей?

Перед тем как рассмотреть эту проблему, остановимся на диалектическом характере права вмешательства. Моп-

цитирует это неверно. Savigny. System des heutigen Römischen Rechts, 1849, section 347, note (g).

¹ Нокс пишет: «Название и идея эфората были взяты Фихте из конституционных документов Спарты, где власть двух правителей, занимавших свои должности пожизненно, контролировалась 5 эфорами, избиравшимися ежегодно. Эфоры Фихте отличались от спартанских и были похожи на римских трибунов, поскольку эти эфоры обладали только правом вето, а не правом исполнительной власти».

² Гегель. Соч., т. 7, стр. 296—297.

тескьё, как отмечалось выше, центральная фигура при обсуждении этой проблемы. Вспомним, что однажды Монтескьё сказал: «...плебеи, заполучившие трибунов для своей защиты, использовали их и для нападения». Это означает, что новое и положительное может появиться как результат отрицания. Отрицание отрицания есть диалектическая концепция марксизма-ленинизма. Несмотря на мнение Гегеля об эфорате Фихте, понятие эфората является также и гегельянским¹, ибо вето, бессилie что-либо сделать, отрицание частично сами могут отрицаться антагонистическими общественными силами, признавшими права друг друга через борьбу, в которой ни одна из сторон не имеет достаточно сил, чтобы победить другую. Подобное отрицание отрицания есть исторический итог известной дискуссии Гегеля в его «Феноменологии духа» о диалектике борьбы между угнетателями и угнетенными, между отчуждающими и отчуждаемыми, в результате которой исторически угнетатель ослаблен; сама диалектика борьбы подвержена отчуждению отчуждения, если исторической актуальности угнетения угрожает новая реальная историческая возможность. Право вето — это форма исторической борьбы, когда встает вопрос, будет ли существующее положение преодолено новым или же новое возможное положение в результате дальнейшей борьбы останется лишь возможностью. Более того, существование права вето оправдывается в такой период, когда общественное сознание охвачено сомнениями, неопределенностью и скептицизмом.

В связи с этим представляется важным анализ концепции Монтескьё о положительном характере негативной деятельности древнеримских трибунов. Бонфанте пишет по этому поводу: «Позитивная сторона суверенитета была не известна трибунам»². Моммзен отмечает: «Власть консулов носила в основном положительный характер, власть же трибунов была негативна... таким обра-

¹ См.: Franklin. The Conflicting Significance of Hegel and Savigny in the Development of a Romanist Theory of Private International Law, in 2 Studi in onore de Giuseppi Grosso, 423, 1968.

² Bonfante. Histoire de droit romain, Carrère and Fournier trans., 1928, 1, 125.

зом в рамках этого общественного института абсолютному запрещению противостояла абсолютная власть»¹.

Однако и Моммзен и Бонфанте заблуждаются, считая, что негативная кассационная и инспектирующая власть вето не была также и позитивной властью, устанавливающей позитивные законы.

Как было отмечено выше, Монтескье понимал это². Среди современных специалистов по римскому праву лишь Венгер ясно понимает позитивную силу негативного закона, хотя он об этом прямо и не говорит. Венгер показал, что позитивный закон трибунов был потенциально заложен в их отрицательном законе. Он пишет, что «посредством права вето сначала оказывается лишь негативная помощь... Магистрат, пользующийся правом вето, не может вынести обвиняемому свое решение, поскольку он, как и трибун, не имеет для этого достаточной власти. Но он может помочь обвиняемому негативно, косвенно используя право вето, что вынуждает претора предоставить магистрату право вынесения такого судебного решения, какое ему необходимо»³.

Следует обратить внимание на структуру и структурные недостатки власти плебеев, включая и власть трибунов, анализ которых содержится в работе Кункеля «Введение в древнеримскую правовую и законодательную историю». Он пишет: «Должность трибуна плебеев имела всегда одну цель — защиту интересов плебеев против стоявших у власти патрициев. *Gonjuratio* — торжественная клятва, которую давал весь плебс, что он отомстит смертью за любое нападение на трибуна, предоставляла, таким об-

¹ Mommsen. Op. cit., supra note 3, p. 355. «Абсолютное вето, право вмешательства имело лишь отрицательный эффект, отмену закона или невыполнение его предписаний». Maу. Elements de droit romain, 1935, № 289. См.: Savigny. Traité de droit romain, Guenoux's tr., 1849, 6. 494.

² Montesquieu. Op. cit., supra note 7, p. 166.

³ Wenger. Institutes of the Roman Law of Civil Procedure, Fisk's tr., 1940, 212, note 17. Жерар говорит, что «трибуны не играли только негативную роль (Girard. Op. cit., supra note 11, at. p. 25). Власть эфората в понимании Фихте не носит диалектического характера, ибо он не видит положительного, заложенного в отрицании. Он пишет: «Эфораты, следовательно, не обладали исполнительной властью». Fichte. Op. cit., supra note 55.

разом, последнему иммунитет (*sacrosanctitas*) на весь период его нахождения в должности. В обязанности трибуна всегда входило оказание помощи отдельному гражданину и защита его от несправедливости и угнетения. Древнеримский плебс был организован через Совет плебса (*concilium plebis*). Законы этого Совета, собираемого и руководимого трибунами и включающего в себя большинство граждан, предоставляли требованиям плебеев необходимую юридическую силу¹.

Однако правящая сила вела борьбу с трибуналом. Кункель пишет: «Фактически лишь небольшое число плебейских фамилий пользовалось политическим равенством, полученным плебсом. Они имели возможность преуспеть и достичь должности консула и признавались патрициями в качестве партнеров политической власти. Они объединились между собой, образуя новую правящую аристократию, так называемый нобилитет, который в течение длительного времени не допускал в свои ряды представителей выдвинувшихся семей (*homines novi*)»². И далее Кункель приходит к выводу: «Опасность, таившаяся в системе народного трибунала, сдерживалась в течение длительного времени объединенными усилиями патрицианско-плебейской аристократии... и именно через систему трибунала Сенат нашел исключительно надежное средство навязывания своей воли слишком уверенным в своей силе магистратам. Когда во второй половине II века нашей эры появились народные трибуны, готовые бороться с волей большинства Сената, провозглашая революционные цели демагогическими методами, их появление означало начало кризиса в политической жизни Рима, что привело в конечном итоге к падению республики»³. Однако полное объяснение причин падения власти древнеримских плебеев и непродолжительности использования права вето народными трибунами было сделано не Кункелем, а Марксом, идеи которого по этому вопросу будут рассмотрены нами в этой статье несколько позднее.

¹ K u n k e l. An Introduction to Roman Legal and Constitutional History, Kelly trans., 1966, 21.

² Ibid., p. 20.

³ Ibid., p. 21.

Гегель и диалектика разделения властей Монтескьё

По нашему мнению, Монтескьё, а не Гегель вскрыл диалектику права вето. Гегель в разделе 273 «Философии права» дает анализ идеи Фихте о власти эфората и, отвергая ее, принимает теорию Монтескьё о разделении властей. Гегель критикует право вето, считая его недialeктическим, и соглашается с теорией разделения властей Монтескьё, ибо последняя, по его мнению, носит диалектический характер. Прежде чем рассмотреть его доводы, которые упоминает Маркс в своей работе к «Критике гегелевской философии права», необходимо определить отношение Гегеля к Монтескьё. Оно выявляется в разделе 3 «Философии права», где он пишет: «Относительно... исторического момента в положительном праве Монтескьё указал истинно историческое воззрение, подлинную философскую точку зрения: законодательство вообще и его частные постановления нужно рассматривать не изолированно и абстрактно, а как взаимно зависимые моменты некоторой целостности, в связи со всеми другими особенностями, составляющими характер определенной нации и определенной эпохи; в этой связи они получают свое истинное значение, а также и свое оправдание»¹. «Переворачивая» Гегеля с головы на ноги, сказанное означает, что Гегель в тотальности Монтескьё видел диалектику отношений между базисом и надстройкой или по крайней мере между скрытым базисом и надстройкой.

Обращаясь к Монтескьё для оправдания своих доводов, Гегель, как и Маркс, осуждает немецкую феодальную правовую школу, основанную Гуго, специалистом по римскому праву, и возглавляемую другим знатоком римского права Савиньи, у которого в Берлине изучал древнеримское право К. Маркс. В этот период имело место столкновение взглядов Савиньи, представителя феодальной объективно-идеалистической концепции права Шеллинга, и взглядов Гегеля, представлявшего буржуазную объективно-диалектическую концепцию права.

Из вышеизложенного ясно, что Гегель рассматривает Монтескьё как оправдывающего не только разделение

¹ Гегель. Философия права. Соч., т. 7, стр. 26.

властей, но и тотальность. Гегель считает, что истинность разделения властей и закона Монтескье носит не только надстроечный характер, но и касается и самого основания, так что истинность закона, включая и конституционный закон, следует искать в его противоположности; Маркс указывал на это в своих заметках о Фейербахе в «Немецкой идеологии»: *«Почему идеологи ставят все на голову. Проповедники религии, юристы, политики.... По поводу этого идеологического подразделения внутри одного класса: 1) Обособление профессии вследствие разделения труда. Каждый из них считает свое ремесло истинным. Относительно связи их ремесла с действительностью они тем неизбежнее создают себе иллюзии, что это обусловлено уже самой природой данного ремесла. Отношения становятся в юриспруденции, политике и т. д. — в сознании — понятиями; так как они не возвышаются над этими отношениями, то и понятия об этих отношениях превращаются в их голове в застывшие понятия; судья, например, применяет кодекс, поэтому он считает законодательство истинным активным двигателем... Идея права. Идея государства. В обычном сознании дело поставлено на голову»*¹.

В своей работе «К критике гегелевской философии права» Маркс дает анализ положений Гегеля, изложенных им в разделе 261 «Философии права». «По отношению к сферам частного права и частного блага, семьи и гражданского общества, государство есть, — говорит Гегель, — с одной стороны, внешняя необходимость и их высшая власть, природе которой подчинены и от которой зависят их законы, равно как и их интересы; но, с другой стороны, государство есть их имманентная цель, и оно имеет свою силу в единстве всеобщей конечной цели государства и особого интереса индивидов, в том, что индивиды постольку имеют обязанности по отношению к государству, поскольку они вместе с тем имеют и права»². На это Маркс отвечает: «Предшествующий параграф почуял нас относительно того, что конкретная свобода состоит в тождестве (долженствующим быть, раздвоенном тождестве) системы частного интереса (семьи и гражд-

¹ См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений. — В: К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в трех томах, М. 1966, т. 1, стр. 75.

данского общества) с системой всеобщего интереса (государства). Отношение этих сфер Гегель старается теперь определить более подробно.

С одной стороны, государство является по отношению к сфере семьи и гражданского общества «внешней необходимостью», является властью, в силу которой государству «подчинены и от него зависят» «законы» и «интересы». Тот момент, что государство является по отношению к семье и гражданскому обществу «внешней необходимостью»... «Подчинение» государству еще полностью соответствует этому отношению «внешней необходимости». Что, однако, Гегель понимает под «зависимостью» — подсказывает следующее место в примечании к этому параграфу: «...преимущественно *Монтескьё* развил мысль о зависимости также и частных правовых законов от определенного характера государства и выдвинул философский взгляд, что часть следует рассматривать только в ее отношении к целому и т. д.»¹. Затем Маркс продолжает: «Гегель говорит здесь, следовательно, о *внутренней* зависимости частного права и т. д. от государства, о том, что все это существенно определяется государством. Но он, вместе с тем, подводит эту зависимость под отношение «внешней необходимости» и противопоставляет ее, в качестве другой стороны, другому отношению, внутри которого семья и гражданское общество относятся к государству как к своей „имманентной цели“»².

Маркс устанавливает, что материальный базис и надстройка или гражданское общество и государство образуют единство или конкретную целостность. Это соответствует понятию скрытого базиса Гегеля и *Монтескьё*. Но Маркс делает диалектический скачок, выходя за пределы теории *Монтескьё* и ее анализа Гегелем, когда он указывает, что слова Гегеля «внешняя необходимость» не являются отказом от принципа конкретной целостности, а означают отчуждение или присвоение, захват со стороны буржуазного государства. Маркс далее говорит: «Внешняя необходимость» может иметь только тот смысл, что «законы» и «интересы» семьи и общества должны в случае столкновения уступить «законам» и «интересам» государства, что они подчинены ему, что их су-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 221—222.

² Там же, стр. 222.

ществование зависит от существования государства, или что его воля и его законы выступают по отношению к их «воле» и их «законам» как необходимость.

Однако Гегель говорит здесь не об эмпирических столкновениях; он говорит об отношении «сфер частного права и частного блага, семьи и гражданского общества» к государству. Речь идет о *существенном отношении* самих этих сфер. Не только их «интересы», но также и их «законы», их «существенные определения» «зависят» от государства и «подчинены» ему. Государство относится как «высшая власть» к их «законам и интересам». Их «интерес» и «закон» относятся к государству, как его «подчиненные». В этой «зависимости» от государства они и живут. Именно потому, что «подчинение» и «зависимость» представляют собой *внешние* отношения, суживающие самостоятельную сущность и противоречащие ей, отношение «семьи» и гражданского общества к государству представляет собой отношение «внешней необходимости», такой необходимости, которая идет вразрез с внутренней сущностью предмета. Самый тот факт, что «частноправовые законы зависят от определенного характера государства», что они изменяются согласно ему, — подводится под отношение «внешней необходимости» именно потому, что «гражданское общество и семья» в их истинном, то есть их самостоятельном и полном развитии, предпосылаются государству как особые сферы. «Подчинение» и «зависимость» выражают то «внешнее», *вынужденное*, кажущееся тождество, для логического выражения которого Гегель правильно употребляет понятие «внешней необходимости». В понятиях «подчинение» и «зависимость» Гегель развил дальше одну сторону раздвоенного тождества, а именно сторону отчуждения внутри единства»¹. «Внешняя необходимость» Гегеля означает присваивающее отчуждение, точно так же как «ограничение» Канта, «пафос дистанции» Ницше, «заключение в скобки» Гуссерля, «близость — отдаленность» Хайдеггера и тому подобные концепции. Возникает вопрос, являются ли все теории разделения или разнесения, включая сюда теорию Монтескье о разделении властей, теориями отчуждения. Здесь важно отметить, что Маркс, анализируя теорию Гегеля о «внешней необходимости», показал, что Гегель не отка-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 222.

зался здесь от понятия конкретной целостности (тотальности) и что в тотальности или единстве базиса и надстройки Гегель увидел присваивающее отчуждение.

В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс развивают далее свою мысль о том, что в определенных, неустойчивых исторических условиях кризис целостности надстройки и основания может найти свое выражение в надстроечной политической структуре. Они пишут: «...в стране, где в данный период времени между королевской властью, аристократией и буржуазией идет спор из-за господства, где, таким образом, господство разделено, там господствующей мыслью оказывается учение о разделении властей, о котором говорят как о «вечном законе».¹

В своей книге о Монтескье Альтюссер в подстрочном примечании обращает внимание на эту цитату². Следует отметить, что насмешка Маркса и Энгельса над фразой «вечное право» показывает, что они видели, что суть идеи Монтескье о разделении властей объясняется неустойчивым соперничеством социальных сил и «внешним характером» их посредничества. Если это так, то буржуазная идея о разделении властей в историческом плане восходит к плебейской идее права вето и эта связь может быть обоснована исторической необходимостью, исторической силой и неустойчивостью базиса общества. Замечания Маркса, приведенные выше, подтверждают это. Но если так, то попытки Гегеля преодолеть идею власти эфората Фихте с помощью идеи Монтескье о разделении властей оказываются несостоятельными и идея о разделении властей смогла стать теорией права вето в период социальной неустойчивости и внутренней слабости буржуазии. Было бы наихудшим видом юридического формализма утверждать, что действительность идеи права вето себя исчерпала, если ее понимать лишь исключительно как один из аспектов идеи Монтескье о разделении властей.

В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс, говоря о разделении властей как о начале соперничества между «королевской властью», аристократией и буржуазией, имеют в виду и то обстоятельство, что народные массы самоопределяются, принимая активное участие во внутренней борьбе правящих сил.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 46.

² Althusser, Montesquieu la Politique et l'histoire, 1964, 110, note 1.

Гегель в «Философии права» пытается доказать несостоятельность теории Фихте о власти эфората и древнеримского института права вето посредством концепции Монтескьё об опосредованном разделении властей, которая фактически исключала плебеев из участия в управлении государством. В добавлении к разделу 272 «Философии права» мы читаем: «Власти в государстве должны, правда, быть различны, но каждая из них должна сама по себе образовать целое и содержать в себе другие моменты. Когда мы говорим о различном характере деятельности властей, то мы не должны впадать в чудовищную ошибку, понимать это в том смысле, будто бы каждая власть должна существовать сама по себе, абстрактно, так как власти, наоборот, должны быть различны лишь как моменты понятия. Если же, напротив, различия существуют сами по себе, абстрактно, то ясно, что две самостоятельности не могут составить единства, должны, напротив, порождать борьбу, благодаря которой или будет разрушено целое, или единство будет вновь восстановлено силой. Так, например, во Французской революции то законодательная власть поглощала так называемую исполнительную власть, то, наоборот, исполнительная власть законодательную; и нелепо выставлять здесь моральное требование гармонии»¹

Гегель, таким образом, критикует теорию разделения властей Монтескьё, ибо, как он утверждает, власти не связываются между собой путем посредничества, а если и связываются, то через идеалистическое «моральное требование гармонии». Монтескьё понимал, что власть отрицания или вето права вмешательства, бывшие с точки зрения диалектики оружием атаки плебеев, фактически заменились теорией разделения властей правящего класса, основанного на моральных требованиях гармонии среди разделенных, но привилегированных и обладающих силой слоев. «Эти три вида власти, — пишет Монтескьё, — естественно создают состояние покоя или бездействия. Но поскольку возникает потребность движения в человеческих делах, эти три вида власти вынуждены двигаться по согласованию между собой»². Поскольку Монтескьё

¹ Гегель. Философия права. Соч., т. 7, стр. 295.

² Montesquieu. The Spirit of the Laws, Nugent trans., 1949, 11.6.

все сводит к моральному единству Руссо, Гегель требует посредничества государственной власти, чтобы добиться политического единства государства. Это он хочет осуществить посредством своей теории моментов понятия, цитированной выше. Что именно он имеет в виду под моментами понятия, видно из его критики буржуазного террора периода Французской революции. Она полнее проявляется в его «Феноменологии духа», чем в «Философии права».

Было бы полезно сопоставить мысли Гегеля о терроре Французской революции со следующим его замечанием: «...после снятия различных духовных масс и ограниченной жизни индивидов, равно как и обеих ее миров, имеется лишь движение всеобщего самосознания внутри себя самого как взаимодействие его в форме *всеобщности* и в форме *личного* сознания; общая воля уходит в себя и есть *единичная* воля, которой противостоят общий закон и общее произведение. Но это *единичное* сознание столь же непосредственно сознает себя как общую волю; оно сознает, что его предмет есть им предписанный закон и произведенное им творение; переходя в деятельность и создавая предметность, оно, стало быть, создает не что-то единичное, а лишь законы и государственные акты. Это движение, таким образом, есть такое взаимодействие сознания с самим собою, в котором последнее ничего не оставляет в виде противостоящего ему *свободного предмета*. Из этого следует, что оно не может осуществить никакого положительного произведения, ни всеобщих произведений языка и действительности, ни законов и всеобщих учреждений *сознательной* свободы, ни актов и произведений свободы, *проявляющей волю*»¹. Как указывает Ипполит, концепция Гегеля о буржуазном терроре противопоставляет абстрактную всеобщность не менее абстрактной особенности, то есть «единую и неделимую общую волю и атомарную волю отдельных индивидов»².

Буржуазному террору Гегель противопоставляет принцип опосредованного разделения властей Монтескье, который, однако, также влечет за собой новый или буржуазный принцип социального господства. Далее Гегель

¹ Гегель. Феноменология духа. Соч., т. 4, стр. 316.

² Hippolite. Genèse et structure de la Phénoménologie de l'esprit de Hegel, 445, 1946.

говорит: «Произведение, которым могла бы себя сделать сообщающая себе *сознание* свобода, состояло бы в том, что она как *всеобщая* субстанция сделала бы себя *предметом* и постоянным бытием. Это инобытие было бы в ней различием, по которому она разделялась бы на устойчивые духовные массы и на органы разных властей; с одной стороны, чтобы эти массы были *мысленными вещами* обособленной законодательной, судебной и исполнительной власти... Всеобщая свобода, которая таким образом обособилась бы на свои органы и именно этим сделала бы себя *сущей субстанцией*, была бы тем самым свободна от единичной индивидуальности и распределила бы множество индивидов между своими различными органами»¹.

Теория Гегеля опосредованного разделения властей в духе Монтескьё не есть теория права вето. Но, как это часто оказывается верным в отношении Гегеля, он сам указывает на возможность отрицания его собственной диалектики, возможность ее диалектического обращения, возможность ее диалектической материализации.

Дополнение к разделу 272 «Философии права», рассуждение Гегеля в разделе III «Философии права» о теории Монтескьё, о структуре власти, дифференциация власти на основе общественного разделения труда, классовое понимание разделения властей, изложенное в «Феноменологии духа», мысли об угрозе борьбы между отдельными видами власти, изложенные в «Философии права», — все это дает основание для материалистической реинтерпретации Гегеля, ставящей его на ноги, хотя, конечно, простым обращением теории разделения власти не исчерпывается богатство принципа вето.

У Гегеля имеются две важные уступки, подтверждающие справедливость марксистского подхода к его взглядам на право вето. Первая из них — концепция целостности (тотальности) Монтескьё и Гегеля. В письме Энгельса Мерингу говорится о таком «обращении» теории Гегеля, при котором его «тотальность» можно понять как целостность базиса общества вместе с его классовыми антагонизмами. Взятая отдельно, надстроечная «целостность» есть идеологическая ложь. Энгельс пишет: «Идеология — это процесс, который совершает так называемый

¹ Гегель. Феноменология духа. Соч., т. 4, стр. 316—317.

мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием ложным. Истинные движущие силы, которые побуждают его к деятельности, остаются ему неизвестными, в противном случае это не было бы идеологическим процессом... Именно эта видимость самостоятельной истории форм государственного устройства, правовых систем... ослепляет большинство людей... Если Руссо своим республиканским общественным договором косвенно «преодолеывает» конституционалиста Монтескье, то это — процесс, который остается внутри теологии, философии, государствоведения... Это старая история: вначале всегда из-за содержания не обращают внимания на форму»¹.

Общеизвестен факт, что, за исключением анализа теории Монтескье о разделении властей, мнение Гегеля о различных формах присваивающего отчуждения, изложенное в «Феноменологии духа», подчас исходит из понятия структуры скрытого общественного базиса. Известно также, что гегелевская диалектика отношений угнетателя и угнетаемого и отрицание подобного отрицания или диалектика отчуждения основополагающа в той степени, в какой она касается общественных отношений, основанных на частной собственности на средства производства. Диалектика свободы через необходимость частично изложена в его «Философской пропедевтике», где мы читаем: «Писистрат * учил афинян повиноваться. Тем самым он превратил в действительность законы Солона, а после того, как афиняне научились этому, господа для них уже больше не нужны»².

Вторая уступка Гегеля связана с его концепцией о том, что все виды властей Монтескье не отличаются друг от друга, хотя каждая такая власть обладает всеобщностью. Это блестящая мысль. Здесь Гегель возвращается к принципу права вето. Если каждый вид власти рассматривать как вещь-в-себе и вещь-для-себя, теория разделения властей ведет к вульгарной буржуазной теории, согласно которой законодательная власть издает законы, су-

¹ Письмо Энгельса Францу Мерингу от 14 июля 1893 г. См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 39, стр. 83—84.

* Писистрат — тиран в древних Афинах, принадлежал к богатому аристократическому роду, пользовался поддержкой крестьянства. — *Прим. перев.*

² Гегель. Философская пропедевтика. Работы разных лет в двух томах, т. 2. М., 1973, стр. 89.

дебная дает их толкование, а исполнительная их выполняет. Но если каждый вид властей есть вещь-для-себя, а также вещь для других, какой она и должна быть, то позиция Гегеля, даже если она относится только к надстройке, будет для нас ценной. Это значит, что различные виды власти Монтескьё, каждая из которых находит свое оправдание в существовании другой, могут обмениваться местами и гегемонией. Дисгармония преодолевает гармонию. Централизация децентрализуется. Подобные обратные изменения могут быть объяснимы историей развития материальной основы общества. Гегель сам дает примеры этого из истории французского права и истории развития позднего феодализма. История права США также подтверждает эту диалектику Гегеля.

Оба положения, рассмотренные выше, дают основание полагать, что разделение властей Монтескьё, разделение, сделанное в целях преодоления плебейского права вето, может в период социального скептицизма и сомнения или социального недоверия (в сартровском смысле) обернуться оправданием права вето.

IX

Буржуа Гегель и внешнее посредничество в «Феноменологии духа»

Гегель в «Феноменологии духа» осуждает буржуазный террор Французской буржуазной революции, ибо террор не признает посредничества¹, исходя из «совершенно *непосредственной* чистой негации, и притом негации единичного *как сущего* во всеобщем. Единственное произведение и действие всеобщей свободы поэтому *смерть*»². Для Гегеля это означает, что в период террора государство выступает как партия (Faction)³. Далее, говоря о праве, он отмечает: «*Быть под подозрением* приравнивается поэтому *виновности*»⁴. Гегель должен был бы задать вопрос: разве буржуазное государство во всех его формах не является террористическим или угрожает террором, разве

¹ Гегель. Феноменология духа. Соч., т. 4, стр. 314—321.

² Там же, стр. 318.

³ Там же.

⁴ Там же.

оно не всегда держит под подозрением гражданина этого государства, не всегда является властью определенной «партии»?

Гегель отличает террористическое буржуазное государство от своего буржуазного государства тем, что он вводит понятие опосредования между различными видами государственной власти. В этом, по его мнению, содержится вся важность теории разделения властей. И для Гегеля главное не в том, что разделение властей должно быть именно опосредованным разделением, а скорее в том, что он, имея в виду буржуазное разделение властей, должен был оправдать такое разделение. Такое опосредование имеет в чем-то кантианский характер, поскольку оно нуждается в общественных противоречиях без самодвижения противостоящих государственных структур, что критикуется Марксом в третьем тезисе о Фейербахе. Идея Гегеля о буржуазном посредничестве между отдельными государственными структурами и видами власти направлена на поддержку единства или целостности буржуазии. Гегель представляет себе буржуазное государство как государство, в котором благодаря его посредничеству наличествует буржуазная свобода или гегемония буржуазии без гегемонии буржуазного террора. Однако фактически в своей теории разделения властей Гегель оправдывает посредничество *буржуазии* для достижения или сохранения целостности единства государства. Он обращается к идее Монтескьё, отражающей социальную неустойчивость или социальный скептицизм в условиях борьбы феодальных и буржуазных сил во Франции перед Великой французской революцией, в Германии периода после Французской революции, когда эта борьба была в разгаре и правовые идеи Монтескьё могли бы рассматриваться как вполне оправданные. Выдвинув идею опосредованного разделения властей, Гегель, как и Кант до него, считал, что этим он заложил основу для будущей победы немецкой буржуазии над феодализмом. Однако, в силу того, что идеи Монтескьё были развиты на основе материалистического понимания базиса общества, концепция Гегеля о посредничестве между противостоящими общественными структурами не могла целиком завуалировать появление классового антагонизма в базисе общества. Хотя теория Монтескьё о разделении властей была направлена на отрицание и для оправдания последнего в более поздние

периоды социальных кризисов и неустойчивости общества, которые наблюдаются в настоящее время в ряде капиталистических стран. Поэтому Гегеля следует рассматривать как сыгравшего важную роль в отрицании идеи права вето в условиях социальной неустойчивости.

По Гегелю, каждый вид власти тождествен другому, и разногласия между ними опосредуются с помощью целого комплекса созданных им государственных институтов.

Значительная часть работы Маркса «К критике гегелевской философии права» посвящена критике идей Гегеля о посредничестве. Здесь нет необходимости излагать взгляды Маркса, но следует все же подчеркнуть плодотворность идеи Маркса о том, что Гегель в изложении своей теории посредничества обращается в замаскированном виде к внешнему посреднику: к князю, кантовскому моральному благочестивому законодателю морали и немецкому романтическому правоведа, против которых сам Гегель так эффектно выступал по другим поводам и в других своих сочинениях и против которых выступил Маркс в своем третьем тезисе о Фейербахе.

Методология внешнего посредничества является, по существу, кантианской. Как указал в своей критике Гегель, кантианские антиномии противостоят друг другу, но из-за их ограниченности самодвижения их единство устанавливается внеисторическим посредником, осуществляющим тем самым свою собственную свободу и власть. Прототипами этого внешнего или внеисторического посредника, описываемого самим Гегелем, можно считать бога-помощника у Декарта, благочестивого, высоконравственного часовых дел мастера у Лейбница, благочестивого законодателя у Канта, художника-гения и человека-бога немецкого романтизма. Гегелевские посредники в его «Философии права» неисторичны, поскольку они были представителями феодальной эпохи и по этой причине были ограничены, постепенно исчезая из немецкой истории. Подобное посредничество имело внешний характер. Идеи Гегеля о роли власти чиновников в обществе носят буржуазную окраску, и по этой причине они оказали влияние на более поздние буржуазные теории права.

Кантианский внешний посредник появляется в немецкой истории в период борьбы между силами феодализма и буржуазии, ранее в истории предреволюцион-

ной Франции этот посредник воплотился в теории Монтескье о разделении властей. В работе «К критике гегелевской философии права. Введение» (где также резко критикуется феодальная правовая школа Савиньи) Маркс писал: «...немецкий status quo является откровенным завершением ancien régime, а ancien régime есть скрытый порок современного государства. Борьба против немецкой политической действительности есть борьба с прошлым современных народов, а отголоски этого прошлого все еще продолжают тяготеть над этими народами»¹.

Кантианский внешний посредник осуществляет правление произвольно, неопределенно, неискренне, используя ловкость, уклончивость, скептицизм, подтасовку. Гегель по этому поводу говорит следующее: «*Действительное моральное сознание есть сознание, совершающее поступки; в этом именно состоит действительность его моральности. Однако в самом совершении поступков указанная постановка (Stellung) сразу же переставлена (ist verstellt): ибо совершение поступков есть не что иное, как претворение в действительность внутренней моральной цели, не что иное, как порождение некоторой действительности, определяемой целью, или создание гармонии между моральной целью и самой действительностью*»².

Он также пишет: «Моральное мировоззрение поэтому на деле есть не что иное, как развитие этого фундаментального противоречия с его разных сторон; оно, если пользоваться наиболее подходящим к данному случаю кантовским выражением, есть «целое гнездо» неосмысленных противоречий. Поведение сознания в этом развитии состоит в том, что оно утверждает некоторый момент и от него непосредственно переходит ко второму; снимая первый, но как только оно *установило* (aufgestellt) этот второй момент, оно его в свою очередь и переставляет (verstellt) и наоборот, выдает за сущность противоположное. В то же время оно *также* сознает свое противоречие и совершаемую им перестановку, ибо оно от одного момента переходит к противоположному *непосредственно в соотношении с этим же первым; так как какой-нибудь момент не имеет для него реальности, то оно его именно и полагает реальным, или, что то же самое,*

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 417—418.

² Гегель. Соч., т. 4, стр. 331.

дабы утвердить *какой-нибудь* момент как в себе сущий, оно утверждает в качестве в-себе-сущего противоположный момент»¹. Если понимать целостность Монтескьё с точки зрения основ общественной структуры, то есть как отражающую историческую ситуацию конфронтации феодализма и капитализма в момент, когда буржуазия еще была недостаточно сильной, чтобы разрушить феодализм, общественная неустойчивость, исторически присутствующая в его теории о разделении власти, является прототипом лицемерия или *Verstellung*, являющегося основой кантианского посредничества, осужденного Гегелем. Право вето есть ответ на вызов скептицизма в определенных исторических условиях.

Как уже отмечалось выше, сложная теория посредничества Гегеля, обладающая рядом феодальных элементов, не есть свидетельство того, что Гегель придерживался феодальных взглядов. Это также не значит, что он пытался через теорию Монтескьё о разделении властей, появившуюся отчасти как результат изучения государственного устройства феодальной Германии, отрицать терроризм и лицемерие буржуазного общества. По сути, он отрицал свою собственную идею внешнего посредничества, которая была уже опровергнута и которая в своей скрытой основе была насквозь буржуазной и опровергаемой историей. В разделе 273 «Философии права», анализируя описание Монтескьё «республиканских достоинств», Гегель вдруг заявляет: «...недостаточно одной лишь добродетели глав государства, а требуется другая форма разумного закона...»². И через страницу он указывает на отношение Монтескьё к истории «феодальной монархии»³. Доказательств того, что Гегель преследовал буржуазные цели, имеется достаточно. Он начинает «Философию права» не только с осуждения немецкой феодальной школы права, но, что более важно, он защищает теории о древнеримской собственности, носящей буржуазный характер, защищает систему контрактов и (в определенных пределах) буржуазное уголовное право и подвергает блестящей критике элементы феодального характера в древнеримском праве. Внеисторические надстроечные элементы по-

¹ Гегель. Соч., т. 4, стр. 330—331.

² Гегель. Соч., т. 7, стр. 297.

³ Там же, стр. 298.

средничества в его конституционной и правовой структурах скрывали в себе посредничество буржуазного общественного базиса. Гегель пытался не только «детерроризовать» буржуазию, но и оправдать ее господство через всеобщность замаскированно буржуазных основ общества и внешнего посредничества феодальной надстройки, которая уже не имела никакой исторической основы. Он старался сделать для буржуазии то, что не удалось сделать Канту с помощью формализма и неопределенности его категорического императива, освященного благочестивым моральным законодателем.

Хотя Гегель сделал в этом направлении гораздо больше, чем Кант, его заинтересованность в победе буржуазии над феодализмом в период, когда каждая из сторон обладала достаточными силами, не привела его по этой причине к принятию принципа права вето. Фактически он даже осудил идею эфората Фихте. В работе «О посредничестве» Нил утверждает, что «Философия права» Гегеля отличается «неопределенностью»¹. Нил считает, что критика конституционного права Гегеля Марксом была основанием для 11-го тезиса о Фейербахе, в котором он говорит: «Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его»².

Х

Маркс и постоянство права вмешательства

В 1947 г. пишущий эти строки сказал, что «...недостаточность силы в осуществлении власти вето, как это вывилось в работе Организации Объединенных Наций, приведет статус постоянного члена Совета Безопасности к историческому... забвению»³. Это мнение основано на анализе Лениным природы двоевластия в его работе «Задачи пролетариата в нашей революции» и в других работах.

¹ Niel. De la médiation dans la philosophie de Hegel, 1945, 293.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 4.

³ Franklin. The Roman Origin and the American Justification of the Tribunitial or Veto Power in the Charter of the United Nations, «22 Tulane Law Review», 1947, 24, 56.

Выше в этой статье говорилось о некоторых исторических обстоятельствах, способствовавших отмене права вето. Маркс, рассматривая положение плебеев, основное внимание уделяет проблеме постоянства плебейского права вмешательства. Сведения о древнеримских плебейях Маркс берет в основном у Нибура, как это видно из его работы «К критике политической экономии»¹. Английский перевод этой работы Нибура, с которым был знаком Маркс, не указан в «Библиографии античной истории и римского права», изданной в 1971 г.² По-видимому, Гегель также использовал работу Нибура при изучении древнеримского плебейского общества. Среди современных специалистов по древнеримскому праву Кункель³ и философ Лёвиг высоко ставят работы Нибура. Последний отмечает также, что на Нибура очень сильное влияние оказала июльская революция 1830 года⁴.

В 1877 г. в письме в редакцию «Отечественных записок» К. Маркс писал: «В различных местах «Капитала» я упоминал о судьбе, постигшей плебеев Древнего Рима. Первоначально это были свободные крестьяне, обрабатывавшие, каждый сам по себе, свои собственные мелкие участки. В ходе римской истории они были экспропрированы. То самое движение, которое отделило их от их средств производства и существования, влекло за собой не только образование крупной земельной собственности, но также образование крупных денежных капиталов. Таким образом, в один прекрасный день налицо оказались, с одной стороны, свободные люди, лишённые всего, кроме своей рабочей силы, а с другой стороны — для эксплуатации их труда — владельцы всех приобретенных богатств. Что же произошло? Римские пролетарии стали не наемными рабочими, а праздною чернью, более презренной, чем недавние «poor Whites» * южной части Соединенных Штатов, а вместе с тем развился не капиталистический, а рабовладельческий способ производства. Таким образом,

¹ См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. I, стр. 468.

² Bibliografia di storia antica e diritto romano, 1971.

³ K u n k e l. An Introduction to Roman Legal and Constitutional History, Kelly trans., 1966, 111, 186.

⁴ L ö w i t h. From Hegel to Nietzsche, Green trans., 1964, 25.

* «Белые бедняки». — *Ред.*

события поразительно аналогичные, но происходящие в различной исторической обстановке, привели к совершенно разным результатам. Изучая каждую из этих эволюций в отдельности и затем сопоставляя их, легко найти ключ к пониманию этого явления; но никогда нельзя достичь этого понимания, пользуясь универсальной отмычкой в виде какой-нибудь общей историко-философской теории, наивысшая добродетель которой состоит в ее надысторичности»¹. В одном из подстрочных примечаний в первом томе «Капитала» Маркс писал: «Это напоминает Древний Рим. "Богатые овладели большей частью неразделенных земель... и... они стали распахивать сразу очень обширные площади вместо разбросанных полей. При этом для земледельческих работ и скотоводства они употребляли рабов, так как свободные люди были бы взяты на военную службу и, следовательно, не могли бы у них работать; обладание рабами приносило им крупную выгоду и потому, что вследствие освобождения от военной службы рабы могли беспрепятственно размножаться и имели много детей. Таким образом сильные люди сосредоточили в своих руках все богатства, и вся страна кишела рабами. Итальянцев же становилось все меньше из-за свирепствовавшей среди них нищеты, налогов и военной службы. А когда наступали мирные времена, они были осуждены на полную бездеятельность, так как богатые владели всей землей и вместо свободных людей использовали рабов для возделывания земли" (Arrian: «Civil Wars», 1.7). Это место относится к эпохе, предшествовавшей закону Лициния. Военная служба, так сильно ускорившая разорение римского плебса, для Карла Великого была главным средством быстрого превращения свободных немецких крестьян в феодально зависимых и крепостных»².

XI

Право вето и государство

Напомним, что Моммзен и другие утверждали, что право вето создало государство внутри государства. Это не совсем так. Монье правильно указывал, что плебеи при-

¹ См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, стр. 120—121.

² См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 738.

держивались и «автономной» тенденции и тенденции политического равенства с патрициями. Последняя тенденция выражалась в требовании плебеев кодифицировать законы (что до сих пор еще не сделано в англо-американском буржуазном мире). В «Философии права» Гегель относился благосклонно и к гражданским свободам и к кодификации законов. Необходимо обратить внимание на «двойственность» политики плебеев, о которой говорит Монье. Конечным результатом теории права вето оказывается не создание государства внутри государства, а необходимость единства противоположностей, каждая из которых по ряду исторических причин имеет свою долю государственной власти внутри государства. Это диалектика свободы через признание необходимости.

В разделе 261 «Философии права», где рассматривается семья и гражданское общество, Гегель пишет, что государство есть «внешняя необходимость» и что «законы и интересы государства подчинены ей и зависят от нее». Затем он обращается к Монтескье, который выдвинул мысль «о зависимости частноправовых законов от определенного характера государства, и философский взгляд, что часть следует рассматривать только в ее отношении к целому»¹. В дополнение к разделу 261 Гегель пишет, что «все дело — в единстве всеобщности и особенности в государстве... Определения индивидуальной воли приводятся государством в некое объективное наличное бытие и лишь благодаря ему они достигают своей истины и осуществления»². Но подобной «внешней необходимостью» в период социального скепсиса или лицемерия могут оказаться и право вето и буржуазное классовое государство. Так, говоря об общественном сознании до буржуазного Просвещения и буржуазного террора, Гегель пишет в «Феноменологии духа»: «Государственная власть... еще не есть правительство и тем самым не есть еще поистине действительная государственная власть. — *Для-себя-бытие*, воля, которая как воля еще не принесена в жертву, есть внутренний отошедший дух сословий, который, вопреки своим разговорам об *общем* благе, сохраняет за собой *особое* благо и склонен эту болтовню об *общем* благе превратить в суррогат практической деятельности... [Это] делает двусмысленным и подозрительным совет

¹ Гегель. «Философия права», Соч., т. 7, стр. 271.

² Там же, стр. 273.

для общего блага и на деле сохраняет за собой собственное мнение и особую волю по отношению к государственной власти»¹. Это верно и по отношению к более позднему террористическому буржуазному государству, несмотря на дифференциацию Гегеля. По Гегелю, если государство еще не создало совершенный аппарат власти, оно не есть внешняя необходимость, в случае же совершенной власти оно представляет собой внешнюю необходимость. Однако внешняя необходимость означает присваивающее отчуждение внутри базиса и посредством надстроечной государственной власти. Если считать «внешнюю необходимость» как необходимость присваивающего отчуждения в условиях политически организованных государств, основанных на частной собственности на средства производства, то можно сказать, что Гегель не смог показать недостатки даже феодального государства. Обращая особое внимание на фразу «внешняя необходимость», Гегель указывал тем самым на интенсификацию и расширение соответствующего надстроечного отчуждения, имеющего место в буржуазном государстве, в отличие от других более ранних отчуждений, когда оно не было всецело опосредовано государством, как, например, непосредственное присваивающее отчуждение в феодальном государстве. Помимо этого, можно предположить, что, делая акцент на понятии «внешнее», Гегель обращает наше внимание на государство как историческое явление, возникающее и исчезающее в ходе развития истории.

Как уже говорилось, Маркс показал, что теория Гегеля о государстве как о «внешней необходимости» является теорией государства как надстройки расщепленного двойственного или разделенного общества. Моммзен и другие правоведы, которые полагали, что право вето создало государство внутри государства, смешивали «двойственное» государство с «двойственным» обществом. Но государство не может возникнуть, если общество на самом деле не является расщепленным. Государство само по себе может или не может быть полностью раздвоенным — все зависит от степени присваивающего отчуждения внутри базиса общества. Право вето может возникнуть в государстве в исторической ситуации, когда отчуждение в основе общества начинает угрожать его существованию, ослабляя и расшатывая его.

¹ Гегель. Соч., т. 4, стр. 271—272.

Маркс, по всей видимости, считал, что гегелевская концепция государства как полной «внешней необходимости» относится к отчуждению внутри буржуазного государства, осуществляемого им, если надстроечное присваивающее отчуждение реализуется полностью. Мы делали ссылки на работу Маркса «К критике гегелевской философии права». В этой работе Маркс пишет: «Именно потому, что «подчинение» и «зависимость» представляют собой *внешние* отношения, суживающие самостоятельную сущность и противоречащие ей, отношение «семьи» и «гражданского общества» к государству представляет собой отношение «*внешней* необходимости», такой необходимости, которая идет вразрез с внутренней сущностью предмета»¹.

Поскольку Маркс вскрыл, что «внешняя необходимость» Гегеля соотносится с внутренней сущностью через их противопоставление, он выступает тем самым и против Маркузе и других современных экзистенциалистов. В своей последней работе о Гегеле Маркузе защищает концепции «внешнего» (externality) для того, чтобы опровергнуть идею Маркса о том, что классовая борьба, происходящая во всем мире, основана на единстве противоположностей буржуазии и пролетариата. Маркузе подменяет это единство противоположностей явно антидиалектической концепцией о якобы происходящей в мировом масштабе борьбе между так называемыми конвергированными (converged) силами буржуазии и пролетариата, с одной стороны, и «внешними» силами, или «разрушительными», негативными силами Хайдеггера — Ницше — с другой, что, конечно, не дает никакого представления о размахе и силе борьбы между пролетариатом и буржуазией, той борьбы, с которой и связано существование исторического отрицания отрицания. Было бы уместным повторить, что право вето в конечном итоге базируется на теории Гегеля о взаимном признании социальных сил, которые посредством практического опыта борются за него. «Внешние» силы Маркузе — силы, недостаточно прочные по сравнению с внешними силами в себе и для себя, чтобы выявить свою актуальность и получить признание. Конструктивное право вето возникает в исторической ситуации неопределенности или скепсиса, когда борьба за

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 222.

взаимное признание прав социальных групп увенчивается относительным успехом, когда ни одна из них еще не может господствовать над другой. Из этого следует, что право вето — это борьба за руководство государством. «Внешние» силы Маркузе играют роль в той степени, в которой они благодаря их активному характеру имеют отношение к борьбе между социальными силами. Государственная форма присваивающего отчуждения означает, что отчуждения присваивающего отчуждения можно добиться только через государство, то есть государство, являющееся абсолютистским государством, государством Монтескье с разделением властей, или государством с конструктивным правом вето. Все эти «внешние» формы государства есть в то же время и «внутренняя необходимость», через которую осуществляется свобода, то есть отчуждается отчуждение. В этом смысл ссылки Гегеля на отрицание Писистрата, где Гегель указывает на необходимость закона в трактовке диалектики господства и угнетения.

По всей видимости, Маркс продолжает анализ гегелевской теории государства как «внешней необходимости», имея в виду именно эту трактовку Гегеля. Говоря, что «внешняя необходимость» является необходимостью, «которая идет вразрез с внутренней сущностью предмета», он далее пишет, что „подчинение“ и „зависимость“ выражают то «внешнее», *вынужденное*, кажущееся тождество, для логического выражения которого Гегель правильно употребляет понятие «внешней необходимости». В понятиях «подчинение» и «зависимость» Гегель развил дальше одну сторону раздвоенного тождества, а именно сторону отчуждения внутри единства»¹.

Назвав гегелевскую «внешнюю необходимость» буржуазным отчуждением, Маркс юридически восстанавливает «отчуждение». Он пишет: «...Гегель выдвигает здесь неразрешенную антиномию. С одной стороны, внешняя необходимость, с другой стороны, имманентная цель. Единство *всеобщей конечной цели* государства и особого интереса индивидов состоит будто бы в том, что *обязанности* индивидов по отношению к государству и те *права*, которые государство предоставляет им, тождественны

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 222.

(следовательно, например, обязанность уважать собственность совпадает с правом на собственность)»¹.

В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс развивают дальше идею о том, что «внешняя необходимость» есть в действительности не что иное, как отчуждение. Не ссылаясь непосредственно на Гегеля, они пишут: «...благодаря этому противоречию между частным и общим интересом последний, в виде *государства* принимает самостоятельную форму, оторванную от действительных — как отдельных, так и совместных — интересов, и вместе с тем форму иллюзорной общности. Но это совершается всегда на реальной основе имеющихся в каждом семейном или племенном конгломерате связей по плоти и крови, по языку, по разделению труда в более широком масштабе и по иным интересам, в особенности... будучи уже обособленными в результате разделения труда,— обособляются в каждой такой людской совокупности и из которых один господствует над всеми другими. Отсюда следует, что всякая борьба внутри государства — борьба между демократией, аристократией и монархией, борьба за избирательное право и т. д. и т. д. — представляет собой не что иное, как иллюзорные формы борьбы, в которых ведется действительная борьба различных классов друг с другом... Именно потому, что индивиды преследуют *только* свой особый интерес, не совпадающий для них с их общим интересом — всеобщее же вообще является иллюзорной формой общности,— они считают этот общий интерес «чуждым», «независимым» от них, т. е. опять-таки особым и своеобразным «всеобщим» интересом, или же они сами должны двигаться в пределах этой разобщенности, что и происходит в демократии. С другой же стороны, *практическая* борьба этих особых интересов, всегда *действительно* выступавших против общих и иллюзорно общих интересов, делает необходимым *практическое* вмешательство и обуздание особых интересов посредством иллюзорного «всеобщего» интереса, выступающего в виде государства. Социальная сила... представляется данным индивидам не как их собственная объединенная сила, а как некая чуждая, вне их стоящая власть... Это «отчуждение», говоря понятным для философа языком, может быть уничтоже-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 223.

по, конечно, только при наличии двух *практических* предпосылок»¹.

Таким образом, гегелевская «внешняя необходимость» означает, что присваивающее отчуждение и присвоение отчуждения или свободы осуществляется посредством диалектического развития внутренней необходимости единства враждебных социальных сил или через необходимость единства государства. Принцип права вето есть также «внешняя необходимость», основанная, однако, на структуре единства противоположностей борющихся социальных сил внутри государства. Право вето выступает как *проект* (project) свободы необходимости в государстве.

Ввиду особой важности проблемы не лишним будет еще раз повторить, что Гегель, диалектик, теоретик целостности (totality), теоретик, защищавший идеи Монтескьё о разделении властей в виде теории опосредствованной разделенности властей, называет государство «внешней необходимостью» потому, что последнее означает присваивающее отчуждение в той мере, в какой оно реализуется в конкретных исторических условиях. Но, как уже отмечалось выше, об этом писали и Маркс и Энгельс; более того, Маркс выдвинул идею о том, что присвоение присвоения может принимать различные формы, изменяясь в зависимости от исторических условий, чтобы отрицать историческую позитивность или историческую актуальность того, что должно отрицаться. Маркс, развивая эту идею в «К критике гегелевской философии права», проводит различие между республикой Монтескьё и его монархией. Он писал: «*Политическая жизнь* в современном смысле есть *схоластицизм* народной жизни. *Монархия* есть законченное выражение этого отчуждения, республика же есть отрицание этого отчуждения внутри его собственной сферы»². Концепция права вето может быть подобным ограниченным или частичным отрицанием отчуждения, но оно также есть и проект или реальная возможность неограниченного отрицания отчуждения.

Теория права вето в качестве своего прототипа имеет не только концепцию Гегеля о необходимости борьбы за признание, но и концепцию Маркса о том, что право вето

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 32—33.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 254.

должно поддерживаться борьбой главным образом внутри материального базиса общества, через его развитие.

Маркс и Энгельс понимали, что фраза Гегеля «внешняя необходимость» означает одновременно присваивающее отчуждение внутри буржуазного государства и через него. Однако буржуазные теоретики нашего времени пытаются развить далее идею отчуждения на основе так называемого экзистенциального, «внешней» отдаленности и экзистенциальной «внешней» пространственности. Анализ этих теорий выходит за рамки данной статьи. Следует лишь отметить, что подобная экзистенциальная трактовка отчуждения может использоваться для оправдания классового господства внутри государства и расширения государственных границ империалистами. Теория отчуждения Ницше была названа им «пафосом дистанции». Зиммель развивал социологическую теорию социальной удаленности разных слоев общества. Концепция Гуссерля «заклучения в скобки» есть классовая теория, основанная на отделении или уходе от актуальной действительности. Теория отчуждения как отдаленности Хайдеггера оправдывает существование как экзистенциального пространственного удаления, так и пространственной близости (*Entfremdung*, а также *Entfernung* и *Ent-fernung*). Фуко говорит о том, что «неразумное» (*untought*) есть и нечто внешнее по отношению к человеку, и внутренне присущее ему.¹ И хотя эта двойственность может быть скрыта (*close*), она обрекает человека на отчуждение. Карл Шмидт, один из видных нацистских правоведов, был автором теории о географическом разделении «друга-и-врага». Подобное удаление или внутри государства, или между государствами оправдывает обскурантистскую идеалистическую теорию в антропологии и направлено против исторического материализма и его теории о государстве и роли последнего в обществе.

¹ Foucault. *The Order of Things*, Engl. trans., 1970, p. 326,

II. ФИЛОСОФСКО- МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ФИЛОСОФСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Берроуз Данэм

Советские коллеги обратились к нескольким американским философам с просьбой выразить свое отношение к событиям, происшедшим в мире за последние двадцать — двадцать пять лет. Подобная оценка в устах философа Запада во многом неизбежно окажется весьма личного свойства. Философы Запада часто следуют моде, а не какой-либо определенной школе; и это относится даже к тем из них, кто называет себя марксистом. Поэтому я говорю здесь лишь от своего имени, и сущностью сказанного будет скорее постановка вопроса, чем ответ на него.

Во время моего визита в Советский Союз в 1959 году в качестве гостя Института философии меня иногда спрашивали, считаю ли я себя марксистом. Я отвечал: «Это все равно, что спросить, являюсь ли я добродетельным. Я могу лишь сказать, что стараюсь им быть».

Что еще можно к этому добавить? Нельзя быть марксистом, только лишь повторяя хорошо известные доктрины, которые могут оказаться всего-навсего заученными словами. Множество людей, поступая так, занимаются самообманом. Доктрины сами по себе относятся к вещам (pattern), которые противятся изменениям, стараясь подчинить их себе. Действительная же проблема состоит в том, чтобы найти руководящие принципы в самом изменении. Насколько мне известно, методология на этот счет еще не вполне отработана, и интерпретаторам событий остается полагаться отчасти на свою проницательность, но в гораздо большей степени здесь могут помочь взятые

из истории блестящие примеры проникновения в суть событий, подобные тем, которые в изобилии можно найти в сочинениях Ленина.

Марксизм — это теоретическое руководство к действию, и человек, терпящий неудачи и провалы в своей политической деятельности, не может быть марксистом в полном смысле этого слова, хотя его и вполне можно рассматривать как пытающегося следовать идеям марксизма. К провалам его ведет не теория, а способ ее применения. Предположить обратное, то есть что случившаяся неудача — это следствие неверности теории, — значит соглашаться с излюбленным доводом капиталистов, к которому они то и дело прибегают и в своих надеждах, и при своих поражениях.

Я поднялся до марксизма от платоновской концепции философов, управляющих государством, а также некоторых взглядов Уайтхеда, с которыми я ознакомился по его работе «Процесс и реальность». Сильное впечатление также на меня произвел один из его семинаров, на котором мне случилось присутствовать. Что касается правящих философов, то, увы, я не принадлежу к тем, кто «делает политику», хотя я, конечно, знаю, что ничто великое не может быть сделано без участия масс и что массы должны сплотиться и действовать активно, какова бы ни была степень развития их самосознания в данный момент истории.

А как это сделать? И тут мой философ-правитель сокращается до просто философа и начинает рассматривать теорию познания и природу мира вообще. В таком положении он становится, как говорит наша американская молодежь, менее уместным (*less relevant*). Ну что ж, мы — по крайней мере я — не уместны и не можем с уверенностью указать выход из наших затруднений. Однако существуют различные степени уместности и то, что кажется непосредственно и очевидно уместным, всегда включено в некоторый контекст, иногда столь обширный, что его следует считать бесконечным.

Итак, оказавшись лицом к лицу перед широкими обобщениями (которые, если бы я хорошо знал частности, я бы лучше понял) и чувствуя себя человеком, который пытается быть марксистом, не зная точно, удастся ли ему это, я получаю приглашение написать кое-что о водвороте новых событий глобального, общечеловеческого мас-

штаба. Я хочу сделать это, опираясь непосредственно на мой собственный опыт последних двадцати пяти лет. За это время события развивались не так, как я некогда предполагал, и в то же время точно так, как я когда-то думал. Противоречие? Да, но противоречие диалектического порядка. В самом деле, если будущее не несло бы в себе ничего нового, оно не было бы будущим (т. е. оно было бы идентично прошлому), а если будущее содержало бы исключительно одно лишь новое, оно было бы совершенно не связано с прошлым. Любой из этих крайних случаев не оставляет нам никакой надежды активно влиять на события и что-либо изменять. Ибо если будущее тождественно прошлому, то это значит, что никаких изменений не происходит и, следовательно, ничего нельзя сделать. А если будущее всецело новое, то невозможно изобрести какие-либо методы для того, чтобы как-то иметь дело с таким будущим.

Абсолютно новое событие в том именно смысле, что оно никогда не случалось в прошлом, — это совсем не то же самое, что неожиданное событие. Неожиданность, как я полагаю, в большинстве случаев происходит из недостатка наших знаний и, следовательно, из недостаточных предсказательных возможностей. Вопрос, который я ставлю, следующий: можно ли вообще предсказать заранее абсолютно новое? Как мы видим, предсказать можно, что каждое событие принесет с собой нечто совершенно новое. Но об этом последнем возможно ли хоть что-нибудь узнать заранее?

Я позволю себе рассмотреть этот вопрос в той последовательности, в какой он вырисовывался передо мной за последние годы.

(1) В 1945 году я полагал, что по исчезновении того неограниченного рынка, который война предоставила в распоряжение капитализма, начнется период экономического застоя. Однако этот прогноз игнорировал существование вновь приобретенных американским капитализмом богатств — богатств, достаточно значительных для того, чтобы защищать и эксплуатировать сохранившиеся части капиталистического мира. Такое положение вещей, я думаю, было предсказуемо, однако я не проявил необходимой провидительности и не предугадал его.

Рассмотрим еще один момент. Наша буржуазия, хотя и была союзником СССР во время второй мировой войны,

тем не менее никогда полностью не отказывалась от своей первоначальной политики, рассчитанной на истощение нацистской Германии и Советского Союза в их обоюдной борьбе и на достижение тем самым господства западного капитализма. В последующий за 1945 годом период мистер Даллес провозгласил политику «отбрасывания», которую сменила политика «сдерживания», обернувшаяся после так называемой «потери Китая» политикой «защиты против агрессии».

Но если я со своими скромными предсказательными возможностями человека из маленького пригорода был удивлен, не увидев подтверждения своих прогнозов в дальнейшем ходе событий, то американская буржуазия, подчипившая себе не пригороды, а континенты, была поражена в несравнимо большей степени. Об этом свидетельствует, по весьма цветистому выражению некоторых официальных должностных лиц, «мучительная переоценка», сделанная Даллесом незадолго до его кончины, иначе говоря, его признание, высказанное в единственной фразе: «Я был неправ».

И это действительно так.

Что означали слова: «Я был неправ»? Они означали, что реально наступившее будущее оказалось не тем будущим, которого ожидали, и что, следовательно, контроль над будущим был утрачен. Была ли эта неудача просто следствием недостаточной дальновидности и просчета в действиях, и тогда это означало бы, что ее можно было своевременно избежать? Или во всем новом, без чего не может быть будущего, есть нечто такое, что выходит за пределы нашей дальновидности и нашего умения, а значит, и за пределы наших возможностей контролировать это будущее?

(2) Я полагал, что различные страны, вступив на путь социализма, вступят также и в дружественные отношения между собой. Что-то каким-то образом помешало этому. Без сомнения, на эти «что-то» и «каким-то образом» оказали свое влияние также и всевозможные происки капиталистического мира. Однако этим дело не исчерпывается.

И опять, можно ли было это предполагать заранее, хотя и я и другие этого не предполагали? Оглядываясь назад (что, конечно, всегда легче, чем смотреть вперед), я бы сказал, что какой-то шанс на возникновение такого положения вещей, без сомнения, был. Но какова была его

реальная возможность? Как много кто-либо может знать заранее о том, что должно произойти впервые?

Этот вопрос относится к теории познания, а именно к той ее области, которая касается теории реальности. Нечто новое — это радикально новое, то есть по своей форме, качеству или поведению оно не похоже ни на что из происходившего ранее. Может ли такая сущность быть предсказуемой? Я думаю, что одновременно может и не может и что именно это предполагает диалектика. Новое явление — это смесь старого и нового. Компонент старого в новом явлении обеспечивает его предсказуемость, компонент нового приводит к неожиданности. Следовательно, каждый мало-мальски опытный политический деятель должен, как говорится, «смотреть в оба» или, как мы, американцы, выражаемся, *an eye out*, ожидая неожиданного. Однако это, конечно, не означает, что нужно главным образом смотреть; здесь имеется в виду обдуманное наблюдение. Но все это дает нам лишь то, что можно назвать «моделью», то есть представление о будущем, которое и по своему облику, и по внутреннему содержанию подобно вещам прошлого.

Предвидение, возможно, начинается с догадки, которая затем вырастает в систему взаимосвязей и развивается далее в направлении знания. Система взаимосвязей иногда обнаруживает себя отчетливо и ясно, располагаясь, так сказать, на поверхности событий, но иногда она сокрыта глубоко, там, куда не может проникнуть глаз журналиста или комментатора. Так, сорок лет назад, во время нашей великой экономической депрессии, все, о чем писал Маркс, лежало ясно и открыто на поверхности, настолько ясно, что требовались усилия, чтобы этого не замечать. Но после 1945 года все это исчезло из поля зрения, и нам, американцам, стали преподносить всевозможные фантазии, рождаемые многочисленными псевдомудрецами: и что больше нет классовой борьбы, и что революция может быть совершена одними лишь неграми или, что еще более удивительно, одними лишь интеллектуалами. Но незадолго до того, как я начал писать эти свои заметки, полтора миллиона американских рабочих приняли участие в забастовке и другие рабочие к этому готовятся. Под угрозой забастовки были средства связи: телефон, телеграф и почта. Так какой же класс ныне сотрясает мир?

Очевидно, что по крайней мере в социальных вопросах чем большего масштаба явление рассматривается, тем более оно предсказуемо. Человек может лишь гадать о том, каким будет его личное будущее, но можно быть уверенным в том, что социализм превзойдет и вытеснит капитализм. Но даже и в этот прогноз вторгается новый фактор нашего времени: атомная энергия. Быть может, борьба за рациональный социальный строй, в ходе которой сталкиваются противоположные силы, в будущем прекратится вследствие уничтожения человечества.

Марксизм есть или, как мне кажется, должен быть мудрым и необходимым сплавом детерминизма и индетерминизма *. В мире достаточно причин, могущих повлиять на наши планы, однако их все же не столь много, чтобы отнять у нас нашу способность планировать, которая является дополнением нашего собственного разума.

Понятие о новых способах действия, подкрепляющих старые методы и в то же время черпающих из них свою силу, кажется мне здесь наиболее адекватным нашим целям.

Однако мне все еще хочется знать — может ли новое быть известно заранее?

Я уже говорил, что у меня есть вопрос и нет ответа. Это несомненно вопрос. А возможно, это и просьба о помощи.

* Автор здесь использует неудачную терминологию. Из его рассуждений ясно, что он имеет в виду диалектический синтез необходимости и случайности, называя индетерминизмом случайные, статистические вероятностные связи и отношения. — *Прим. ред.*

EX NIHILO NIHIL FIT: *
«ОТПРАВНАЯ ТОЧКА»
ФИЛОСОФИИ

Дэвид Дегруд

Время от времени у философов возникает желание радикально пересмотреть существующие общепринятые философские взгляды, доктрины, проблемы. Древнегреческие скептики (Пиррон, Аркесилай, Карнеад и др.) положили начало философской традиции критического рассмотрения предметов и явлений. В эпоху позднего Ренессанса эта традиция была продолжена Рене Декартом, который выступил с критикой господствующих в то время теологических доктрин и невежественных предрассудков. «Свет природного разума» должен был унаследовать способность определить убеждения взамен симфонии эмоционального и интеллектуального хаоса, господствовавшего в эпоху Реформации. В условиях религиозной нетерпимости Декарту, который «сомневался во всем», было нелегко высказывать свои взгляды. Его известная процедура методологического сомнения предполагала отказ от любого верования, которое могло вызывать какое-либо сомнение в своей достоверности. Поскольку тезис, утверждающий, что «из ничего ничто не возникает», верен, то, примененный буквально к философии Декарта, он означает, что этой философии не существовало бы, если бы не существовало нечто противящееся. Этим нечто оказывается «я сомневаюсь» (*dubito*) или его семантический подтекст «я мыслю» (*cogito*), ставшее путеводной звездой в море бесчисленных, подлежащих сомнению

* *Ex nihilo nihil fit* (лат.) — из ничего ничто не возникает. —
Прим. переводчика.

фактов (включая и эмпирические факты) ¹. В результате этого Декарт, обойдя логику, пришел к полностью схоластическим выводам ², например к оправданию и поддержке разновидности онтологического аргумента Ансельма, привнося в него метафизическое Эго, а точнее, бога, так как это давало ему возможность разрешить свою солипсистскую дилемму и свои сомнения в непогрешимости математики, предоставив чувственному опыту определенную степень надежности. В картезианской философии мы находим как открытый бунт против схоластической телеологии и догматизма, так и притворную лесть в адрес тех, кто отвергал конкретные систематические сомнения науки Коперника и Галилея, которая подрывала каноны средневековой церковной идеологии. Метафизический дуализм Декарта в определенной степени поддерживал консервативных церковников тем, что он исключал душу из научного спора, можно сказать почти исключал, Декарт не мог противиться желанию иметь полную и законченную философскую систему. Философы очень боятся вакуума! Он выдвинул предположение о роли шиховидной железы в качестве посредника (заметьте, связующий механизм носит телесный характер!) между двумя различными областями — понятием протяженности (*res extensa*) и мышлением (*res cogitas*).

Отдав консерваторам на откуп загадочное царство души, Декарт приступает к конструированию механистической системы мира, охватывающей все науки от физики до физиологии. Но из всего, что было сделано этим великим мыслителем, наиболее полезным для человечества оказался не декартовский метод сомнения, а его «геометрический метод», то есть гипотетико-дедуктивная схема выгода революционизированной науки его времени.

Фрэнсис Бэкон, Томас Гоббс, Джон Локк и Давид Юм также прибегали к сомнению как методу борьбы со сред-

¹ См. замечания по этому поводу: Arnold Berleant, *On the Circularity of the Cogito*, «Philosophy and Phenomenological Research», XXVI, 3 March, 1966, p. 431—433.

² Это часто случается с философскими радикалами, которые пытаются все делать «заново». У Декарта большая часть его философских положений отдает духом Ла Флеша. Один из последних радикальных новаторов Мартин Хайдеггер, несмотря на всю свою «оригинальность», недалеко ушел от схоластических взглядов римской католической церкви.

пеековой идеологией, но они не обязательно пачинали с формулы «я мыслю», в действительности метод Декарта часто оспаривался, например Юмом¹. Вообще английские философы довольно широко пользовались «бритвой Оккама». Они шли в направлении ограничения знаний не обязательно наличием неопровержимых истин, а в основном взглядами, поддающимися проверке.

И Бэкон и Декарт видели, что плодотворность философствования зависит от установления нового метода. Бэкон рассматривал систематическое экспериментирование, ведущее к контролю над природой, как ключ к научному познанию. С Бэкона в философии возникает традиция пачинать с самих вещей, приступать прямо к делу (*in medias res*). Она не пытается найти несомненную, достоверную «отправную точку» философии и видит роль философии не в априорных декларациях, а в решении человеческих проблем, то есть в освоении природы и разумности человеческого существования. Примеры этого «среднего» бэконовского философского подхода можно найти в современной философии. Вскоре после второй мировой войны в 1946 г. Джон Дьюи в своей статье «Человеческие проблемы и современная философия» дал следующий комментарий к тем направлениям современной философии, которые продолжают традицию в поисках отправной точки мышления, пытаются разрешить так называемую «проблему познания». «Практические проблемы, имеющие непосредственное отношение к человеку и ставшие моральными проблемами сегодняшнего дня, значительно возросли по своему объему и глубине. Они затрагивают практически все аспекты жизни человека... Но в то же самое время философия в своей основной части отводит им подчиненную и второстепенную роль по сравнению с ролью, отводимой проблеме познания. Однако наряду с этим практическое познание и использование научных достижений в повседневной жизни идут так быстро, что пресловутая проблема познания и ее возможности отходят на задний план, представляя отдаленный интерес лишь для философов. Результат пренебрежения проблемами, весьма важными и актуальными для жизни людей, и выдвигание на первый план проблем, отдаленных

¹ David Hume. A Treatise of Human Nature, B. I, Part IV, «Of Personal Identity», B. III, Appendix.

от нужд современной жизни, объясняют в известной степени то недоверие к философии, которое наблюдается в последнее время. Это недоверие в свою очередь оказывается решающим фактором в определении ее места в современном обществе»¹.

Современная философия находится в плену тенденции к выделению и обособлению различных явлений, свойственной современному развитому промышленному обществу. Наблюдается стремление повсюду провести границы между теорией и практикой, между фактами и их оценкой, философией и политикой, функциями администратора и воспитателя и т. д.

На этой своей наиболее стерильной стадии развития философия утрачивает главную функцию синтезирования научных достижений: она растворяется в этике, политике, истории. К примеру, американская и английская философские «лингвистические» школы рассматривают философию как терапию разума, сбиваемого с толку нашим языком. Один из основателей этого философского направления Людвиг Витгенштейн предлагает следующее средство решения философских проблем: «Решение проблемы жизни состоит в исчезновении этой проблемы»². Философские течения возникают из «затруднений», «подчинения», и мы преодолеваем это, исходя из логики «нашего языка». Но что может произойти с теми «немногими счастливыми», которые могут «полностью излечиться» от философии? Ответом на этот вопрос, по мнению Эрнста Геллнера³, будет создание искусственного затруднения, от которого позже можно будет освободиться. Подобное понимание роли философии находится в глубоком противоречии с положением Маркса, высказанным в его «Тезисах о Фейербахе»: «Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его»⁴.

Отправная точка зрения марксистской теории истории исходит не из интуиции или картезианского бога, а из предпосылок, вскрывающих ход исторического раз-

¹ John Dewey, Problems of Men, New York, Philosophical Library, 1946, p. 7.

² Л. Витгенштейн. Логико-философский трактат. М., 1958, стр. 97.

³ См. Э. Геллнер. Слова и вещи. М., М. 1962, стр. 225—231.

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 4.

вития общества, так же как теория естественного отбора Дарвина исходит из предпосылок, раскрывающих происхождение видов. В своей работе «Немецкая идеология» Маркс и Энгельс пишут: «Мы исходим не из того, что люди говорят, воображают, представляют себе, — мы исходим также не из существующих только на словах мыслимых, воображаемых, представляемых людей, чтобы от них прийти к подлинным людям; для нас исходной точкой являются действительно деятельные люди, и из их действительного жизненного процесса мы выводим также и развитие идеологических отражений и отзвуков этого жизненного процесса...» И далее, выступая против мистицизированного идеализма, они говорят: «Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание. При первом способе рассмотрения исходят из сознания, как если бы оно было живым индивидом; при втором, соответствующем действительной жизни, исходят из самих действительных живых индивидов и рассматривают сознание только как их сознание»¹.

Отправная точка, изложенная выше, может не удовлетворить тех философов, кто требует, чтобы все предпосылки имели высшую степень математической вероятности, но для тех, кто заинтересован в анализе и проверке результатов, а не в установлении аксиом, истинность которых остается без изменений в любых возможных условиях, подобные предпосылки раскроют загадки экономики, политики, права, религии и самой философии.

Далее, если одним из критериев подлинной философии считать тот факт, что она в состоянии не только объяснить свое происхождение, но и в состоянии корректировать себя, то трудно себе представить в этом качестве какую-либо историческую разновидность идеализма: субъективистскую, объективистскую или позитивистскую. Вполне очевидно, что научная философия или материализм — любым из двух названий можно пользоваться — объясняет не только свое происхождение на основе методов социальных наук, но также и то, как естественные науки все больше и больше расширяют наши познания о космосе.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 25.

Научная философия выступает и всегда выступала против идеализма и против модных его разновидностей настоящего времени, хотя старые формы идеализма изжили себя в связи с прогрессом науки, придерживающейся реальных научных взглядов на сознание¹. Появились новые формы идеализма, которые в принципе отрицательно сказываются на развитии человеческого познания, не говоря уже о течениях, открыто ему враждебных. К примеру, экзистенциализм рассматривает науку как искажающую или вульгаризирующую подлинный человеческий опыт². Ограниченность суждений, широкая метафизическая спекуляция и мрачный взгляд на мир служат своеобразным катализатором академического иррационализма, не имеющего себе равного в истории (Кьеркегор, Хайдеггер, Марсель, Сартр, Ясперс и др.).

Феноменология Гуссерля, будучи полезной в качестве дополнительного метода к объективным методам исследования естественных наук, рассматриваемая в качестве парадной двори философии опыта, делает попытки обоснования теоретических научных дисциплин, исходя из основ трансцендентального идеализма. Гуссерль использует картезианские схемы как отправную точку в философии. Несомненно, что категориальный аппарат Гуссерля более обширен и сложен, чем у Декарта в его «Размышлениях». Как и Декарт, Гуссерль заимствует у Августина понятие «внутренней истины»³. Но в отличие от эмпирического мира Декарта, в который он погружается, чтобы усовершенствовать свою механистическую космологию, Гуссерль остается философствующим нарциссом. Изучающий философию может спросить, способна ли феноменологическая философия стать обоснованной научной философией. На этот вопрос Гуссерль отвечает: «Что касается трансцендентально-феноменологического идеализма, мне абсолютно нечего добавить... я считал и считаю, что лю-

¹ Здесь более уместен термин Селларса «умственный процесс» (mentation). Сознание рассматривается как инструмент общественной жизни и культуры.

² Исследование социальных корней этой «болезни» дается Огюстом Корню. См.: «Bergsonianism and Existentialism», p. 151—168. In Marvin Farber ed. *Philosophic Thought in France and the United States*, Buffalo, University of Buffalo, 1950 (Albany, State University of New York Press, 1968).

³ См.: Edmund Husserl. *Cartesian Meditations*, trans. Dorion Cairns, The Hague, Martinus Nijhoff, 1960, p. 156—157.

бая форма современного философского реализма в принципе абсурдна и не каждая форма идеализма может быть противопоставлена этому реализму... Мышление, имеющее своим содержанием мир, науку и т. д. при понимании его как автономного и независимого, когда данные известны заранее и все существующее принимается без доказательств, оказывается неспособным выполнять свои функции»¹.

Если бы Гуссерль не принял без доказательств усматриваемость «сущностей», другими словами, если бы он смог обойтись без предположений, тогда не было бы феноменологической философии. И здесь из ничего не получается нечто. В отличие от феноменологии и экзистенциализма научная философия использует все возможности познания, проверяя на опыте «проникновение» в суть различных видов объективной реальности. Материализм по своей природе не замкнут в собственных постулатах, он не пытается отгородиться от научных революций.

Для натуралиста логика остается, по выражению Рассела, «сущностью философии». Логика, по мысли Аристотеля, общепринятый инструмент исследования. Это, безусловно, не значит, что современный натуралист понимает логику только как формальную, дедуктивную (как понимает ее Рассел). Наоборот, философ-исследователь считает, что, исходя из потребностей экспериментального исследования, логика также может быть изменена. Исследования могут проводиться на основе формального обусловленного подхода, они могут нуждаться в обобщении данных экспериментов (индуктивное исследование), или же для них необходим диалектический подход (исторические явления, острые социальные конфликты и определенные аспекты самого мышления). Как правило, логика выполняет функции *критического контроля исследования*, которое осуществляется посредством концепций разного рода (дедуктивных, индуктивных и диалектических их форм) и лишь в отдельных случаях ограничивается только формально логическими понятиями.

¹ Edmund Husserl. Author's Preface to the English Edition, Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology, tr W. R. Boyu Gibson, London; George Allen & Unwin, 1958, p. 10. Poleмику Гуссерля с натуралистической философией см.: «Philosophy as Rigorous Science». Contained in Husserl «Phenomenology and the Crisis of Philosophy», ed. & tr by Quentin Lauer/New York, Harper, 1965.

Важно иметь в виду, что логические понятия и категории не составляют обособленной области сами по себе. Они отражают строение мира и уровень воображения, свойственный человеку в определенный исторический период его развития¹. Понимая логику в самом широком ее значении как методологию², философы должны прояснить основные понятия, необходимые для разумного действия и научного понимания окружающего.

После периода произвольных философских спекуляций, часто антинаучного и идеалистического характера, которым отдали дань в юности и такие философы, как Бертран Рассел и Дж. Мур, они же стали основателями новой традиции в философии, где строгий аналитический подход, который односторонне ограничил мышление, стал самоцелью, а не лишь одним из моментов исследования. Эта близорукость в данное время (особенно в Англии и Америке) отгораживает философа от цели анализа, то есть лишает его возможности оперировать понятиями на различных уровнях конкретного опыта³. Философ-аналитик склонен избегать (вправе ли он делать это, будучи философом?) политических, экономических и религиозных проблем, «выяснять» эти проблемы, уклоняясь от споров, с ними связанных. Однако изучение и выяснение наиболее важных идей есть необходимое условие всех философских изысканий, это один из аспектов «начала» философского исследования, без которого не может ничего появиться на свет.

В борьбе с непроверенными и непроверяемыми философскими теориями средних веков и более ранних периодов развития философской мысли эмпирическая традиция Локка, Юма и других философов опирается на теорию познания как на первоначальную отправную точку,

¹ Cf. V. J. McGill and W. T. Parry. The Unity of Opposites: A Dialectical Principle. In: «Radical Currents in Contemporary Philosophy», Ed. by D. Degrood, D. Riepe, I. Somerville, St. Louis, 1971, pp. 183—206.

² См. аргументацию Дьюи в защиту тезиса о тождественности логики и методологии в его: «Logic: The Theory of Inquiry», New York, 1960, pp. 1—22.

³ Нельзя сказать, что Рассел ограничивался лишь анализом, он не поддерживал те искусственные ограничения, которые имели место у логических позитивистов и аналитиков. Рассел всегда требовал ясности мысли (порой чрезмерно упрощенной и ошибочной) в формировании политических взглядов, и по этой причине он часто обращался к метафизике.

философии. Такие философы, как Локк и Юм, находясь под огромным влиянием ньютоновской системы физики, попытались построить некую «ньютоновскую психологическую систему»¹ и в то же время не смогли в своем анализе «опыта» и «познания» избежать далеко идущих скептических выводов*. «Эпистемологический идеализм» является единственным примером результатов этого вида анализа, анализа, отражающего возрастающий социальный индивидуализм нашего времени.

Эмпирик начинает с тезиса о том, что чувственные данные являются единственно правильными и что все остальное должно быть подтверждено по возможности исходя из этих неизменных чувственных данных. Фактически он никогда не выходит за их пределы, за исключением случаев «логических построений». Он, следовательно, должен в конце концов прийти к отрицанию работы других эмпириков и ученых² (то есть к солипсизму); философствующий эмпирик отрицает плодотворность общей теории реальной действительности, которая помогла бы ему разобраться в чувственных данных. Каким бы ограничения ни ставил себе эмпирик, можно заметить, что лишь научное мировоззрение может дать основное содержание его эпистемологическим размышлениям. Поскольку научные гипотезы постоянно существуют, их необходимо подвергать интерсубъективной критике. Другими словами, метафизике должно быть предоставлено место в развитии проблемы эпистемологии. Может случиться, что в ходе исследования метафизика может быть видоизменена**. Нет основания для того, чтобы исследователь

¹ Подробный анализ этого развития см. John Herman Randall, В: «The Making of the Modern Mind», rev. ed. Cambridge, Houghton Mifflin, 1954, p. 261—271, 308—318.

* Использование идей Локка французскими философами Дидро, Гельвецием и Гольбахом привело к революционной традиции. Этот факт объясним тем, что материалистическая теория реального мира сосуществует с эпистемологической системой. У Юма эпистемология выступает против онтологии; отсюда первая ослабляла, а не укрепляла единство теории и практики.

² Эта мысль подчеркивается Лениным в его работе «Материализм и эмпириокритицизм», гл. 2, раздел 4.

** Те, кто считает термин «метафизика» одиозным, могут заменить его фразами «общая теория реального мира» или «результат позитивных наук, взятых как целое». Даже позитивист Герберт Фейгль допускает некоторые разновидности «значимой» метафизики. См. его: «Logical Empirism», p. 11—13. In: Readings in Philosophical analysis, New York, Appleton-Century-Crofts, 1949.

не мог критически видоизменить или отказаться от «сырых» или непроверенных данных. Философ должен всегда помнить, что он не так уж часто «подрывает» научные результаты и что идеи позитивных наук не могут находиться в стороне от его философских взглядов. Как сказал Ганс Рейхенбах: «Философские системы в лучшем случае отражают определенный этап научного познания своего времени...»¹. Это непреложный факт, о котором не нужно сожалеть и который требует от философии большей проблемности (tentativeness)².

Помимо заблуждения, в которое впали философы-эпистемологи, поверив, что они могут создать философскую систему без естественнонаучного содержания, в философии имеется и другое заблуждение, которое обычно формулируется в виде призыва к философам полностью отказаться от той конструктивной роли, которую они играли в истории мысли, ввиду того, что эту задачу теперь выполняет наука. Подобную точку зрения поддерживают позитивисты, и в их числе Рейхенбах. Он говорит о философских системах, «...что они не способствовали развитию науки»³. Эта точка зрения обрекает философов на полную пассивность в анализе научных идей и результатов. Конструктивные усилия философов, направленные на получение новых знаний, квалифицируются, согласно этому подходу, как бесполезные. Подобная точка зрения, если принять ее серьезно, фактически лишает философию ее цели. Известно, что Демокрит, Аристотель, Бэкон, Кант, Гегель, Маркс, Джемс и Дьюи не принимали эту пассивность. Вполне вероятно, что подобное пассивное отношение к научным идеям уместно в обществе, где индивиды не принимают участия или играют незначительную роль в формировании своей судьбы.

Стоит ли говорить также, что упование на метафизический анализ может иметь своим результатом отстранение философии от земных дел. Такие понятия, как «пара-трансцендентальность» (Оскар Беккер), «ничто» (Кьеркегор и Хайдеггер) и «бог», есть типичные образчики,

¹ Hans Reichenbach. *The Rise of Scientific Philosophy*, Berkeley, University of California Press, 1957, p. 117.

² В качестве примера, как быстро может быть осуществлен научно-философский синтез, см. нашу работу: «Haeckel's Theory of the Unity of Nature», Boston, Christopher, 1965.

³ Reichenbach. Там же.

порожденные метафизикой, «свободной» от критического исследования, то есть не контролируемого логикой. Подобные патологические дополнения к различным философским течениям связаны с неспособностью людей в тот или иной конкретно-исторический период удовлетворить свои реальные потребности.

Для специальных целей философы могут придерживаться любых отправных точек, но результаты их исследований должны критически оцениваться в свете развития различных наук и логических категорий. Если выдвигается какая-либо точка зрения, она не только должна соответствовать определенным требованиям, части которых мы коснулись выше, но и должна уметь объяснить себя. Если такой подход к оценке философских идей кем-либо отвергается, то мы должны в таком случае напомнить тому, кто его отвергает, что беспредпосылочного способа философствования не существует: из ничего не получится нечто...

На настоящем этапе исторического развития необходимы новые усилия в конструктивной философской деятельности. И если задача философов сегодня состоит в том, чтобы помогать изменять мир, то они должны быть способны правильно понимать эту задачу.

УМСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК МАТЕРИАЛЬНАЯ СИЛА

Говард Парсонс

При определении значения слова разум (mind) мы сталкиваемся с тремя терминологическими проблемами: 1) mind иногда означает логические или вычислительные операции в голове человека. Кроме этого, слово «разум» имеет и несколько иное значение, связанное с чувственными рецепторами, вводом и хранением информации, ответной реакцией организма на окружающую его среду и т. п. вещами; 2) mind в рационалистической традиционной философии означает «сознание или ясные и отличимые идеи, сконцентрированные в акте внимания». Это значение, однако, исключает из рассмотрения работу «несознающего разума», то есть деятельность, протекающую глубже уровня осознанного внимания и влияющую на него. В то же время известно, что головной мозг, включенный в организм, получает информацию не только от окружения, но и от внутренних органов. 3) Сами термины «разум» (mind), «тело» (body) невольно заставляют нас искать отдельные субстанциальные сущности и мешают пониманию мыслительной деятельности, которая не является идентичной с телом, но и неотделима от него. В ряде случаев говорят о «мыслящем теле», однако человек — это единый психосоматический процесс, для которого и «разум», и «тело» есть не что иное, как абстрактные способы описания разных его сторон.

Все, кто пытался дать определение разума, руководствовались при этом вполне материальными интересами. На закате рабовладельческого общества Древнего Рима Лук-

реций утверждал роль материального в борьбе с суеверным мировоззрением распадающейся империи. Однако он кончил отрицанием возможности разума изменить ход истории. Гегель, выразитель взглядов нарождающейся буржуазии, преувеличивал силу разума, выводя ее за пределы всяких материальных возможностей и границ. Дуалисты, как, например, Платон, Фома Аквинский и Декарт, осознавали разницу между разумом и теми формами материи, которые ему противопоставлялись. При этом главным их мотивом было обосновать естественность разделения труда между угнетенными трудящимися, имеющими дело с вещами природы, и «одухотворенными» людьми, то есть теми, кто мог читать, писать, произносить речи и править другими людьми. Современное определение разума как «процесса, совершающегося в голове и определяющего высшие уровни организации поведения»¹, также имеет классовое происхождение и классовую целенаправленность. Приведенное определение исторически восходит к временам развития физических наук в XVII и XVIII столетиях с их критикой ментализма и к периоду подъема капитализма, сменившего феодализм. Капиталисты требовали отмены ограничений феодальной экономики, свободы мышления и свободы предпринимательской деятельности. Для обоснования правомерности господства капиталистов над трудящимися своей страны и колоний мыслители того времени создали идеологию индивидуализма и крайней разобщенности людей друг от друга и от природы. Так, хотя Гоббс и доказывал, что люди, как и другие вещи в природе, представляют собой единое целое и равны между собой, его представление о человеке включало в себя в качестве существенного элемента борьбу между индивидами, войну наций и борьбу людей с природой. Подобное представление соответствовало облику предприимчивого капиталиста, эксплуатирующего землю и море, грабящего наемных рабочих и порабащивающего африканские народы. Трактовка разума с позиций современного позитивизма, экзистенциализма и феноменализма, не представляя собой воинствующей философии капитализма, все же оказывает ему большую поддержку своим пассивным, «нейтральным» объяснением

¹ Donald Olding Hebb. A Textbook of Psychology. Philadelphia and London, W. B. Saunders Co., 1958, p. 3.

состояний, действий, слов, выделенных и изолированных от объективного мира. Эти философские системы не что иное, как лебединая песня умирающего капитализма.

Иное решение проблемы соотношения разума и тела как идеологической формы классовой проблемы побуждают нас искать следующие два соображения. Первое — практического порядка. В последней половине нашего века одна треть всего человечества вступила на путь социализма, и, помимо этого, во многих местах земного шара приобретает все больший размах национально-освободительное движение. Все больше и больше люди убеждаются в том, что деятельность разума определяется материальными условиями жизни, а последние могут быть изменены только под руководством мысли, что правящий класс имеет власть над их душой и телом, что новые научные и технические знания, достигнутые с помощью человеческого разума, не могут быть собственностью господствующего класса, используемой в целях своего обогащения и эксплуатации народа, что эти знания могут и должны быть использованы на благо всех людей и что единственный путь объединения людей, отчужденных физически и духовно, — построение бесклассового общества.

Второе соображение — научного характера. В результате последних достижений науки и связанной с ними второй промышленной революции, названной Сноу научной революцией¹, были достигнуты большие успехи в конструировании машин-автоматов, таких, как компьютеры. По своей конструкции компьютеры состоят из устройств ввода и вывода, арифметического и управляющего блоков, блока памяти и программного устройства. Компьютеры взаимодействуют с окружением, обмениваясь с ним информацией, и используются для выполнения самых различных заданий: постановка задач, планирование, проверка гипотез, сравнение и оценка данных, выявление аналогий, короче говоря — они выполняют функции разума: думают. Тот факт, что машина думает, не означает, что человек, который также думает, есть такая же мыслящая машина, ибо человек — *животное*, наделенное разумом, а животное, несмотря на все его сходство с машиной, никогда ей не тождественно. Физика в форме кибернетики раскрыла те стороны структуры и процесса мыш-

¹ См.: Ч. П. Сноу. Две культуры. М., 1973, стр. 39.

ления, которые могут быть воссозданы саморегулируемыми машинами, обрабатывающими информацию.

Кроме того, экспериментальные исследования в области фармакологии и нейрофизиологии вскрыли физико-химическую основу умственной деятельности — восприятия, воображения, памяти, умозаключения, обучения, психических заболеваний и т. д. Так, например, была установлена связь между процессом закрепления в памяти усвоенного материала и образованием протеина в мозгу¹. Известно также, например, что молекулы сетчатки глаза ($C_{20}H_{28}O$) (моллюсков, членистоногих и позвоночных) при попадании на них определенного количества квантов света изменяют свою конфигурацию, активируя весь механизм зрения².

Деятельность человеческого разума есть деятельность материального тела, прошедшего развитие от начала образования Земли 4,5 миллиарда лет назад и превратившегося в живую материю 3,5 миллиарда лет тому назад, в форму млекопитающих животных — 200 млн. лет назад, в приматов — 60 млн. лет назад, в прямоходящую человекообразную обезьяну — 30 млн. лет назад и в человека — примерно около 1 млн. лет назад. Отметим лишь основные вехи эволюционного развития человека, как-то: жизнь на деревьях, увеличение размеров тела и продолжительности жизни; увеличение имеющейся в его распоряжении энергии; развитие руки и мускульно-глазной координации; увеличение размеров мозга; координация движений; развитие осязания, слуха, бинокулярного цветового и детализированного зрения; появление потомства в течение всего года; общинная жизнь; забота друг о друге; изменение формы и выражения лица; развитие речи, общения; переход на наземный образ жизни, к вертикальному положению тела, умение быстро бегать, занятие охотой, появление моногамной семьи, забота о детях, кооперация, развитие голосового аппарата; скачок развития мозга, усложнение эмоций; появление каменных орудий и добывание огня. Все эти изменения постепенно накапливались и достигли своей вершины

¹ Bernard W. Agranoff. Memory and Protein Synthesis, «Scientific American», vol. 216, № 6 (June, 1967), p. 115.

² Ruth Hubbard and Allen Kropf. Molecular Isomers in Vision, «Scientific American», vol. 216, № 6 (June 1967), p. 64.

у единственного существа, которое мы называем «разумным» (Intelligent), но лишь эгоизм или невежество смогут отрицать наличие разумной деятельности у наших далеких предков.

Мы рассматриваем деятельность разума как материальную силу, возникающую в материальном окружении, обусловленную им и оказывающую на него свое влияние. Деятельность разума — это человеческая телесная деятельность, характеризующаяся: 1) ощущением и реакцией, 2) оценкой и целенаправленностью, 3) связностью, повизной. В дальнейшем мы поочередно рассмотрим все эти характеристики. Деятельность разума не ограничена работой мозга, глаз, мускулов, сердца, внутренних органов или голосовых связок. Человеческое тело работает как единое целое, используя функционирование всех органов, другими словами, мыслит все тело, ибо любое нарушение функций какого-либо органа сказывается на умственной деятельности. Умственная деятельность — это работа органов чувств всего организма и его опосредованная реакция на деятельность других организмов, взаимосвязь и сотрудничество с ними в целях сохранения индивидуальных и социальных ценностей.

Исходная точка этого определения двоякого рода. Первое: мыслящее тело человека эволюционировало в биосоциально-экологическом плане, он часть, взаимодействующая с более обширной системой. Второе: жизнедеятельность человека зависит от обеспечения правильных отношений с этой системой, умственная деятельность человека является неотъемлемой частью как его самого, так и всей системы природы. Поэтому разрешить проблемы войны и мира, народонаселения, бедности, загрязнения окружающей среды и цели своего собственного существования человек сможет, только если он будет действовать на основе разума.

I

«Все вещи обладают мудростью и определенной долей разумности», — сказал Эмпедокл. Догадка Дидро, что материя наделена потенциальной способностью к ощущению ((самый элементарный вид познания), была подтверждена наблюдениями и опытами, доказывающими материальное происхождение и материальный характер всех живых

форм. За исключением вирусов и некоторых других форм, все организмы, начиная с бактерий, состоят из определенных молекулярных строительных блоков: ядерной молекулы ДНК, цитоплазмы, молекулы РНК, протеина. Молекулы ДНК «знают», как себя копировать, и, оказываясь в благоприятной среде, где для них имеется соответствующее питание, температура, кислород и т. д., они «знают», как произвести дифференцированную, целостную группу клеток (100 млрд. клеток у человека). Ядро отдельной клетки человека содержит закодированную информацию в 340 млн. «слов», равную 1000 печатных томов¹.

О «мудрости организма» можно сказать еще больше. Гомеостатические (с отрицательной обратной связью) системы сохраняют внутреннее равновесие в организме. Организм сам информирует себя о своих потребностях и обращается к внешней среде: все мы знаем, когда мы голодны, испытываем чувство жажды или усталости. Высокоразвитые структуры (упомянутые выше) приспособливают организм к выживанию. Вся система организма функционирует диалектически в универсуме диалектических процессов². Организм и окружающая среда, инстинкт и приобретенные знания (априорные и эмпирические, общие и частные) видоизменяют друг друга. Старая философская загадка о том, как разум может познать материю, разрешается следующим образом: умственная деятельность — это материальный процесс развивающихся структур, посредством которых разум координирует формы своей деятельности с формами деятельности внешнего мира. И было бы крайне трудно дать другое объяснение громадным успехам человека, вспоминающего, предсказывающего, контролирующего и использующего самые разнообразные природные структуры.

¹ George W. Beadle. The New Genetics: The Threads of Life. Britannica Book of the Year 1964. Chicago, Encyclopaedia Britannica, Inc., 1964, p. 57.

² Основы диалектического и материалистического анализа мышления человека даны в «Тезисах о Фейербахе» Маркса и «Философских тетрадах» Ленина. Энгельс дал определение мышления как «функции мозга» («Развитие социализма от утопии к науке»). У Ленина имеется аналогичное определение («Материализм и эмпириокритицизм»). Для Маркса, Энгельса и Ленина мозг находится в нервной системе, нервная система — в организме, организм — в обществе и природе; мозг функционирует всегда диалектически.

Все разнообразные формы и уровни материи обладают непрерывностью существования в пространстве и времени, и мы можем проследить зачатки умственной деятельности на примере поведения простейших организмов. В ходе эволюции материи у неорганических ее форм развились определенные признаки чувствительности (притяжение и отталкивание субатомных частиц, атомная валентность, молекулярная связь): низшие организмы обладают уже целенаправленной чувствительностью, а у высших организмов ко всему этому добавляется способность к символизации. В. Торп указывал на склонность животных к перцептивному исследованию своего окружения¹. Джадсон Херрик отмечает целенаправленную деятельность, присущую всем живым организмам². Даже на уровне простейших организмов имеют место слабо различимые признаки целенаправленной активности и обучаемости³. Весьма развитой системой инстинктивных званий обладают насекомые. Имеются различные формы общения у птиц и приматов, причем последние обладают зачатками трудоподобной деятельности. Человек как результат эволюции обладает, хотя и в модифицированной форме, всеми этими качествами: чувствительностью, инстинктами, целенаправленной деятельностью и коммуникативной способностью. Но в дополнение ко всему этому он имеет мозг большого объема, высокоразвитую нервную систему, голосовой механизм и руки, которые помогли создать социально значимую систему знаков, что сделало мозг человека уникальным⁴. Произвольно ограничивая значение понятия «умственная деятельность» обществен-

¹ «Learning and Instinct in Animals», Cambridge, Harvard University Press, 1956.

² «A Biological Survey of Integrative Levels», в: «Philosophy for the Future». Edited by Roy Wood Sellars, V. McGill, Marvin Farber, New York, The Macmillan Co., 1949, p. 222—242.

³ W. E. Agar. A Contribution to the Theory of the Living Organism. New York, Oxford University Press, 1943; H. S. Jennings. Behavior of the Lower Organisms. New York, Columbia University Press, 1906; Ralph Lillie. General Biology and the Philosophy of Organisms. Chicago, University of Chicago Press, 1945. См. также: Charles Hartshorne. Panpsychism в: «A History of Philosophical Systems», ed. Vergilius Ferm. New York, The Philosophical Library, 1950, p. 442—453.

⁴ D. O. Hebb. The Problem of Consciousness and Introspection, in Brain Mechanisms and Consciousness. Edited by J. F. Delabre-naye. Springfield. Illinois, Charles Thomas, 1955.

ной, языковой, телесной активностью человека, мы все же не должны забывать о древних и стабильных формах чувственного познания, приводящих в движение «высший» разум человека. Человек появился сравнительно поздно на эволюционной сцене, являясь, так сказать, оркестровым воплощением вариаций на предшествующие темы. Человек считает, что он «думает» как сознательный, свободный и неповторимый индивид, однако основная часть его мыслительной деятельности — это бессознательный детерминированный процесс, свойственный человеку, как родовому существу, процесс, осуществляемый посредством высокоинтегрированной молекулярной активности его организма, включенного в определенный социальный и экологический контекст. Сознательные и управляемые мозговые процессы либо раскрепощают, либо тормозят более глубокие уровни активности. Мыслительная деятельность является функционированием индивидуального организма, однако мыслительный процесс в целом — это деятельность всего человеческого вида, взаимодействующего с природой.

Мышление — деятельность живой материи, то есть материи особо организованной. Оно предполагает такую степень чувствительности и ответной реакции на воздействие внешнего мира, которой не обладают менее развитые формы активности. Мышление возникает на основе определенной субстратной активности материи; эта активность представляет собой особое сочетание изменчивости и постоянства. Таким субстратом служит протоплазма, которой присуща раздражимость. Протоплазма перемещается под влиянием механических, химических, электрических и других раздражителей. Она переходит в организме с одного места на другое через цитоплазматические мосты или специальные нервные проводники. Способность к внутреннему перемещению, вызываемому раздражителями с поверхности организма, можно назвать чувственной восприимчивостью. Способность к внешнему перемещению можно назвать ответной реакцией.

Это двойственное движение, довольно понятное у сравнительно больших одноклеточных организмов, а также и у высших животных, аналогично процессу обмена веществ, называемому метаболизмом. Подобно метаболизму, это движение сохраняет в равновесии деятельность организма в условиях изменяющейся окружающей

среды. Благодаря способности к восприятию организм улавливает изменения внешней среды, происходящие или на его поверхности, или на каком-либо расстоянии от него, в связи с чем в организме возникает ответная реакция. По аналогии с нашим собственным поведением мы можем предположить, что любой организм активируется воздействиями на свои рецепторы и последующей результирующей реакцией. Фиксацию или просто ощущение этого процесса называют стимулом. Именно таким образом реализуется восприимчивость: воздействие как организмический способ изменения. Так, например, *Paramecium** реагирует на свет, делая попытки найти оптимальное положение своего тела по отношению к источнику света. Подобная настройка на окружение лежит в основе знаковой деятельности и у человека. Когда на основе механизма стимул — реакция ассоциативная обусловленность знака будет зафиксирована, то временной и пространственный миры начинают восприниматься через их посредство. Когда знаки-заменители (например, звуки) воспроизводятся живым существом и выполняют социальные функции, возникает система символов, то есть разум в человеческом смысле¹. Чтобы правильно реагировать, а следовательно, и приспособиться к внешней среде, живой организм должен каким-либо образом регистрировать информацию об изменениях этой среды. Протоплазма обладает общей такой способностью, которая постепенно дифференцируется по мере развития специализации различных чувственных рецепторов. Таким образом живые организмы «поддерживают связь» с внешней средой и информация передается в центры памяти и обработки для дальнейшего ее использования. Лукреций утверждал, что стоит нам коснуться какого-нибудь предмета, как наше тело получает определенные познания о мире. Это исходный пункт всего организмического процесса познания. Чувствительность разных биологических видов эволюционировала в соответствующем окружении так, что существующие сегодня гештальты, рефлексy и инстинктивные реакции есть итог очень длительного процесса

* *Paramecium* — род простейших пресноводных животных.

¹ О различии между знаками и символами см.: Charles Morris. *Signs, Language and Behaviour*. New York, Prentice Hall Inc., 1946.

приспособления и настройки. Тенденция к индуктивным обобщениям, структурирование прошлых явлений и проектирование этих структур в будущее, зачатки дедуктивного вывода — все это в качестве навыков было приобретено живыми организмами в результате взаимодействия с внешней средой за период свыше 3,5 млрд. лет.

У высших позвоночных животных эмоции обладают весьма важной ролью в целенаправленной деятельности организма. Они стоят между стимул-объектом и ответной реакцией, являясь своеобразным посредником между ними, определяя значимость предмета и характер ответной реакции. Эмоции, по выражению Кеннона, подготавливают живой организм к борьбе или к отступлению¹. У животных, обладающих элементами рассудочной деятельности, эмоции лежат в основе осмысленной ответной реакции, выполняя роль знаков или же побуждая организм использовать знаки как один из способов связи с внешней средой, о которой организм получил информацию наиболее прямым путем, а именно через чувства.

Различия между живой и неживой материей, являясь количественными, производят в итоге эффект качественного различия. Диапазон и разнообразие стимулов, воспринимаемых живым организмом, и его реакции на них значительно шире, чем у неживой материи. Протоплазма исключительно подвижна в своей реакции на относительно слабые раздражения. Она обладает пластичностью и изменчивостью. В биологических процессах, связанных с ощущением, организм высвобождает энергии непропорционально больше по сравнению с энергией раздражителя.

Живая материя обладает определенной гибкостью и изменчивостью. Она сопротивляется разрушающему внешнему воздействию, как и неживая материя, но в отличие от последней она делает это, поглощая эти влияния и компенсируя их. Соответственно секрет успешной деятельности организма, наделенного разумом, заключается в следовании закону: «Только тот, кто сражается и умеет отступать, будет сражаться и завтра». Успех мыслящего организма объясняется его умением вовремя выйти из борьбы, учитывая стратегическое использование всех

¹ См. также: Ч. Дарвин. Выражение эмоций у человека и животных. — Соч., т. 5, М., 1953.

своих сил. Умственная деятельность — это движение. Это способность видеть то, что находится за пределами настоящего или данного, это отбор определенных аспектов внешнего мира, осуществляемый на основе выбора из всех возможных или вновь возникших ответных реакций. «Выбор» на данном уровне развития живой материи определяется степенью вероятности ответной реакции на данный раздражитель. Например, вероятность той или иной реакции амебы (двигаться вперед или назад) на присутствие железной проволоки ниже, чем вероятность реакции этой проволоки на магнит. Мыслительная деятельность расширяет эту способность к выбору, более того, она продуцирует элементы самовоспроизводящихся символов. Можно сказать, что жизненные процессы направляются символическими процессами.

Материя не есть лишь нечто косное, стоящее на пути жизненных процессов, направляемых символами. Между материальными и духовными процессами нет разрыва, а имеется континуум, посредством чего немыслящая материя связана с мыслящей материей. Как это возможно? Материалист объяснит эту связь возможностью передачи энергии; идеалист — передачей формы или идеи, а сторонник витализма — вектором ощущений (Уайтхед). Но все будут согласны, что то, что мы называем разумом и материей, имеет нечто общее в данном процессе. Разум человека, наблюдающего за снежной вьюгой, безусловно отличается от разума человека, видящего горячий песок пустыни. Содержание их восприятия, чувственные данные различны. Различие проистекает из того факта, что мыслительная деятельность определенным образом связана с чувствительной материальной средой, в которой записывается воздействие материальных тел и сил, влияющих на нее в виде качеств, форм и отношения. Утверждение Лукреция (а до него Демокрита), что разум есть очень тонкая материя, предвосхитило то, что нам только сейчас стало известно о материальной основе остроты и точности реакции нервной системы. Разум в своей деятельности обладает способностью выделять тончайшие и малоуловимые черты материального мира. Умственная деятельность — это материальная сила, и в качестве таковой она существует в мире других материальных сил, но верно и обратное. Иными словами, мысленные и материальные силы взаимопроникают друг в друга.

Каким же образом материя пересекается с разумом? Этот традиционный философский вопрос в своей постановке фальсифицирует факты, исключая возможности правильного ответа. Он отражает эгоистическую веру человека, преувеличивающего отличие своего разума от объективно существующей материи. Умственная деятельность появляется там, где есть жизнь, и включает в себя события, связанные как с живым, так и неживым. И наоборот, немыслящая материя входит в структуру умственной деятельности, предоставляя, по словам Локка, материал для мышления¹. По мнению Джемса, вещь, рассматриваемая в качестве материальной в одном ряду событий, будет иметь духовный характер в другом ряду, и, таким образом, она может иметь две стороны², что предполагает ошибочность отделения мысленного от физического (внешнего) и органического (внутреннего). На вопрос Беркли, как внешние предметы действуют на разум, можно дать следующий ответ, но не в духе Беркли: умственная деятельность есть одно из явлений природы, сосуществующее с другими явлениями природы, и умственная деятельность есть деятельность отдельного организма, который находится в неразрывной связи с другими организмами, обладающими разумом или не имеющими такового, и па которые он оказывает воздействие, и в свою очередь они воздействуют на него.

Но если мы исходим из непрерывности между мыслящей материей и не «столь мыслящей материей», то каким образом разум устанавливает тот вид связи с материей, который мы называем познанием. Мы осознаем поток наших ощущений³ непосредственно. И если якобы существует такая вещь, которая не может никак быть конкретизирована или материализована для нас таким способом, то мы имеем право сомневаться в ее осуществлении. С феноменологической точки зрения материя познается на основе придания структуры восприятиям, восприятиям, согласно Беркли, первичных и вторичных качеств. Но материя не только восприятие, это то, что может производить

¹ «An Essay Concerning Human Understanding», Book II, 1, 2.

² Lecture I, «Does Consciousness Exist?», Essays in Radical Empiricism, New York, Longmans, Green and Co., 1912.

³ «Pragmatism». New York, Longmans, Green and Co., 1907, p. 244.

или производит наши ощущения, это внешний источник перцептивных элементов, представленных в опыте. Материальный предмет — вот что запечатлевается в наших органах чувств. Последний, подобно человеку, производящему на нас впечатление, имеет свой «характер» и «субстанцию». Влияние предметов материального мира на наши органы чувств не ограничивается лишь тем, что они воздействуют на нас посредством цвета, звука, запаха и т. д. Научные данные свидетельствуют о том, что огромное количество импульсов постоянно поступает в человеческий организм, и, не будучи идентифицированы в качестве ощущений, таких, как цвет или звук, они тем не менее воздействуют на умственную деятельность человека. Длительное пребывание на солнце может вызвать потерю сознания, определенные виды пищи и виды излучения могут быть причиной нарушения работы мозга. Всем нам приходилось использовать все наши знания и проницательность, чтобы получить информацию от людей или предметов более обширную, чем та, которую мы получили от них посредством слуха и зрения. Организм обладает способностью ощущать импульсы окружающей среды.

Хотя материя вне нас не противится активно нашим мысленным устремлениям, она оказывает пассивное сопротивление нашим попыткам приблизиться к ней. С другой стороны, она предоставляет нам фактические данные о себе, которые, однако, редко бывают определенными и однозначными. Это и подарок, но это и требование. То, что от нас требуется, — это размышление, решение, действие. Для живого организма недостаточно лишь находиться в определенном месте и ощущать — он должен еще что-то делать. К этому его побуждают внутренние потребности: ощущение голода, защитная реакция, стремление к общению с себе подобными. Таким образом, материя вне нас не есть лишь фактические непосредственные данные, а данные, обнаруживаемые нами посредством мышления. Подобно материи, из которой состоит наше тело и мозг, материя вне нас приносит нам пользу, и поддерживает нашу жизнь: мы дышим воздухом, пьем воду, едим пищу, наслаждаемся красками, формами и звуками. Но в то же время эта материя враждебна нам: она угрожает, делает нас больными и лишает нас жизни. В силу этого наше тело, наделенное разумом, должно ис-

пользовать все свои материальные силы в борьбе с внешней средой; оно должно выбрать между добром и злом, действуя так, чтобы и оно, и его потомство могли выжить.

II

Деятельность человеческого разума — оценочная деятельность. Думать — значит наблюдать, обращать внимание, заниматься чем-либо, проявлять заботу, иметь в виду, принимать меры, то есть выражать предпочтение и делать это посредством знаков или значений в действии. Иметь в виду — это значит с особым вниманием наблюдать, выделять в воспринимаемом то, что имеет отношение к нашим целям, то есть быть ориентированным к вещам. Мышление без выделения важного — рутинное мышление, и мы в подобном случае легко ошибаемся при анализе и оценке восприятий. Мышление, не обладающее оценочной способностью, до известной степени неполноценное мышление. Человек с таким мышлением упускает из виду свое дело, у него нет внимания, потому что он не имеет ориентирующей его шкалы оценок. Мыслить — это значит быть вовлеченным в символическую деятельность с целью получения, закрепления или увеличения того, что рассматривается в качестве значимого или ценного для человека. Умственная деятельность — это выделение и объяснение ценностных данных. Умственная деятельность человека помогает отбору ценностей (valuing) с точки зрения будущей перспективы. Размышлять над чем-либо — значит воспринимать это как знак чего-либо другого, а также производить знаки и связывать их между собой определенным образом. Организм со слабо развитым мышлением ограничен в своих ответных реакциях на воздействие внешней среды. Он склонен в значительной мере подчиняться внешней среде. Разум в своем отклике на окружение предвидит множество различных вариантов, которые могут вытекать из того, с чем непосредственно сталкивается сейчас организм. Более того, разум, реконструируя среду, создает новые возможности. Размышлять о предмете — это значит не только видеть его таким, какой он есть в данный момент, но и таким, каким он будет впоследствии. И это можно предвидеть с помощью воображения. В случае человека предвидимые последствия

обозначаются самовоспроизводящимися знаками, аккумулярующими ранее накопленный символизированный опыт, который имеет непосредственное отношение к данной ситуации. Для того чтобы разум откликнулся, предмет может иметь непосредственную ценность или не иметь таковой, но главное — способность предмета к производству ценностей или следствий, которые могут представлять ценность. Поэтому любая вещь для разума не является чем-то непосредственно данным. Это непосредственно воспринимаемое плюс другие возможные восприятия, а также все возможные ценности, продуцирующиеся в результате различной деятельности. Размышлять над вещью — значит рассматривать, какие из ее потенциальных свойств могут быть актуализированы, и оценить, какие из них могут быть полезными, а какие нет.

Оценочная деятельность предполагает наличие у разума направленности и целеустремленности. Думать — значит стремиться к цели или какому-либо результату. Умственная деятельность — это предвидение в предмете ценностных качеств на основании определенных его признаков. Имеющееся в уме — образы, фантазии — относится к тому, что в данный момент физически никак не представлено. Что есть в уме, оказывается символом отсутствующих вещей, которые ориентируют наличное поведение согласно тому, что уже оценено и отображено ранее.

Умственная деятельность целенаправленна, и организм, где она возникает, является творением, которое оценивает. Его оценки — это то, в чем он нуждается, в чем испытывает потребность. Например, он не может самостоятельно восполнять себя энергией. Его материальная система открыта и динамична, и он получает для себя энергию извне, иначе он прекратит свое существование. В силу этого организм повсюду ищет источники энергии. Целенаправленная деятельность организма увеличивает его шансы получения энергии, а вместе с этим и существования. Короче говоря, организм движим импульсами к жизни. Эту же мысль в менее операциональных терминах можно выразить, сказав, что организм обладает волей жить, осуществляя тем самым себя. Разум служит орудием в достижении этой цели. И когда он не выполняет этой функции, его с полным правом можно назвать недо-

развитым, закрепощенным, расстроеным или умирающим.

Организм представляет собой систему биологических процессов и, являясь частью природы, подвержен всякого рода воздействиям с ее стороны, но он также способен подчинять природу для удовлетворения своих потребностей. Он находится между разными сферами. Он не субстанция, он изменение, переход. Он существует между двумя мирами — миром прошлого и миром будущего, миром ставшим и миром, который станет. Органической материи внутренне присуща способность к мыслительной деятельности как избирательному и оценочному процессу. Она не берет вещи изначально данными, а изменяет и преобразует их в соответствии со своей природой и потребностями. И исходя из этого, органическая материя действует так, чтобы сохранить определенные состояния вещей и не препятствовать изменениям других.

Мыслящий организм непрерывно воссоздает свое собственное состояние путем воссоздания своего материального мира. Идеи возникают тогда, когда в этом процессе организм наталкивается на явления и предметы природы, сопротивление которых он не в состоянии преодолеть. Идеи отражают блокированное действие. Размышление, осуществляемое в символах, — это мир событий, отражающих самих себя и отражаемых на себя. Идея — заявка на действие, средство возможного выхода из положения. Она — сфокусированный продукт мышления и способ действия. Умственная деятельность в ее тотальности является образом жизненных процессов, формируемым посредством символов и с помощью особого вида деятельности, в которой вещи соотносятся друг с другом таким образом, чтобы открылся путь к новым вещам. Мышление — способ преодоления препятствий в борьбе за существование и господство над предметами материального мира. В конечном итоге объектом мышления является то совершенное положение вещей, при котором жизненный процесс может продолжаться, но объект мышления — это и тот барьер, препятствие внешнего мира, которое, противодействуя целям организма, порождает идеи.

Материя в обыкновенном смысле есть то, что противоборствует активности разума, это вещь (Gegenstand), которая сопротивляется и противостоит другим вещам. Материя является или тем, что физики раньше называли

субстанцией, а теперь массой (инерция или энергия), или тем, что обладает способностью совершать работу. Она — вещество, субстрат, лежащий в основе качеств и форм. Материя не только оказывает сопротивление тому, что мешает ее активности, она сама является источником причинного действия. Последнее можно определить как то, что производит различия в окружающей среде. Знать, что вещь создает различия, — значит знать, что эта вещь материя. Принимая такую концепцию материи, мы приходим к выводу, что материя есть то, что *есть*. Она включает в себя весь *реальный* мир или определенную его часть. Материя, какой бы она ни была, соответствует «внешнему постоянству»¹, которое Пирс считал объектом науки и единственным основанием обсуждения научных проблем. И если критерий реальности внешнего мира означает также, что материя независима от нашего мышления², то с этим нельзя не согласиться. Материальная вещь противопоставляется другим материальным вещам, так и нашим собственным субъективным намерениям. Материальный предмет есть нечто материализованное или материализующееся, это особая форма энергии, либо вещи, либо процесса, и его материальность — это его специфическое и измеримое влияние (на другие вещи).

Если умственная деятельность — средство достижения жизненно важных целей организма, биологических или психобиологических, тогда внешний мир есть средство для разума. То, что не имеет формы, будучи потенциальным и пассивным (*hylê*)*, приобретает свою форму и реализуется в результате деятельности обладающего разумом организма. Материя вне нас выступает как мыслимый разумом символ восприятий опыта, содержание суждений, материал для обработки и организации разумным организмом, преследующим цель воплотить имеющиеся у него идеальные формы в материальные вещи. Материя предоставляет материал для мышления, опыт является ее материализацией в нас. С другой стороны, материя вне нас является пластичной средой, дающей возможность

¹ «Collected Papers of Charles Sanders Peirce», p. 384. Edited by Charles Hartshorne and Paul Weiss, Cambridge, Harvard University Press, 1931—1935.

² Ibid., p. 405.

* *Hylê* (древнегреч.) — материя. — Прим. ред.

выразить мысленные цели. Декарт считал ее единственным способом, посредством которого осуществляется деятельность мышления. Аристотель считал ее пассивной и неопределенной. В буквальном смысле мнение Аристотеля ошибочно, и если бы последний был лучше знаком с экспериментальной физикой, то он, вероятно, изменил бы свою точку зрения на материю. Тем не менее материя вне нас до известной степени податлива в отношении мысленных сил нашего тела. Творения человеческой культуры, процесс преобразования природы под углом человеческих целей свидетельствуют об этом.

Так что умственная деятельность является суверенной материальной силой, стоящей выше других материальных вещей и подчиняющей их своим требованиям. Умственная деятельность как материальная сила обладает в той же мере «внешним постоянством», как, например, камень или звезда. Когда Маркс и Энгельс поняли объективность и материальность умственной деятельности, человеческая история стала научно обоснованной. Если умственную деятельность рассматривать как субъективный процесс, то вся история становится чем-то иллюзорным или таинственным, ибо ее толкование ведется с нематериальной, то есть фантастической точки зрения.

Объективно существующая материя и есть то, к чему относится умственная деятельность. Она *terminus ad quem* *. Мы должны думать о материи, если хотим что-либо сделать с ней. Существует воззрение, по которому объектом нашего мышления является не материя, а идеи. Это полуправда. Только в особых, сравнительно редких случаях мы думаем исключительно об идеях, как, например, в логике или грамматике, где предмет рассмотрения представлен идеями, которыми пользуется человек в процессе умозаключения или в процессе познания. Дедукция оказывается наиболее эффективной при исследовании реально существующих предметов и явлений, где она и берет свое начало. В любом случае мы думаем, прибегая к помощи общих идей; идеи — способ осуществления нашего мышления. Содержание мышления — жесткие факты, отношения, связи, условия, которые дают основание исследованию и в терминах которых это исследование должно завершаться. В голове думающего существа содержатся не

* *Terminus ad quem* (лат.) — конечная точка. — *Прим. перев.*

только указания на знаковое поведение, но также на то, что «дает возможность осуществления ответных реакций в определенной последовательности»¹ в соответствии со значением определенного знака. Коротче говоря, у него в голове есть то, что может удовлетворить его потребности. Когда человек хочет писать и у него сломался карандаш, он думает о том (если он вообще думает), каким образом устранить возникшую трудность, а также о том, как возобновить прерванную деятельность. Мысли, возникшие в связи с этим, должны быть сконцентрированы в направлении достижения конечной цели, а именно достижения такого состояния вещей, при котором цели становятся осуществимыми. В конечном итоге человек манипулирует не своими мысленными представлениями, а вещами, благодаря которым и возникли как эти представления, так и определенные отношения между ними. Этими манипуляциями он руководствуется в умозаключении, ведущем его от одного представления к другому, к действию на вещи. Материальный объект — это то, что фактически дифференцирует наш опыт и содержание умозаключений или же может это сделать. Цель изучения внешних объектов разумом не есть лишь удовлетворение его интересов, но и выявление свойств изучаемых материальных предметов. Если разум не в состоянии сделать это, то он не соответствует своему назначению и его можно пазвать ненормальным, ненормальным не с точки зрения состояния психики человека, а с точки зрения того, что разум есть орудие существования, жизни и его функции — объяснение вещей, их свойств и отношений, а также использование этих данных в соответствии со своими потребностями.

III

Будучи целенаправленным, организм, обладающий разумом, активно стремится узнать новое, изменить существующее. Он должен быть чутким к окружению, подвижным, не закрепощенным привычками и ориентироваться на новое. Он должен стремиться к новому или погибнуть. Разум сохраняет в себе постоянство и одновременно стремится к изменениям, поддерживая постоянство формы че-

¹ «Signs, Language and Behaviour», p. 347.

рез разнообразие операций. Он — инструмент, используемый для изготовления и совершенствования всех других инструментов, включая и самого себя. Мышление обогащается новыми скачками творческого воображения (insights). Это возможно в силу заложенных в нем тенденций к поискам нового, к изменениям существующего. Способность к осуществлению изменений у отдельных индивидов может быть развитой в большей или меньшей степени. Разум идет к новому через свою пронизательность, интуицию, изменяя свои идеи, тенденции, ответные реакции. Предрасположенности разума окрашены эмоциональными предпочтениями и целями, они являются идеалами будущего. Идеальное, таким образом, возникает в материальном процессе. Как сказал Маркс, «идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней»¹. Материальный мир отражается в человеческом сознании. Такое отражение не носит пассивный характер. Оно трансформирует сырые данные, поступающие от внешнего мира посредством принятия решений, выбора целей и действий². Идеальное имеет силу до тех пор, пока оно удовлетворяет потребности разума в нем, или до тех пор, пока новые интересы не потребуют переключения внимания и изменения способа действия.

Мы не смогли бы дать новых идей, не смогли бы появиться новые значения, если бы наши мыслительные процессы и наши чувства не были бы достаточно гибкими. Гибкость наших чувств — одна из основных наряду со способностью отражения характеристик разумной материи. Мыслительные процессы ситуативны, в противном случае они просто не могли бы функционировать или же застыли и превратились бы в привычку. Изменение состояний разума — наиболее естественная функция мышления. Однако разум не смог бы измениться, менять фокус рассмотрения и ритм своей деятельности, если бы он не обладал некоторой относительно постоянной тождественностью и ориентированностью. Разум, не уклоняющийся в сторону от своих целей, справедливо рассматривается

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 21.

² Ср.: «Сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его», В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 29, стр. 194.

как энергичный и ценный. Порхающий разум внушает сомнения.

Мыслящая материя отличается от всех других видов материи именно степенью подвижности и гибкости своих реакций. С другой стороны, накопление опыта происходит благодаря постоянству разума и реализуется в виде системы значений (или символических диспозиций), системы, сложившейся в результате накопления знаний, имплицитных в каждом акте познания и образующих обширную подсознательную основу потенциальных ответных реакций любого осознанного действия. Постоянство отдельного разума есть нечто относительное, в то время как значения в более широком социальном аспекте кумулятивны, непрерывны и более или менее стабильны.

Воспринимая, реагируя и размышляя относительно изменений внешней среды, разум является стержнем этих конституирующих его процессов. Он стоит *между* ними и возможными результатами его действий. Он стоит между природой фактической, действительной, установившейся и природой возможной, идеальной и становящейся. Разум человека руководит и направляет изменения в природе, исходя из своих целей. Если бы разум был бы способен только изменяться, он скоро бы растворился в хаосе колоссального множества ответных реакций. Если бы он обладал только постоянством, внешние изменения действовали бы на него так же, как они действуют, скажем, на камень. Разум человека движется через изменения, отвергая, ассимилируя или трансформируя их в своих целях. Умственная деятельность человека охватывает все разнообразие природы, являясь частью природы. Существовать в природе — значит родиться, случиться и произойти событию, и мышление есть процесс, посредством которого определенные символические события рождаются переплетаются друг с другом, селекционируются под углом определенных целей.

В противоположность немыслящей материи, материя мыслящая в некотором смысле более эффективно предопределяет будущее. Вещи следуют одна из другой согласно законам, которые человек может познать и открыть, по вещи сами по себе не всегда могут вести себя столь последовательно. Мыслительный процесс обладает способностью повторения, имитации и экономии. Мы, например, помним, что тела, которые мы видели, обладают свойст-

ром падать. Но поскольку мышление есть запоминание, осуществляемое через символы, оно не есть только видение чего-либо, но и *предвидение* возможных будущих событий, в силу этого оно осуществляет контроль над событиями, но его контроль над ними не является контролем со стороны чего-то чуждого и полностью отделенного от них. Мышление в определенной степени находится в одном непрерывном ряду с небесными телами, кристаллами, растениями, микробами и т. д., и, отличаясь от них, оно составляет с ними единое целое. Непосредственное восприятие предметов внешнего мира осуществляется через телесные рецепторы. Мыслящее тело является одним из бесчисленного разнообразия тел, существующих в природе, и все они сформировались на основе одной и той же, общей всем им матрицы и под влиянием разных воздействий образовали причудливую вереницу качеств и форм. Внешний материальный мир оставляет свои следы в материальных мыслительных процессах. Мыслительная деятельность организует эти следы избирательно, прибегая к символам в своей художественной, теоретической и практической активности. Мышление может выйти за границы своего мира потому, что оно имманентно природе, и этот выход заключается в освобождении и овладении силами как самого организма, так и других тел. Мышление по своей природе тяготеет к новому, поскольку оно способно следовать привычкам (*habits*) природных событий; это тяготение к новому становится само по себе его собственной привычкой, благодаря чему оно начинает осуществлять контроль над другими привычками природы. Умственная деятельность есть материя, превращенная в открытую систему, порождающую другие системы, ее открытость — это чувственная восприимчивость биологического организма, преобразующего физические причины в мысленные данные. Орудием преобразования здесь служат символы и системы, создаваемые мышлением; это, например, искусство, наука, религия, философия и т. д.

Природа, существовавшая до появления мыслящей материи, суверенно существует и сейчас. Единственный способ, с помощью которого разум может познать ее, заключается в операциях, которые производятся с теми или иными природными объектами. Если объективная материя проявляет регулярность и стабильность, то это

отчасти связано с тем, что мышление обнаруживает или фиксирует посредством эксперимента именно эти ее особенности и использует их для себя. Если же материя выглядит случайной и изменчивой, то последнее обстоятельство до известной степени связано с тем, что разум способен занимать разные позиции в отношении материальных вещей: он может колебаться в своем отклике на поток событий природы. Мышление варьирует свое отношение к природе и операциональную связь с ней как раз по той причине, что оно обладает способностью целенаправленной деятельности. Но мышление ищет в природе что-либо постоянное именно потому, что оно нуждается в чем-либо надежном, устойчивом в свете своих меняющихся и подвергаемых изменениям целей.

Умственная деятельность как стремление к новому представляет собой процесс постоянного комбинирования и связывания. Мышление, постоянно и непрерывно накапливая запас значений, все время атакует препятствия, чинимые ему косной материей. Иногда отступает назад, не преодолев их; в подобном случае возвращаются или к слепому опыту или же ищут что-то новое. Новое вносит новую стратегию в поведение в данной ситуации. Новая стратегия действий влечет за собой перестройку поведения организма и мира. Необходимо остановиться в своем движении, чтобы подумать, как продолжить это движение. Это значит сделать оценку, произвести расчеты для того, чтобы дальнейшее движение имело определенный смысл, то есть выделить и соотнести знак, обозначаемое и обозначающее так, чтобы получить значение. Думать — значит «видеть» ситуацию перцептивно и концептуально, по-новому, наметить новый способ действий и проверить его. Творческое озарение (Insight), дедуктивное планирование и эксперимент — неотъемлемые части мыслительной деятельности человека.

Стремление к новому и связи вещей между собой лежат в основе творческой силы мышления. Новая идея — это новое множество знаковых связей или значений, новые планы, изменение мышления. Дедуктивная разработка таких значений — один из способов экспликации связей знаков друг с другом и с их референтами в вещах и отношениях между вещами. Такая разработка может обнаружить дополнительное новое. Новая идея есть не что иное, как предположение новых связей материальных

вещей. Она всегда имеет пробный и предварительный характер. Чтобы стать жизненно важным элементом мышления, новая идея должна предлагать план дальнейших действий и претвориться в действие в форме новых и экспериментальных связей. Акт творчества, символическая разработка и эксперимент не существуют в своем законченном виде как нечто предшествующее исследованию. Они развиваются в жизни. Разум, по словам Аристотеля, «не существует актуально до того, когда он мыслит». Исследования — это всегда вопрос; мышление — это творческое движение, в котором устанавливаются новые связи, которые окончательно фиксируются или выпадают в зависимости от того, доказывают ли они свою жизненность в материальной сфере человека и общества.

Стремление разума к новому не беспочвенно и результативно, потому что оно вырастает из опыта. Опыт служит постоянной основой, откуда возникают идеи и где они проверяются. Аналогично тому, как семена растений прорастают только при определенных условиях: освещенности, температуре, влажности и т. д., поскольку способность семян к прорастанию является результатом длительного *прошлого* развития и приспособления к этим условиям, так и идеи, возникающие в данный момент в мышлении, могут быть приспособлены для использования в том смысле, что они есть продукт условий, похожих на те, которые уже были в прошлом. С операциональной точки зрения «в прошлом» значит используемое подобие внешней среды, проявляющееся время от времени. «Приобретение знаний», по словам психолога, означает изменение поведения (расширение возможностей ответной реакции) как функции опыта и в направлении заранее установленного критерия¹. Обучение в огромной степени усиливает способность человека к использованию воображения и символики. Воображение — сохранившееся впечатление о вещах, с которыми мы имели дело в прошлом. Оно представляет и сохраняет в себе качество прошлого, предметную связь. В воображении закрепляются абстрактные образы, идеи и усиливается роль символов. Память, таким образом, процесс хранения и абстрагирования, который обеспечивает мышление данными прошлого опыта.

¹ James Earle Deese. *The Psychology of Learning*. New York, McGraw-Hill Co., 1952, p. 351.

Последний может быть обновлен и высвобожден из-под груза породивших его проблем. Создавать что-то новое, иметь что-либо в качестве цели — значит иметь это в мышлении, то есть частично и в памяти. Это основная мысль учения Платона об уме как воспоминании.

Непрерывность мышления, следовательно, заключается в его связующей способности. Её рост происходит в двух направлениях: развитии памяти как сохранение постоянно накапливаемых значений и процесс создания новых значений, видоизменяющих существующие. Все организмы являются открытыми системами¹, и то, что мы называем умственной деятельностью человека, есть лишь расширение и продолжение этой открытой системы, находящейся в динамическом равновесии. Неполюценный разум плохо помнит и не создает ничего нового. Но с другой стороны, нормальный разум никогда не удерживает в своей памяти все, что он получает извне, и поэтому он никогда не становится, подобно бесцветному интеллектуалу, жертвой чрезмерного количества идей и выборов. Запас значеий, удерживаемых памятью, подвержен (в определенных пределах) изменениям в соответствии с требованиями, которые непосредственно диктуются теми или иными материальными ситуациями.

Как и в процессе обмена веществ, разум усваивает селективно, разделяя на части, а затем восстанавливая вновь предметы окружающей среды. Он анализирует и синтезирует, интернализируя те или иные фрагменты окружающего мира. Далее разум экстернализирует мысленно преобразованные им предметы, реконструируя природу в соответствии с разработанными им эталонами или структурами. В отдельных случаях подобный структурный эталон может быть отождествлен с повторяющейся последовательностью определенных значений или установок. Но эти значения изменяются весьма медленно, так же, как, например, протеиновые компоненты в обмене веществ, которые часто неверно отождествляются с вещественной частью протоплазмы². Мышление можно также определить как значения в действии, ответную реакцию на

¹ Ludwig von Bertalanffy. The Theory of Open Systems in Physics and Biology. «Science», III, 23, 1950.

² Garrett Hardin. Meaninglessness of the Word Protoplasm, «The Scientific Monthly», 82, 3, 1956.

стимулы, некоторые из которых исходят от самого организма, обладающего мышлением. Потенциальное мышление есть потенциальная установка на подобную ответную реакцию. Биологический организм человека (*Homo sapiens*) обладает подобной способностью или тенденцией. Разум начинает свое существование в качестве такового, когда у него появляется символическая ответная реакция и когда она становится привычной.

Умозаключение, как отметил Дьюи, есть процесс перепесения, перехода¹. Ребенок, сидящий у огня, ощущает его жар и на основании этого делает умозаключение о возможности ожога. Молодой Галллей, наблюдая движение маятника часов в соборе, установил на основании своего наблюдения физический закон о движении маятника. Философ наблюдает мир и выводит гервопринцип, гипотезу мироздания. Разум обладает предвидением того, что необходимо сделать. Он предвосхищает будущее, что оказывает влияние на настоящую деятельность, направляя ее по определенному руслу. Вся умозрительная деятельность со всей ее свободой от всяких ограничений, когда приходит время расчетов с эмпирией, оказывается недееспособной, становится, по выражению Бэкона, «праздной» и «фантастической».

Настоящее не ясно, если отсутствует предвидение того, что может произойти. Подобно другим животным, обладающим зрением, человек видит то, что находится перед ним, но, кроме этого, он способен предвидеть. Человек, обладающий разумом, может предположить и предусмотреть. С помощью мышления мы видим то, чего не видят наши глаза: это видение или предвидение есть «глаза разума» или его символическая активность. Это специальный вид ответной реакции на стимул, а именно отсроченная реакция. Встретив затруднение на пути выполнения своих целей, человек отступает и начинает проверять, все ли им сделано правильно и верны ли его умозаключения. Он анализирует сложившуюся обстановку, сосредоточивая внимание на всем, что имеет отношение к рассматриваемому затруднению. Человек на время отказывается от действия в пользу умозрения. Но подобное умозрение не может продолжаться слишком долго, если

¹ I. Dewey. *How We Think*. N. Y., 1933.

человек хочет выжить. Умозрение должно превратиться в предвидение. Оно должно помочь нам проникнуть в сущность затруднения, выделить связанную с ним проблему и далее наметить план действий, чтобы двигаться вперед.

Поиск и нахождение новых путей — характерная черта разума, который находит их посредством значений, зондирующих будущее. Навыки разума — это навыки символического созидания. Тот факт, что некоторые люди обладают способностью предвидения и ясновидения, подтверждает лишний раз это главное свойство разума человека.

Умственную деятельность как стремление к новому следует рассматривать как социальную деятельность. «Социальный» для человека имеет значение «ассоциированный символически». Символ есть самопроизводный знак, употребляемый интерсубъективно. Так, утверждается¹, что разум и общество возникают одновременно на основе употребления наделенных значением символов. Умственная деятельность человека не есть что-то субстанциальное, кроющееся за своими значениями, она сама есть значения, находящиеся в процессе употребления и готовности к использованию. По своему характеру она общественна, как и всякая природная активность, и в принципе ее можно обнаружить с помощью соответствующих операций и наблюдений, подобно тому, как, например, твердость алмаза обнаруживается при попытке нанести царапины на его поверхность. Джилберт Райл² и некоторые другие философы обратили наше внимание на общественную сторону разума. По той же причине, что значения, заключенные в разуме, открыты для наблюдения, они социальны. Чтобы стать общественными, социальными, значения должны играть определенную роль, получить какое-то воплощение, короче, материализоваться. Когда я говорю — говорит мой разум; моя речь — это моя умственная деятельность, но не только я воспринимаю значение сказанного. Моя речь, воплощенная в символах, вызывает общезначимую реакцию. Если я хочу, чтобы

¹ «Mind, Self and Society». Edited by Charles W. Morris, Chicago, University of Chicago Press, 1934.

² «The Concept of Mind», New York, Barnes and Noble, Inc., 1949.

моя мысль или значение были ясными, я должен, как сказал Пирс¹, выставить ее наружу, или чтобы она сама вышла наружу, или высказать ее таким образом, чтобы мое внутреннее намерение было бы наблюдаемым или ярко представляемым как мною самим, так и другими людьми. Когда Пирс определял таким образом ясность, он неявно подразумевал под этим нечто публичное и социальное. Ясный ум в полном смысле того, что имеется в виду под этим выражением, есть грамматическая тавтология. Немыслящая материя никогда не может стать социальной в указанном смысле, она не в состоянии выражать значения, она просто существует.

Поскольку разум социален, социальна и истина. Нельзя узнать, что есть в моем уме, если это ничем не выражено. Ибо «знать» что-либо — неважно, материальное ли или духовное — значит осознавать вещи и формулировать это в значимых связях. Утверждение о том, что я знаю что-то и что мои знания достоверны и истинны, *показав* и не *продемонстрировав* этого каким-либо действием, является противоречивым для других и заблуждением для меня. Проверяемое на истинность значение должно, во-первых, выразиться в материальных действиях и стать общественным. Истина не может быть лишь словесной договоренностью о значении определенных терминов и правил их преобразования. Она результат согласованной работы, выполняемой всем многообразием видов деятельности, которые присущи мыслящим организмам. Именно таким образом термины соотносятся с материальными вещами. Если символы или мысли в конечном итоге не приводятся к такому соотношению, они остаются субъективными и все утверждения об их истинности будут необоснованными.

В общении с другими людьми в качестве средства выражения мы пользуемся знаками, чаще всего это звуки, но эти знаки только тогда могут быть осмыслены, когда они приобретают значимый или символический характер в качестве элементов мыслительной активности — как моей, так и других людей. Последние в свою очередь усваивают значение моего опыта, становясь тем самым частью моей мыслительной деятельности. Таким образом,

¹ «How to Make Our Ideas Clear», Collected Papers of Charles Sanders Peirce, p.p. 388—410.

мыслительная деятельность выходит за рамки мыслительной деятельности индивида, хотя выполняется она через него. В подобной ассоциации умственная деятельность становится межиндивидуальной системой деятельностей, «открытой системой», системой вновь возникающих и образующих единое целое значений. Ранние попытки доказать существование сверхиндивидуального, группового или абсолютного и всеохватывающего разума остались безрезультатными, поскольку «разум» мыслится в субстанциальных терминах. Но когда разум рассматривается в качестве символического процесса, включенного в социальность и взаимодействующего с другими такими процессами, то разум становится интерсубъективным, объективным и социальным таким образом, что он сохраняет автономность и повизну индивидуального мышления, но при этом также получает объяснение его связь с мышлением других людей. Мышление же отдельного человека находится в зависимости от постоянно варьирующихся сенсорных раздражений, при их недостатке его деятельность начинает ухудшаться¹.

Наконец, как уже отмечалось выше, человек является экологическим существом и его жизненная стойкость и жизнеспособность зависят от постоянной взаимосвязи с окружением: с живыми существами и физическими предметами. В течение сравнительно небольшого периода сельской жизни (15 тыс. лет) человеческий вид смог использовать в своих целях некоторые из потенциальных возможностей среды. Производя пищевые продукты и постоянно расширяя их производство и накопление, увеличивая свою численность, люди стали господствующим биологическим видом на Земле. В результате систематического познания мира природы человек создал промышленную и технологическую цивилизацию, использовал энергию атома и проник в тайны молекул, управляющих жизнью. Эти громадные достижения человека сосуществуют с голодом, болезнями, нищетой, характеризующих существование половины или даже двух третей всего человечества, с угрозой ядерного, химического и бактериологического уничтожения жизни на нашей планете.

Очевидно, что-то неблагополучно в умственной деятельности человека, в его знаниях и их использовании. Во-первых, производство и распределение продуктов питания и других жизненных благ имели определенные отрицательные последствия для человеческого общества и природы; неплановое, нерегулируемое их производство приводит к гибели природы и скоплению большого количества людей в городах — питательной среды для бедности, болезней, насилия, отчуждения и других аномальных явлений. Физического и биологического знания оказывается недостаточно. Человек живет в планетарном окружении, и его знания должны быть экологическими. Во-вторых, человеческие знания во многих современных обществах контролируются и используются военно-промышленной, научной и политической элитой в целях сохранения своей власти, а не для блага всех членов общества. Эта элита, стоящая на вершучке классовой структуры как феодального, так и капиталистического общества, использует знания для контроля над основными экономическими процессами и идеями людей. Элита, чтобы увековечить свою власть, нуждается в эксплуатации, бедности, войнах и загрязнении окружающей среды. Наука развивается в условиях классово-эксплуататорского общества применительно главным образом к нуждам совершенствования и наращивания военного потенциала, не используя при этом по назначению экологически-планетарное мышление, которое с необходимостью предполагает превращение классового общества в бесклассовое, общества избранных — в общество народа, мира знания эксплуататорского и эгоистичного — в мир знания освобожденного и коллективного, в общество созидания.

Сила, с помощью которой осуществимы подобные преобразования, находится в руках народных масс. Эта сила принадлежит людям с социальными и экологическими перспективами в решении своих проблем. Эта сила — сила самих людей, сила материализованного и социально направленного разума людей, мыслящих и действующих совместно для сохранения и продолжения жизни на Земле.

В течение последних десяти лет в англо-американской философии происходила довольно оживленная дискуссия, касающаяся материалистического подхода к проблеме отношения сознания и тела. Говоря точнее, предметом обсуждения были следующие вопросы: «Можно ли свести ощущения к событиям или процессам мозга?», «Могут ли психические события совпадать с физическими событиями?»¹. Настоящая статья посвящена критике многих аспектов этого обсуждения — и не потому, что оно носило материалистический характер, но потому, что представляло недостаточно последовательный материализм. Сначала я коснусь *проблематики* современного материализма; затем будут рассмотрены исторический и социальный контексты, в которых возникают философские проблемы и конкретно проблема отношения сознания и тела. В связи с этим поднимается вопрос о подходе к философским проблемам, и в частности к материалистическому решению проблемы отношения сознания и тела. Наконец, обсуждая вопрос о тождестве и материальности психических событий, я противопоставляю то, что я называю *критическим* материализмом, современной форме того, что я считаю *аналитическим* материализмом.

Тезис этой статьи весьма прост: современные попытки материалистической формулировки тождества сознания и тела непоследовательны, ибо все они берут за основу проблему традиционного дуализма сознания и тела. Тем

¹ Многие важные статьи по этой проблеме собраны в кн.: D. M. Rosenchal (ed.). *Materialism and the mind-body problem*. Englewood Cliffs, N. Y., Prentice Hall, 1971.

самым решение проблемы оказывается ограниченным самой ее постановкой. Такой подход я буду называть аналитическим материализмом. В противовес ему я предлагаю с самого начала переформулировать проблему в духе материалистического монизма, а именно в виде следующего вопроса: как может организованная материя думать, чувствовать, желать и т. д.? Таким образом, я намерен изменить основу настоящего обсуждения, то есть произвести сдвиг проблемы, а также изменить саму методологию данной философской дискуссии.

При этом, естественно, возникают несколько вопросов:

1. На каких (методологических или метафилософских) основаниях можно столь просто отказаться от проблемы дуализма сознания и тела, что я и намерен сделать?

2. В каком смысле современные аналитические материалисты (например, Х. Патнем, П. Фейерабенд, Селларс Дж. Сمارт, Рорти, Корман и пр.) принимают *проблематику* современного или традиционного дуализма сознания и тела в качестве контекста для своих материалистических «решений»? И почему это плохо?

3. К чему приводит различие, которое я предлагаю для «аналитического» и «критического» материализма, в случае проблемы отношения сознания и тела?

Прежде чем обсудить эти вопросы, я хотел бы изменить основу своего подхода не только в отношении принципиальных споров между дуализмом и монизмом, но, возможно, даже более глубоко и радикальнее, чтобы иметь возможность установить различие между аналитическим и критическим материализмом. Я начну со сдвига проблемы в методологическом смысле, что означает переформулировку критериев философского анализа и того, что такой анализ должен в себя включать. Сам по себе этот сдвиг должен рассматриваться в качестве одного из элементов общей критики аналитического материализма.

Следует считать нормальным явлением, когда философ критически исследует справедливость и существо *аргументации* оппонента или его *исходные посылки*. Столь же естественно, когда он эксплицирует и проясняет значения и следствия своих собственных утверждений, то есть занимается той, восходящей к Сократу, благородной деятельностью, которая именуется *диалектической* — то есть рациональной — критикой и которая в полной мере

соответствует канонам непротиворечивости, ясности, правильности выводов. Более того, следует считать нормальным явлением, когда, выстраивая свою аргументацию, компетентный философ делает это согласованным и систематизированным образом, и, кроме того, делает это интересно.

Я не намерен избегать этих философских добродетелей. Они характеризуют наше мастерство, выступая как требования компетентности. Они составляют грамматику и риторику философии.

В то же время можно выражаться грамматически правильно и даже убедительно и все же высказывать ложные или тривиальные утверждения. Точно так же можно представить себе компетентного философа и хорошего полемиста, который в итоге своих рассуждений приходит к абсурду, ложным или тривиальным положениям. Важнейший моральный императив философии — это достижение истины путем исследования. Хорошо известно, что сама *проблема* истины, ее определение, ее критерии, ее условия и способы ее выражения — все это одна из сложнейших проблем философии. Поэтому философия самокритична в отношении своих собственных оснований и форм применения. Проблема истины как в формальной теории в логике, так и в ее субстантивных (substantive) формах в теории познания, веры, практики или действия лежит в самом сердце философии.

Это отступление приводит меня к заключению, которое кратко можно выразить так: в философском исследовании — в особенности в той его форме, когда предполагается критическая оценка альтернативных теорий, — решающее значение имеет изучение социального и исторического контекстов оцениваемых теорий. В основе этого лежит предпосылка, что философия является видом практической деятельности и что любая человеческая деятельность, включая и философскую, есть одновременно и результат, и движущий механизм человеческого общества и человеческой истории. Предполагается также, что генетический анализ опирается на философию и что природа философских проблем отчасти контекстуальна. Иными словами, вопрос о том, что является предметом спора и что следует считать решением проблемы, зависит от исторического, социального и научного контекстов, в рамках которых проблема возникает и осознается.

Что же из всего этого следует применительно к тем вопросам, которые я поставил в самом начале: 1. На каких основаниях можно отказаться от общей схемы дуализма? 2. В каком смысле современные теоретики тождества принимают этот дуализм? 3. К чему приводит различие между «аналитическим» и «критическим» материализмом? Я считаю, что дуализм сознания и тела сам по себе является исторически ограниченной теорией, развитой в системе определенных исторических (а следовательно, научных, культурных и социальных) рамок, которые сегодня выглядят чем-то аномальным. Отсюда следует, что сохранение такого дуализма в аналитическом и философском контекстах само по себе является аномалией, обусловленной относительной автономией философского мышления, то есть тенденцией философов подходить к истории философии или философским идеям неисторично, рассматривая их как данные сами по себе или осовременивая их, иначе говоря, абстрагируя философский контекст из того реального, выходящего за рамки философии контекста, в котором скрываются корни проблемы. Далее, если не принять во внимание разрыв между первоначальным и современным контекстами, то проблема оказывается доступной только формальному или абстрактному анализу. Именно так и поступает аналитический материализм, аргументирующий с позиций теории тождества, используя часто самый современный формальный аппарат анализа, так, как если бы критикуемый им дуализм представлял собой вневременную аналитическую проблему, которую следует решать или устранять с помощью анализа подобно тому, как это делается в логике понятий или в анализе значений.

Вследствие этого из рассмотрения выпадают исторические источники дуализма, а сам дуализм берется как абстрактная проблема в наиболее узкой его аналитической формулировке, а именно в его *онтологической* версии в качестве проблемы отношения инертной материи и активного, мыслящего Я¹. Или даже еще более узко:

¹ См., например: M. W. Wartofsky. Diderot and the development of materialist monism. — В: «Diderot studies» vol. 2. Eds. Fellows and Torrey. Syracuse univ. press, 1953, Spinoza on the passions. Towards a scientific psychology. — В: «Spinoza». Ed. M. Grene; Matter, action and interaction. — «Proceedings of the XV International congress of philosophy. Varna, 1973».

как вопрос лингвистической или концептуальной редукции, связанной с проблемой переводимости и элиминируемости или неэлиминируемости психических или психологических терминов. Следовательно, аналитическая материалистическая критика принимает характеристики того, что критикуется, придерживаясь узкого, абстрактного, механистически мыслимого материализма в его оптологической версии, а также выхолощенной теории языка и концептуального анализа в их лингвистической форме.

Итак, задача адекватной постановки интересующей нас проблемы (*Problemstellung, Problematik*) оказывается за рамками компетентности философского анализа. Поэтому я сначала попытаюсь заменить старые понятийные рамки новыми.

Традиционное различие сознания и тела основывается на представлении, согласно которому материя или тело являются инертными, в то время как разум активен, а точнее, самоактивен. Согласно традиционной точке зрения (например, согласно представлениям механистической физики XVII и XVIII веков и ее натуральной философии), материя движется, но это движение не присуще ей внутренне. Это движение привносится извне, то есть его источник находится вне материи. Если следовать логике этого аргумента до конца, то таким источником в конечном счете является Перводвигатель. С другой стороны, более современный подход к различению сознания и тела ссылается на несводимость психической активности или психических или психологических событий к физической или физиологической активности, или «событиям мозга». Неприкрытый дуализм утверждает, что независимо от того, в какой степени развито наше знание о функции мозга, оно не в состоянии объяснить или обеспечить адекватный подход к таким психическим актам, как мышление, ощущение, желание, принятие решений, интенция и т. д. — короче, к сознательному, целенаправленному поведению. Причину этого он усматривает в том обстоятельстве, что никакое физическое объяснение не может включать в себя элемент деятельности или сознательного целеполагания, что, однако, необходимо для адекватной характеристики психических актов, или элемент осознания, требуемый для характеристики ощущений; поскольку физика по самой своей сути не включает такую деятельность, или интенцию, или осознание в качестве свойст-

ва физического описания или физической теории. Этот незавуалированный дуализм всегда вел либо к явному ментализму, либо к идеализму, либо, что является обратной стороной медали, к редукционистскому материализму, в рамках которого «центральные процессы», или психическая жизнь, просто отрицались либо элиминировались путем редукции (как это имеет место в случае грубого бихевиоризма).

Аналитико-материалистическая критика этого ментализма отталкивается от несколько модифицированной и более современной версии этого дуализма, которая принимает, что в действительности может существовать некоторое физическое событие (или комплекс событий, комплекс процессов), случайным или необходимым образом связанное с каждым психическим актом и являющееся для последнего его основой или условием. Но при этом в лучшем случае существует лишь корреляция или параллелизм между психическими и физическими событиями. Эти два типа событий различны и несводимы друг к другу. Психические события должны описываться в терминах деятельности и познания, чего не может дать физикалистский подход. Редукционистская материалистическая теория тождества ставит перед собой цель выйти за рамки этого психофизического параллелизма, стремясь доказать, что «два» события — это в действительности только *одно* событие, рассматриваемое с точки зрения двух различных описаний. Эта теория стремится доказать фактическое тождество психического и физического событий, допуская, что это самотождественное событие можно рассматривать под различными углами зрения, описывать в двух альтернативных языках — физическом и психическом. Таким образом, мы имеем дело с упрощенной версией спинозовской «двухаспектной» теории тождества. Усиленная версия теории тождества полагает, что «психический» язык полностью ошибочен, что он является пережитком примитивного анимистического мышления, теологии «души» и что тождество того, что называют «физическим» и «психическим», обуславливается, следовательно, *не* тождеством двух вещей, событий или даже двух альтернативных описаний одной и той же вещи, но, скорее, «тождеством» (или самотождественностью) в виде «событий мозга» (как физических или нейрофизиологических событий), понимаемых в терминах *единственного*

уместного описания, а именно физического, или «научного». «Менталистское» описание должно быть, следовательно, элиминировано как, по существу, ненаучное описание, а такие его термины, как «боль», «желание», «мышление», «интенция», должны интерпретироваться или объясняться как комплексы «событий мозга». Таким образом, факты так называемой «психической жизни» не элиминируются, но устраняется неверное их описание как неизбежно «психических». Люди, однако, продолжают «иметь» то, что мы называем «болью», «интенцией», «мышлением», но подлинно научной референцией этих терминов должны быть «события мозга» или же комплексы таких событий.

И хотя аргументы аналитического материализма сложны и часто изощренны, дальше этого он не идет. Короче говоря, он исходит из проблемы дуализма сознания и тела и разрешает ее в терминах тождества на основании тождества физических событий, или «событий мозга», и психических событий. (Существует несколько исключений, выходящих за рамки описанного выше подхода. Я остановлюсь на них далее.)

Позвольте мне теперь отказаться от этой системы понятий и перевести всю проблему в иное русло. Философы и ученые не всегда утверждали, что существуют две сферы — психического и физического, — которые обязаны как-то совмещаться или коррелировать между собой. Дуализм является очень древней точкой зрения, которая, по крайней мере отчасти, возникла из исторически обусловленного отделения идеальной, или психической, функции от физической, или телесной, функции. Это отделение фактически имело место в социальной жизни, и уже затем оно появилось в умах философов¹. В древнем обществе очень рано возникло социальное разделение физического и умственного труда, работы руки или тела и работы головы или разума. Рассуждения, включая создание легенд, мифов, изложение исторических событий, формулирование правил и законов — все это оказалось привиле-

¹ С этим тезисом соглашаются как марксисты, так и немарксистские исследователи. См.: В. Farrington. The separation of head and hand in Ancient Greece; Greek science; J. Dewey. Reconstruction in philosophy. Тщательный разбор «естественных» источников дуализма в терминах эпистемологии и психологии см. в: А. О. Lovejoy. The revolt against dualism.

гией представителей правящего класса, будь то духовные лица, лица королевского сана или же законодатели. Практический труд по созданию и поддержанию материального базиса общества стал уделом представителей подчиненного класса: ремесленников, крестьян или рабов. Это разделение умственного и физического труда, упрощенно нами очерченное здесь, послужило прообразом его философского отражения на уровне теории. Существуют другие, так называемые «естественные» источники дуализма сознания и тела, построенные на этом разделении. Например: интерпретация сновидений как жизни в сверхъестественном мире или мифы о загробной жизни, основанные на вере в продолжение жизни души вне тела. Интересно, однако, то, что даже в отношении этих примеров имелась материалистическая интерпретация. Ранний мифический материализм представлял мечты как реальность физических существ, а загробную жизнь — как телесное существование. (Ученый XVIII века Джозеф Пристли поддерживал «материалистическую» теорию бессмертия души, поскольку, утверждал он, не существует сознания без материального тела, а сознание продолжает жить и после смерти, поскольку тело должно после смерти воскреснуть¹.) Дуалистические интерпретации возникают либо за счет разделения физического и умственного труда, либо из различия видимости и реальности, реального и нереального миров, то есть различия, которое очень рано появилось в греческой философии. В этом последнем, эпистемологическом контексте, однако, один из двух полюсов дихотомии рассматривается как реальный, а другой — как нереальный, то есть *только* как обманчивая кажимость или (поскольку любая кажимость «ложна») как ошибка в оценке, в суждении. Так, например, для идеализма Платона, как и для Беркли, идеальный мир реален, а физический мир — это только мир теней, «подвижный образ» или копия этого реального мира. Для материализма Демокрита, а также для Гоббса, напротив, реален только мир физический, мир движущихся атомов, зато психический мир оказывается фантазмом (phantasm), *эйконом* (eikon), или образом материальной действительности.

¹ J. Priestly. The doctrine of bodily resurrection upheld.

Предположим, что этот (упрощенный) подход к генезису дуализма принимается. Почему тогда дуализм отвергают? Не будет ли тогда отвержение дуализма очевидной формой «генетически ложного вывода»? Подойдем к проблеме под другим углом зрения. Предположим, что мы предпочитаем дуализму радикальную альтернативу, то есть откровенный материалистический монизм. Спросим теперь, как такая теория ставит проблему природы мышления или психической активности. Преимущество такого подхода сознавал уже Аристотель, который доказывал (в *De Anima*), что коль скоро психическое и физическое разделены, то никакая теория их взаимосвязи не будет адекватной, и что, следовательно, нельзя, исходя из разделения, решить проблему. С философской точки зрения это является не генетическим аргументом, но только концептуальной или аналитической альтернативой. Это есть контртеория. Тот, кто настроен против дуализма Платона, может рассматривать ее на рациональных или концептуальных основаниях как альтернативную концепцию проблемы. В рамках дуализма Платона мышление, или Идеальные Формы, суть независимые реальные сущности, а тела и материя — это просто образ Форм (или, если обратиться к более сложному и проблематичному описанию в «Тимее», пассивный «восприимчик» Форм). Таким образом, описанные выше подходы представляют собой просто концептуальные альтернативы. Что же касается критической философии, то есть философии, которая сознает себя одновременно и исторической, и аналитической, то она ставит следующий вопрос: как две столь расходящиеся понятийные системы возникли в одном и том же контексте — контексте греческой науки и культуры? Таким образом, генезис философской проблемы рассматривается здесь как необходимый для понимания, а возможно, и для решения проблемы. Вопрос о постановке проблемы становится здесь философским вопросом.

Ограничиваясь здесь лишь основными моментами, можно предположить, что различие между системами Платона и Аристотеля (признавая также глубокое сходство между ними) выводится из различий в рамках одной и той же истории, одной и той же культуры: имеются в виду различия между Платоном и Аристотелем не только как между философами, но и как между историческими личностями, живущими в сложном переходном об-

шестве. Например, традиции Платона связаны с традициями афинской аристократии, утратившей свою политическую роль во время поражения Афин в Пелопонесской войне. Платонизм усвоил дисциплину мышления, или разума, как идеологическую замену для умершей мифологии и развил традицию не подверженного никаким влияниям и изменениям математического рассуждения, как парадигму стабильности, порядка и справедливости. Аристотелевская традиция — это традиция ремесленника-ученого, и для нее разум есть существо или норма *практики*, человеческой активности по производству вещей, *poiesis*, а *psyche* есть форма нормальной активности естественно живущих вещей в их развитии. Платон и Аристотель по-разному используют понятие «форма», а аристотелевская критика Платона во многом упирается именно в это понятие. В то же время система Аристотеля столь же сильно связана с диалектикой Платона. Различие точек зрения Платона и Аристотеля на отношение формы и материи, разума и тела нельзя представлять просто как различие концептуальных альтернатив в некоторой, свободной от всякого контекста области философии. Скорее, оно объясняется богатым, чрезвычайно сложным, зависящим от контекста отражением конкретной истории и культуры. Это отражение опосредовано, отфильтровано их гением, как и самим развитием лингвистических и логических форм, которые были введены в обиход разными философскими школами, греческой литературой и поэзией. Платонизм и аристотелизм, унаследованные историей философии, представляют сами по себе сложное историческое преобразование понятий и языка своих первоисточников, а концептуальные споры между этими двумя школами — как воспринимаем их *мы* — несут на себе отпечатки как исторического, так и современного контекстов. *Какую* из проблем отношения сознания и тела мы тогда имеем в виду? Как *мы* ее формулируем: как проблему в рамках относительно автономной диалектической традиции исторических формулировок? Но каких формулировок? В виде греческой или средневековой арабской и еврейской ее интерпретаций; или же теологических форм, в рамки которых Латинская Европа стремилась уложить переводы философских трактатов с греческого и арабского языков? Или мы формулируем нашу собственную проблему, свободную от ис-

торических усложнений, в «нейтральном» научном или логическом языке «философского анализа»? Или «проблема» относится лишь к тому, как «мы» используем определенные термины и определенные лингвистические формы?

Программный эскиз, который был очерчен мною в самом общем виде, пуждается в уточнениях, критицизме и апализе. Кроме того, поставленные вопросы одновременно и очень широки, и слишком узки. Я ставлю их лишь как предположения, касающиеся того, что необходимо принимать во внимание при постановке философской проблемы. Короче, то, что я предлагаю, заключается в следующем: историческая социология истории философии дает необходимый подход к вопросу о *постановке проблемы*. Конкретно проблема отношения сознания и тела рассматривается, с одной стороны, как проблема в истории философии, а с другой стороны, как современная проблема. Критический подход должен оценивать альтернативные модели отношения сознания и тела в этой постановке. Например, научная модель многих современных дискуссий по этой проблеме *остаётся* на уровне механики и физиологии XVII века, как она рассматривалась в системах Декарта и Локка. Но физика и нейрофизиология XX века пользуются этими аномальными моделями только на элементарном инженерном уровне и давно отказались от моделей классической механики, оптики, физиологии. Здравый смысл оперирует с такими моделями, ибо он, по существу, не отличается от здравого смысла физики XVII века с ее пониманием материи и действия. Теоретически же такие модели давно уже стали аномальными. И все же многие философские дискуссии, и в особенности эпистемологические, например касающиеся природы восприятия, а также проблемы сознания и тела, происходят таким образом, как будто все эти аномальные модели все еще сохраняют свою жизнеспособность. Другая аномалия, или концептуальная несогласованность, порождается совмещением новых мощных формальных методов анализа, развитых, например, математикой и логикой XX века, с примитивными механистическими инженерными моделями физических и еще более примитивными моделями биологических процессов.

Недостаток аналитического материализма — или по крайней мере большей его части — заключается в том,

что он придерживается этих аномалий неосознанно — то есть некритически, порождает тем самым исторически и концептуально аномальные проблемы. В качестве подтверждающего примера рассмотрим наиболее характерную для аналитического материализма формулировку проблемы теории тождества: «Могут ли психические (или психологические) события сводиться к событиям мозга?» или «Являются ли ощущения процессами, происходящими в мозге?» Аномалия состоит в понимании сознательной или психической активности как «событий мозга» или как «нейрофизиологических событий» *tout court* *. Коротче, аналитический материализм связан с моделью — моделью мышления или моделью разума, — которая *категориально* ошибочна.

И какие бы решения здесь ни были предложены, две вещи всегда будут неверными: 1. Сама по себе «проблема тождества» проистекает из постановки проблемы, которая берет за исходный пункт систему понятий, предполагающую дуализм сознания и тела, и в особенности ту его механистическую форму, которая была характерна для XVII века. Таким образом, ее решение суть решения ложной проблемы. 2. Тождество ошибочно категориально, ибо пара «психическое событие» — «событие мозга» категориально является аномальной парой, подобно паре «кот» и «правосудие». Причиной этого является то обстоятельство, что в рамках любой предположительно жизнеспособной теории тождества область определения понятия «психический» рассматривается как область определения понятий «физический» или «материальный», несводимых к понятиям «событие мозга» или «нейрофизиологическое событие».

Все это, однако, выглядит так, как если бы материализм отвергался.

Если «психическое событие» рассматривается как нетождественное «событие мозга», то как тогда мозг может служить материальным органом сознания и что остается материализму? Перед критическим материализмом встает тогда двусторонняя задача: во-первых, показать, что по причине неисторичности и концептуального формализма *проблематика* выбрана ошибочно или является

* Просто-напросто. — *Ред.*

аномальной; во-вторых, показать, что этот «мозговой» редукционизм сам по себе является неадекватным материализмом, и предложить взамен то, что должно быть более адекватным материализмом.

Вопрос тогда заключается в следующем: если я отбрасываю фундаментальные материальные конкретности, на которых основывается физикалистский или нейрофизиологический материализм, то не отказываюсь ли я при этом и от самого материализма? Если «событие мозга» или «нервное событие» не должны отождествляться с материалистическим выбором за редукцию или за замену «психического события», то что тогда остается материализму? Именно здесь пути критического материализма и типичного аналитического материализма (редукционистского, элиминирующего) расходятся. Начнем со случая «ощущения». Несомненно, что в тактильные, визуальные, слуховые, обонятельные, вкусовые, кинестатические «ощущения» включаются события мозга. И вместе с этим существует целостная активность сенсорных процессов, начиная с афферентных и эфферентных нейронов, которая опосредована не просто аморфным конгломератом ткани, называемой мозгом, но в высшей степени сложной системой, включающей загадочную ретикулярную формацию, гипоталамус, различные центры коры и т. д. и т. п. В таком случае нужно, видимо, расширить представление о «событии мозга» как о нейрофизиологическом событии таким образом, чтобы охватить то целостное системное событие, которое включает в себя много больше, нежели сам «мозг». Но помимо этого, в качестве системного отклика сама природа сенсорного события включает совокупность положений тела, условий и «множество» физико-химических свойств ткани, мускулов, лимфы, крови, энзимов и т. д. Они координируются в нормальном сенсорном событии, в целостном организме¹ — скажем, в теле человека или животного. Но помимо этого — и здесь

¹ Точку зрения, что с «психическим событием» следовало бы коррелировать целостный организм, высказывал во время аналитико-материалистической дискуссии Т. Нагель. См.: T. Nagel. *Physicalism*. — In: D. M. Rosenthal. *Op. cit.*, p. 98—100, а также: H. Putnam. *The nature of mental states*. *Ibid.*, p. 154. Эти приятные исключения показывают, что аналитический материализм не является замкнутой системой и может стать критическим. Однако основания этих исключений все же не являются критическими.

речь пойдет о том, чего решительно недостает аналитическому материализму, — психическое событие — даже простейшее сенсорное событие — неразрывно связано с биографией и историей. Под первой я имею в виду онтогенез — путь развития личности, индивида, целого и непрерывного организма, под вторым — филогенез, то есть историю вида этого организма как в его биологической, так и (в случае человека) в его культурной и социальной эволюции. В действительности мы можем для целей исследования абстрагироваться от тех или иных сторон ситуации. Например, мы можем изучать сенсорные явления в организме, лишенном коры головного мозга, для того чтобы абстрагировать и выделить части общего целого процесса. Точно так же мы можем изучать роль отдельных нейронов в сенсорном процессе, для того чтобы проанализировать вклад анатомических и физиологических элементов в сенсорный процесс. Однако главным остается вопрос: что позволяет ученому или философу говорить об «ощущении»? Ощущение не является чем-то происходящим в нейроне, не случается оно и в мозге. Оно имеет место в организме, целостность и системное единство которого являются необходимым условием для появления феномена ощущения. Ясно, что мы можем абстрагировать и анализировать компоненты этого процесса. Но при этом часто появляются ошибки, связанные с тем, что часть принимается за целое, а абстрактная особенность — за конкретную индивидуальность. Итак, ощущение есть явление, связанное с целостным организмом, интегрированным благодаря своей нервной системе, будь то человек или другие животные (мы заимствуем эти слова из названия одной из последних статей Марджори Грин¹). Но это еще далеко не все. Ведь ощущения принадлежат определенному, индивидуальному организму, то есть они связаны с субъектом и не могут существовать иначе. (Ч. Диккенс снабдил нас на этот счет хорошим примером *reductio ad absurdum*. В его романе «Тяжелые времена» Луиза спрашивает свою старую мать миссис Грэдграйд:

«Вас мучают боли, мама?»

«Боли? Мне кажется, какая-то боль бродит по комнате, — отвечала миссис Грэдграйд, — но я не могу утверж-

¹ M. Green. People and other animals. — «Philosophical forum», 1972, vol. 3.

дать с уверенностью, что это моя боль»¹.) Только индивид или личность ощущают. Не мозг. Ощущение (а также мышление, восприятие, воображение, желание и т. п.) — *мое* или *Ваше*. Однако для любого индивида сознательная активность всегда является не просто его собственной, но и опосредована филогенетически. Глаз лягушки (как показали Летвин и Матурана) является глазом именно *лягушки* — он обусловлен структурой и функцией мира лягушки, развит и дифференцирован филогенетически. Поскольку все мы живем в одном и том же природном мире, постольку и у нас, и у лягушки зрение в чем-то одинаково, но только *в чем-то*. Таким образом, органы активности сознания суть формы жизни, то есть практического взаимодействия мира и субъекта, и они селективны, развиваются и адаптируются. Маркс образно сказал об органах зрения и слуха как об органах, которые отрывают человека от пут его индивидуальности, превращая его в зеркало и эхо вселенной². (Аналогичные высказывания можно найти и у Л. Фейербаха и Г. Лейбница.) И это наводит на предположение, что филогенезис не является самодетерминированной системой, но есть продукт эволюции самой материи, воплощающейся в целой совокупности исторических или эволюционных форм ее всеобщего развития. Но в таком случае само условие нейрофизиологического процесса, как такового — так называемое материальное основание сознания, — содержится в более широком контексте, чем «мозг» сам по себе или «организм» сам по себе. Даже элементарный акт ощущения есть уже *видовой* акт, и «материальным основанием» для него не может быть нечто меньшее, чем вид, во всей сложности его эволюции, взаимодействия и, если речь идет о человеке, исторического, культурного и социального развития. Но тогда к чему вся эта глупая редуccionистская затея, представляющая «психические события» как: «возбуждения С-волокон» и пронизывающая все запутанные дискуссии по теории тождества?

Сознание, даже на биологическом или физиологическом уровне, уже является онтогенетически биографическим и филогенетически обосновано видом и историей. Само содержание и факт ощущения поэтому опосредова-

¹ Ч. Диккенс. Собрание сочинений в 30-ти томах, т. 19, М. 1960, стр. 213.

² См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 75.

ны индивидуальной биографией вместе с ее неотъемлемыми характерными чертами, воплощенными в отборе, внимании, реактивности, являющимися частью каждого акта ощущения и служащими фоном конкретной ситуации. Насколько это яснее в случае высшей психической деятельности! Таким образом, каждый акт ощущения, не говоря уже о воображении или мышлении, связан с историей вида, определяющей размер и специфику его объектной области, характер систем органов и их частей и, далее, клетки нейронов, тканей, крови.

Что, однако, должны мы сказать о человеке? В конце концов, никто не ломал копий из-за проблемы отношения сознания и тела для лягушки, рыбы или даже для человекообразной обезьяны. Нередукционистский подход должен говорить о личности. Но это еще не все, ибо личность может превратиться в вводящую в заблуждение абстракцию, в неисторическое понятие наподобие «событий мозга» и «психических событий» и онтологически неясную абстракцию типа «материи» или «разума». И все же понятие личности обладает первоначальным преимуществом, характеризуя сложный и специфический организм, обладающий самосознанием и владеющий языком. Следует добавить сюда также следующие характеристики: социально организованный, культурно обусловленный, образованный — короче, добавить историческое бытие *практики*, социального действия человека. И в этом контексте «событие мозга» оказывается за физиологическими границами, а онтогенез и филогенез становятся социальными, культурными, историческими, лингвистическими и далеко выходящими за пределы физиологии клетки. Одним словом, ощущение, которое я имею, мысль, которую я думаю, желание, которое я испытываю, действие, которое я выполняю, — все это сплавлено с моей личной биографией, историей моего вида, моими социальными и историческими прошлым, настоящим и будущим. В простом ощущении я могу быть связан только с моими биологической родословной и спецификой собственного развития, однако я думаю, даже этого будет недостаточно для полной характеристики человеческого ощущения, ибо я рассматриваю ощущение как социальное не в меньшей степени, чем, скажем, человеческую речь или любовное поведение (хотя смысл рассмотрения здесь другой). Этот вопрос достаточно сложен, и в конечном счете он требует

дальнейшего научного исследования. Однако если речь идет о такой высшей функции, как, например, мышление, то становится очень трудно себе представить, как такие специфические человеческие параметры сложных событий или процессов сознания можно рассматривать вне обобщенно-социального контекста.

Редукционистский, или элиминирующий, материализм имеет здесь возможность выбора, он может утверждать, что вся эта историческая филогенетическая матрица отпечатана в событии мозга, что «физиология повторяет социологию» и что история видов *материально* существует в самих тканях. Такая редукция искушает, ибо она дает возможность, так сказать, и иметь и есть торт в одно и то же время. Но следует иметь в виду, что слишком многое в нашем видовом существовании, в наших органах является просто приемником и посредником, а не накопителем, хотя структуры этих органов воплощают филогенетическую историю адаптации вида на биологическом уровне. Кроме того, мы воплощаем себе социально-историческое существование как вида в языке и социальных артефактах, закодированных таким образом, что мы можем общаться с их помощью посредством наших органов сознания, то есть с помощью ощущений, восприятия, чувств и мыслей. В экономике, технологии и культуре многие наши «*мягкие структуры*» в целях накопления, сохранения и передачи становятся «*жесткими структурами*»*. Возможности мозга тем самым расширяются и усиливаются.

Но что сказать о мозге? Откажутся ли материалисты в будущем от понимания мозга как материального органа сознания в пользу некоторого диффузного органицистского представления «материи», «размазанной», распределенной в пространстве и времени между видами, культурами и историями? Не исключает ли это «жесткий» материализм в пользу «мягкого» материализма? Я думаю, что нет. Ведь мозг, в конце концов, — это *орган*, то есть *инструмент* сознания и мышления. Но именно по этой причи-

* В оригинале: hardware — скобяные товары и software — мягкие товары. Эти заимствованные из обиходного языка словосочетания в современном американском научном жаргоне относятся к вычислительной технике, обозначая соответственно то, что связано с самой ЭВМ и ее математическим программным обеспечением. — *Прим. ред.*

не — что он является *органом* мышления — ни он сам, ни «события» в нем не тождественны с сознанием или мышлением — точно так же, как и события, связанные с шагом (foot-events), не тождественны прогулке пешком. Идут не мои ноги. Иду «Я», используя мои ноги. «Я» не могу ходить «без» ног, но и мои ноги не могут «ходить» без меня. Этот грамматический нонсенс просто обнажает ошибочность анализа, категориальное заблуждение. «Я» здесь — это не маховское собрание ощущений, не юмовский «общий центр» ощущений, не «трансцендентальное Это», но конкретное событие «моего идущего тела». Но «мое» тело — это тело человека, то есть тело вида, хотя оно и является индивидуальным конкретным «Я». И хождение — это видовой акт, который «Я» выполняю индивидуально. Точно так же мыслит не мой мозг, а делаю это я с помощью моего мозга, как наиболее специализированного органа в системе органов, составляющих мое тело, то есть составляющих самого меня как конкретного индивида, *тождественного* с этим телом, его историей и его деятельностью. Можно сказать тогда, что мое тело мыслит, но мыслит именно как человеческое тело и, следовательно, психический акт, акт мышления может выполняться только человеческим телом. Тем самым этот акт есть человеческий акт, то есть индивидуализированный видовой акт. И тождество уже не является больше тождеством «сознания и тела», тождеством между двумя вещами — сознанием и телом. Скорее, оно представляет собой самотождественность одного сложного материального организма, то есть «мыслящей материи», и осуществляется это только в единственном известном нам случае: для высокоорганизованного и развивающегося индивидуального человеческого бытия.

Физикалистский редукционизм не может провести такой категориальный анализ — и не потому, что он физикалистский, а, скорее, потому, что он именно редукционистский. Материализм не может ограничиваться ни рамками, ни *проблематикой* традиционной проблемы отношения сознания и тела в ее дуалистской формулировке. И аналитический материализм, для которого проблема продолжает формулироваться в терминах «торможение — возбуждение», «С-волокон» и редукционистски представляемых «событий мозга» или же для которого вся проблема остается *только* на уровне «логики утверждений тож-

дства», определенно не может обеспечить адекватный подход к сложности самого явления.

Критический материализм избегает как дуалистской *проблематики*, так и аналитического редукционизма в его физикалистской или лингвистической версиях. И делает это он не потому, что концептуальный или лингвистический анализ сам по себе приводит к неисторическому или формальному подходу к проблеме, но потому, что условия методологии оказались ошибочными по отношению к условиям самой проблемы. Нет эволюции, нет истории, нет общества — нет и разума. И без этих *материалистических* параметров аналитические теории тождества будут несостоятельными при формулировке адекватной материалистической теории тела и сознания, оказываясь фактически в философском тупике.

ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И КРИЗИС МЫСЛИ

Гарри Уэллс

Наука логики представляет собой исследование структуры структур, структуры структур реальности в обоих ее аспектах — физическом и духовном. Поэтому она лежит в основе специфической структуры конкретных наук, конкретных областей искусства, конкретных методов и конкретных прикладных дисциплин. Она даже лежит в основе самой философии, там, где последняя имеет дело со структурой онтологических категорий. Тот факт, что логика сегодня находится в стадии глубоких, а подчас и мучительных преобразований, диктует необходимость исследования вопроса о ее роли в будущем.

Кризис мысли

Принципы и законы формальной логики направляют развитие наук главным образом в те периоды, когда они находятся на стадии классификации фактических данных: астрономию — при классификации небесных тел, геологию — при классификации крупномасштабных образований, включая земную кору, ботанику — при классификации растений, биологию — при классификации животных, историю — при классификации обществ, психологию — при классификации психических явлений и т. д. Вклад формальной логики в развитие наук в течение всех этих стадий, когда происходит первичная обработка фактов, вряд ли может быть преувеличен.

На первых этапах развития наук формальная логика обеспечивает один из двух элементов научной

читать все эти категории в универсальный категорический силлогизм: «Все люди равны, все люди — люди, следовательно, все люди равны». В логическом смысле мир борется за внедрение принципа тождества в качестве меньшей посылки силлогизма равенства, то есть вещь есть то, что она есть, А есть А; люди есть люди независимо от различий в цвете, расы, пола, национальности, классовой принадлежности, политических взглядов. Ясно, что подобный силлогизм с такой универсальной и тавтологичной меньшей посылкой находится с точки зрения своего истинного значения еще в процессе построения. Однако также ясно, что обоснование универсальной меньшей посылки и силлогизма в целом вынуждает реальность более или менее быстро преобразовываться и что окончательный результат теперь будет достигнут по той простой причине, что все народы где бы то ни было не успокоятся, пока они полностью не воплотят его в жизнь. XX век, по всей вероятности, будет характеризоваться именно этой исторической целью, а в логическом смысле он будет веком окончательного включения всех соответствующих меньших посылок в главную, тавтологическую универсальную меньшую посылку: люди есть люди. Революционная преобразующая сила формальной логики действительно велика, и ее в конечном итоге не следует отрицать.

Большие и меньшие посылки наподобие рассмотренных выше развиваются в течение долгих периодов времени от формальной обоснованности к своей истинной значимости посредством социальных и политических конфликтов, начиная с восстаний, революций, гражданских войн и войн против рабства всех видов и кончая забастовками, демонстрациями, движением женщин за свои права, борьбой за мир, битвами на выборах и участием колледжей в борьбе за университетские свободы и право на образование.

Однако если отвлечься от таких установленных самой историей силлогизмов, то можно видеть, что в науках переход от формальной обоснованности к истинному значению представляет собой исключительно трудную проблему, фактически настолько трудную, что в пределах границ формальной дедукции — индукции такой переход является теоретически невозможным. Классификаторная дедукция, формально объединенная с индукцией на основе наблюдения, бессильна установить несомненность и универсальность, которые требуются для категорического силло-

гизма при переходе от формальной обоснованности к истине. Эта проблема проистекает из самой природы традиционной индукции.

Индукция есть метод научного исследования, при котором происходит переход от частного к общему. На первых стадиях развития наук индукция ограничена наблюдением и движется от наблюдения и собирания фактов к достаточно очевидным отношениям между фактами. Гипотетический силлогизм классификаторной дедуктивной логики использовался для руководства наблюдениями, сбором данных и отбором корреляций. Например, если исследуемым явлением было преобразование воды в пар, то для руководства в исследовании может быть принят следующий гипотетический силлогизм: «Если верно, что вода кипит на уровне моря при 100°C , и если верно, что эта жидкость — вода, тогда будет также верно и то, что эта жидкость закипит на уровне моря при 100°C ». Этот вывод обычно выступает как предсказание, которое затем проверяется посредством доведения воды до кипения на уровне моря при 100°C . Проблема, характерная для традиционного научного метода, лежит в отношении между дедукцией и индукцией в форме наблюдения. Независимо от того, сколько раз заключение проверялось и сколько было сделано таких проверок, они никогда не могут быть достаточными для установления универсального истинного значения большей посылки. То, что любая вода на уровне моря кипит при 100°C , никогда не может быть установлено индукцией на основе наблюдения по той очевидной причине, что все случаи никогда не могут быть проверены. Самое большее, что можно установить индукцией на стадии наблюдения, — это некоторую степень вероятности для истинного значения большей посылки, которая есть результат того факта, что каждый раз, когда осуществлялась проверка, оказывалось, что дело обстоит именно так, а не иначе.

Форма индуктивного метода, связанная с наблюдением, может дать абсолютную несомненность и универсальность и поэтому может доказать истинное значение большей посылки только тогда, когда она используется в замкнутом круге явлений, по отношению к которому можно предпринять исчерпывающее обследование. Например, если после исчерпывающего обследования, предпринятого в некотором городе, в каждом из его домов будет обнару-

жен радиоприемник, универсальная истина и несомненность большей посылки будет достигнута в утверждении, гласящем, что все дома в городе А содержат по крайней мере один радиоприемник. Более точно следовало бы сказать, что в данный день (если бы было возможно такое обследование провести в один-единственный день) во всех домах имелся по крайней мере один радиоприемник. Однако в естественных и социальных науках, в которых прошлые, настоящие и будущие явления образуют бесконечный ряд, исчерпывающая проверка невозможна. В результате получается, что в индуктивном исследовании, основывающемся на наблюдении, статистическая вероятность, опирающаяся на адекватность выборки и вес эмпирических свидетельств, заменяется абсолютной универсальностью и несомненностью, обнаруживаемыми в обоснованной дедукции классификаторной формальной логики. Дедукция достигает формально обоснованной универсальности и несомненности ценой потери реальности и истины, в то время как индукция на основе наблюдения достигает частичной и статистически вероятной реальности и истины за счет универсальности и несомненности. Вы выбираете и платите: или вы жертвуете истиной ради эфемерной универсальности и несомненности, или вы жертвуете универсальностью и несомненностью ради точного воспроизведения истины. В пределах границ традиционного научного метода с его двумя компонентами — классификаторной дедукцией и индукцией на основе наблюдения наука не может иметь сразу как реальность, так и универсальность, как истину, так и несомненность.

Это и есть та дилемма, между крайностями которой безнадежно мечется наука и вместе с ней человеческое знание, мышление, искусство, техника и прикладные дисциплины и на которую в конце XIX века обратил внимание Чарлз С. Пирс. Но он не смог увидеть способ ее решения. Научное значение и мышление могут дать стимул лишь к формулированию мнения. Сам Пирс, однако, признавал три метода закрепления веры, убеждения: 1) авторитарный метод, использующий любые средства — от пропаганды и цензуры до массовых арестов и убийств; 2) метод упорства, при котором индивид отказывается выслушивать что-либо, что может опровергнуть его собственный специфический ряд верований; 3) наконец, последний, который Пирс называл методом

науки, основывается на согласовании мнений всех тех, кто исследует проблему, используя идентичную технику исследования. Метод упорства был принят Уильямом Джемсом в форме воли к вере, в то время как метод науки был усвоен Джоном Дьюи в его инструментализме. Инструменталистская теория реальности и истины, предполагающая, что последние зависят от знания большинства людей, использующих инструменты относительно того, как определять реальность и истину, сделалась краеугольным камнем философии Дьюи вообще и его философии воспитания в частности. Фактически это было подрывом самих корней (under cutting) истины и реальности и превращение их в разновидность человеческого субъективизма. Без реальности, существующей независимо от человечества, и без истины как соответствия идеи в человеческом уме чертам объективной реальности вряд ли возможно говорить о каком-либо интеллектуальном воспитании молодежи в учебных заведениях. Все, что в данном случае можно сделать, — это сообщить о том, в чем различные люди соглашаются или не соглашаются. В таком виде теория истины Дьюи, сводящаяся к так называемому научному установлению мнения посредством голосования большинством исследователей, составляет краеугольный камень, на котором основывалось практическое профессионально ориентированное образование в течение последних 60 лет. Если знание связано только с познающим или с познающими, то в этом случае все зависит от того, что люди называют «истинным» и «реальным», и тогда знание представляет собой лишь знание того, что истина есть истина и реальность есть реальность. Не удивительно, что, принижая знания, истину и реальность, теория воспитания Дьюи способствовала преобразованию школы из интеллектуальных учреждений в учреждения, ориентированные лишь в практическом и профессиональном направлениях.

Пирс, Джемс, Дьюи основывали свои теории истины и реальности на дилемме между формальной дедукцией и индукцией на основе наблюдения. Новая теория воспитания, направленная на интеллектуальное обучение, должна строиться на прочной основе рациональной и научной методологии, которая бы придала объективный смысл реальности, истине и знанию. Но такая основа может быть создана только тогда, когда будет разрешена дилемма

традиционного соотношения дедукции и индукции и найден путь теоретического соединения универсальности и несомненности с истиной. При этом решение указанной дилеммы может быть достигнуто лишь через исследование развития самих наук.

Пока науки находятся на феноменологической, описательной, классификаторной стадии, пока индукция ограничена наблюдением, до тех пор индукция на основе наблюдения составляет *modus operandi* наук. В этот период науки должны были примириться с существованием упомянутой дилеммы. Даже гуманистические большие посылки, такие, как «все люди равны», которые, если принимаются абстрактно, выступают в самом общем виде, покоились скорее на некоем сложившемся веровании или убеждении, чем на научно-универсальном и определенном знании. В рамках более ранних этапов развития науки, использующей традиционный метод индуктивного наблюдения, специфика и неопределенность утверждения «все люди равны» или даже высказывания «все люди — люди» обычно подкреплялась (или приводилась в качестве подкрепления) тем, что лежало на поверхности явлений. Неспособность науки в течение долгого времени доказать универсальность и несомненность гуманистических больших посылок задерживала переход в этих, как и в других областях, от обоснованности к истине. Дилемма соотношения индукции и дедукции в науке полностью признавалась и использовалась многими философами, чтобы нейтрализовать научную истину с откровенным намерением защитить, с одной стороны, исключительные права философии, а с другой — косвенным образом — магию, мифы, предрассудки и антропоморфические формы религии, на которой произрастает человеческое невежество.

В течение XIX века и вплоть до наших дней положение в науках, сначала в одной, а затем в других, стало радикально меняться. *Метод наблюдения* открыл дорогу *экспериментальному методу*; что же касается метода классификации, берущего во внимание внешние пространственные отношения и движения, то здесь открылся путь к рассмотрению процессов, внутренних пространственно-временных отношений, эволюции и преобразований. Теоретическая и практическая *модель* простой машины постепенно открыла дорогу к несравненно более сложной

органической модели (А. Н. Уайтхед) или, как это фактически имеет место сегодня в кибернетике, к модели саморегулирующейся машины с обратной связью (Норберт Винер). Все физические, биологические и социальные науки (определенное исключение составляют социология и психология) к настоящему времени уже прошли путь от стадии классификации до стадии исследования происхождения явления, его генезиса и от метода наблюдения до метода экспериментирования.

Метод наблюдения достаточен лишь для описательного изучения явлений и их внешних отношений и движений. Этот метод достиг значительных результатов в целом ряде наук — от классификации крупномасштабных явлений и объектов, таких, как минералы, камни, растения, животные, до открытия законов расширения газов и законов движения, которые, будучи объединенными и примененными на практике, привели к созданию паровых машин и двигателей внутреннего сгорания. Измерительная аппаратура плюс телескопы и микроскопы дали возможность методу наблюдения открыть структуру реальности в покое и движении. Однако успехи этого метода породили и пределы его применения. Когда задача классификации растений и животных близилась к своему завершению, такие науки, как ботаника и биология, например, натолкнулись на объекты, которые не поддавались классификации ни как растения, ни как животные, но которые обладали чертами тех и других. Это дало толчок развитию теории эволюции биологических видов. Подобные изменения происходили и в других науках. От рассмотрения одновременно существующих явлений они перешли к проблемам временного развития и преобразования, к проблемам внутренней связи между явлениями и их окружением. Метод наблюдения был, например, достаточен, чтобы открыть анатомическую структуру животного, человеческого тела и мозга, однако он был относительно бессилен перед лицом значительно более сложной задачи открытия фактов и законов реального физиологического функционирования жизненных процессов, которые координируются, регулируются и контролируются центральной нервной системой, в особенности мозгом и в еще большей степени корой головного мозга.

Метод наблюдения, примененный при исследовании физического мира или организма животного, дает

возможность получить массу знаний, касающихся статической структуры явлений, однако, когда он применяется в области эволюции, изменения, преобразования, роста, развития, функционирования и причинных пространственно-временных взаимосвязей, он может лишь дать нам массу описательных данных, плохо увязанных посредством предположительных догадок и теорий. Статистика становится главным инструментом описания, в то время как теоретическая организация статистических данных зависит в огромной степени от обоснованных предположений относительно реальных взаимосвязей, лежащих в основе наблюдаемых фактов и порождающих их. Например, психология значительно продвинулась вперед там, где ее задача состояла в выделении, изоляции, анализе и классификации компонентов человеческого мышления, но когда она начала исследовать посредством интроспективного или объективного наблюдения проблемы психического роста и развития, она распалась на множество сбивающих с толку «школ», каждая из которых претендует на то, что именно ее гипотезы являются более или менее истинными теориями реальных взаимосвязей психических явлений. Благодаря огромным усилиям психология накопила в области наблюдений колоссальную гору статистических данных, которые погребли под собой современных психологов, тщетно пытающихся найти выход из создавшегося положения путем жалкого неадекватного теоретического инструмента смутных догадок и предположений. Индуктивный метод наблюдения является эффективным орудием для открытия структуры статической реальности, однако он бессиле раскрыть структуру реальности развивающейся.

Наблюдение собирает то, что лежит в природе на поверхности. Эксперимент, напротив, более глубоко проникает в то, что скрывается под внешней оболочкой и составляет сущность развивающейся и взаимосвязанной природы, извлекая из нее то, что ему необходимо.

Экспериментальный метод не собирает (как это делает метод наблюдения) внешние данные, существующие одновременно и в последовательном порядке и которые должны быть затем объединены и организованы путем соответствующего предположения. Скорее, он открывает реальные внутренние и внешние, временные и пространственные связи, формы изменения и взаимовлияния явле-

ний тем, что управляет явлением, заставляя действовать поочередно разные связи, искусственно комбинируя и упрощая их. Короче говоря, эксперимент вскрывает на все более глубоких и всеохватывающих уровнях реальные взаимосвязи и изменения, лежащие в основе явления. Вместо описательных данных и гипотез, которые порождаются методом наблюдения, экспериментальный метод открывает факты и законы необходимых причинных связей в природе, человеке и обществе. Его предпосылки поэтому являются и определенными и универсальными, а не вероятными и частными, как в случае индуктивного наблюдения. В то время как наблюдение является *описательным*, эксперимент — *объяснительным*. Описательные данные и соответствующие гипотезы, касающиеся наблюдения, соотносятся с объяснительными фактами и законами эксперимента так же, как явление соотносится с сущностью. Не отрицая видимость, сущность связана с причинами того, почему явления кажутся тем, что они есть. Ни один эксперимент не отрицает наблюдения, а включает его как аспект экспериментального метода. В процессе эксперимента данные очищаются и отбираются, и те, которые имеют отношение к делу, трансформируются в факты; таким же образом отбираются гипотезы, связанные с наблюдением; и всякий раз, когда они оказываются успешными, они преобразуются в законы и системы законов в форме научных теорий или даже отдельных наук или отраслей наук с их собственными правами; наконец, из замеченных статистических корреляций можно извлечь соответствующие вероятности, которые далее с помощью эксперимента можно преобразовать в несомненность и универсальность фактов, законов и научных теорий.

Таким образом, метод эксперимента сохраняет то, что истинно и продуктивно в пределах старого метода индуктивного наблюдения, и в этом смысле он является консервативным. В то же время экспериментальный метод свидетельствует о радикальном изменении в научной методологии, а именно: о переходе от описания к объяснению, от данных к фактам, от предположений к законам, от спекуляций к научным теориям, от классификации к генезису явлений, от механического перемещения к изменению, от вероятности и частности к несомненности и универсальности.

Необходимо сказать также еще об одном изменении, консервативном и радикальном одновременно, которое связано с переходом науки к новому этапу ее развития. Это, вероятно, самое далеко идущее и самое важное из всех изменений, влекущее за собой глубочайшие последствия, которые едва ли еще в должной мере поняты человеческим разумом, так же как искусством и наукой, «чистой» и «прикладной». Этот окончательный переход, явившийся результатом замены индуктивного наблюдения и классификации явлений индуктивным экспериментом и генетическим подходом, означает также переход от классификаторной, или формальной, логики к генетической, или диалектической, логике. Это изменение, подобно другим изменениям, порожденным возникновением экспериментального метода, является консервативным, так как сохраняет в своем содержании то, что истинно и продуктивно в классификаторной логике, а именно законы и факты отношений импликации среди классов реальных вещей и их идеального отражения в понятиях и ощущениях и старый индуктивный метод перехода от частного к общему. Иными словами, диалектическая логика вбирает в себя целиком, как заслуживающую сохранения, науку дедукции и индукции.

Однако последние не остаются теми же самыми в новом контексте. С одной стороны, диалектическая логика преобразует старую формальную логику классификации, которая первоначально имела дело только с формальным обоснованием, в реальную логику классификации, имеющую дело с истиной. Это происходит посредством замены индукции наблюдения более совершенным индуктивным методом эксперимента как методом установления истинного значения больших посылок. Напомним, что индукция на основе наблюдения не достигла большого успеха в установлении универсальных и несомненных больших посылок, потому что она ограничена процедурой получения статистической выборки, которая может дать не более чем лишь некоторую степень вероятности и истинности больших посылок. Индукция на основе наблюдения, которая, согласно научным традициям, считалась единственным методом для установления истины, никогда не может достигнуть той универсальности большей посылки, которая допускала бы несомненность в выводе, требуемую центральным конструктом дедуктивной логики — катего-

рическим силлогизмом. Как энтитема первого порядка, индукция на основе наблюдения не способна выполнить задачу, возлагаемую на нее традиционной методологией науки. Поэтому и дедуктивная логика не может проявить всю свою потенциальную силу, оставаясь в научном познании на вспомогательных ролях.

Пытаясь втиснуть знания и истины, открытые научным экспериментальным методом, в ограниченную поверхностную форму дедуктивно-наблюдательной индуктивной схемы, тем самым пытаются свести универсальные и определенные факты, законы и теории экспериментальной науки к вероятности, оправдывающей утверждение, то есть в конечном счете к некоему мнению, оставляя открытым вопрос об объективном источнике научных открытий. Этот вопрос может быть адекватно решен только посредством категорического силлогизма, реконструированного внутри контекста диалектической логики.

Диалектическая логика преобразует науку логики в общую науку об абстрактной структуре реальности и мышления, которая охватывает истину, универсальность и несомненность как в сфере классификации, так и в области генезиса явлений. Это достигается, с одной стороны, посредством одновременного снятия метода индукции на основе наблюдения, сохраняя при этом дедуктивный подход, и, с другой стороны, путем замены метода индуктивного наблюдения методом экспериментирования и объединением дедуктивного подхода с экспериментальным методом генетической науки.

Диалектическая логика является наукой о наиболее абстрактной структуре реальных взаимосвязей между явлениями: пространственными и временными, механически движущимися и развивающимися, внешними и внутренними, физическими и психическими. Как таковая, она лучше всего соответствует экспериментальному методу и новому, имеющему 150-летнюю историю содержание наук. Она имеет дело с сущностью настолько же, насколько и с явлением, рассматривая их как неотделимые друг от друга, хотя и по видимости противоположные категории мышления. Диалектическая логика поднимает дедукцию традиционной логики до ее законного места путем соединения ее с экспериментом и тем самым дает возмож-

ность категорическому силлогизму покинуть тусклый мир формальной обоснованности для того, чтобы вернуться в земную сферу истины и реальности.

Принципы диалектической логики

Первый шаг в понимании любого явления состоит в классификации его содержания. Подобным же образом первая стадия любой науки есть классификация. Например, в ботанике и биологии первая стадия, продолжавшаяся около 2500 лет, состояла в классификации растений и животных; в астрономии — в классификации небесных тел, в истории — в классификации видов общества, в психологии — в классификации психических качеств. Философские категории, соответствующие этой первой стадии науки, исходили, среди прочего, из таких представлений о природе, как ее статичность, или неизменность, возможность выделения и анализа явлений без их искажения. Пространство представлялось как место, в котором существуют вещи, время — как простая длительность, движение, сводимое лишь к механическому перемещению, причинность как внешнее воздействие толчка или усилия.

Логика, соответствующая этой первой стадии наук, основана на принципе тождества: явление есть то, что оно есть, A есть A ; принципе противоречия: явление не может быть в одно и то же время тем, что оно есть, и чем-то другим, A не есть не- A ; и, наконец, на принципе исключенного третьего: явление выступает или тем, что оно есть, или тем, чем оно не является, или A , или не- A . Эти принципы оказываются минимальными условиями при определении и классификации и фактически отражают действительные уровни объективной реальности, включая материальный мир, язык, логику и мышление. Логика, основывающаяся на этих трех принципах, была логикой классификации с ее парными категориями: класс и член, род и виды, универсальное и индивидуальное, общее и частное, качество и количество, один и многое и т. д. Структура классов, отражая в языке структуру онтологических уровней, зеркально отражалась в классификаторном силлогизме: большая посылка как отношение между родом и видом, между включаемыми и включен-

ными, исключаемыми и исключенными классами, малая посылка — как отношение между индивидами и видами, членом и классом; и заключение — как выводимое отношение между индивидом и родом, членом и включенным или исключенным классом.

Классификаторная логика лежит, например, в основе подхода к вопросу об отчуждении, являясь необходимым первым шагом в понимании природы этого явления. Упорядочение взаимно исключаящих друг друга классов отчуждения и условий отчуждения, упорядочение видов экзистенциального отчуждения индивидов, состояний или чувств их отчуждения вместе с массой более мелких специфических оттенков, составляет необходимый первый шаг в попытке понять отчуждение. Анализ и синтез отношений во внешней классификационной схеме организуют мириады явлений отчуждения в понятийную структуру, отражающую различные уровни, одновременно существующие в мире и в мышлении человека. Однако систематизирующий подход не является объяснительным или причинным и поэтому не приводит к пониманию отчуждения как процесса, имеющего начало, середину и предсказываемый конец. Короче говоря, этот подход не раскрывает структуры внутренних, временных и пространственных взаимосвязей, которые дали бы возможность человеку обращаться с этим явлением таким образом, чтобы в конце концов трансформировать его. Дело ведь не только в том, чтобы выявить и классифицировать различные аспекты отчуждения как статического человеческого состояния, но и познать его причины и внутренние связи с целью их изменения.

Второй этап исследования любого интересующего нас явления состоит в том, чтобы уяснить его происхождение, развитие и направление движения, понять его не только как единый класс с подклассами, но и как единый процесс с рядом субпроцессов. Подобным же образом для второй стадии развития любой науки характерно сосредоточение усилий на рассмотрении процессов и в равной мере акцент на временных и пространственных связях, а также внутренних и внешних взаимодействиях. На протяжении последних 150 лет почти все естественные и социальные науки перешли к изучению развивающихся структур: в астрономии это произошло начиная с Канта и Лапласа, в геологии — с Лайеля, в логике — с Гегеля,

в истории и политэкономии — с Маркса и Энгельса, в биологии — с Дарвина, в физике — с Эйнштейна, в физиологии высшей нервной деятельности — с Павлова и т. д. Фактически математика явилась первой наукой, которая с момента создания Лейбницем и Ньютоном математического анализа вплотную приступила к структурному анализу процессов.

Одним словом: формальная, или классификаторная, логика есть структура классов в целом, генетическая, или диалектическая, логика есть структура процессов в целом.

То, что Гегель называл «естественной» логикой (как классификаторной, так и генетической), воплощается в языке. Язык отражает реальность в словах (словарь существительных, глаголов и т. д.) и в структуре предложения (грамматика). Естественная оценка есть отражение реальности во взаимосвязанных предложениях, которые организованы в цепь аргументов (обычно как эпитема — сокращенный силлогизм). На протяжении двух миллионов лет своей эволюции человек должен был по преимуществу иметь дело с классификацией вещей и их изменениями и поэтому должен был развить способы лингвистического и логического отражения как классов, так и процессов. Наука логики, подобно науке лингвистики, возникла уже на поздней стадии человеческого развития — в последние 3 тысячи лет. Тот семантический факт, что в отношении языка мы имеем отдельное и отличное от языка название для науки о нем, то есть лингвистику, а в отношении логики этим термином обозначается как само явление, так и сама наука о нем, вызывает некоторую путаницу в этом вопросе.

Как уже говорилось, в историческом плане первоначальной задачей наук была классификация их соответствующих предметов, что в свою очередь привело к развитию прежде всего науки классификаторной логики. Поэтому первой стадией развития науки логики была классификаторная, или формальная, логика. Вторая стадия развития наук, ставящая задачу понимания изучаемых нами предметов как процессов, стимулировала развитие нового этапа науки логики, а именно логики генетической, или диалектической. В качестве наук обе логики — классификаторная, или формальная, и генетическая, или диалектическая, — составляют две последовательные стадии в развитии науки логики как целого. Общая наука

логики с двумя ее исторически составляющими стадиями есть наука о структуре структур материального мира и их отражении в человеческом сознании посредством естественного языка и естественной логики. Если логика как целое (в той мере, в какой она развита в данное время) есть структура структур окружающего мира и мышления, тогда классификаторная, или формальная, логика есть структура классов вообще, в то время как генетическая, или диалектическая, логика есть структура процессов вообще. Каждая стадия науки логики лежит в основе соответствующей стадии любой науки — естественной и социальной — и получает в ней свое выражение.

В качестве науки о структуре структур или изменении вообще диалектическая логика имеет дело с силлогистическим отражением начала (или происхождения), промежуточной стадии (или развития) и конца (или преобразования), которые последовательно имеют место в любом процессе. Диалектическая логика постигает структуру этого силлогизма по крайней мере на четырех уровнях, переходя от явления к сущности, а от нее — к более глубокой сущности и затем еще более глубокой сущности.

Первый уровень отражения генетического, или диалектического, силлогизма процесса или изменения рассматривает три стадии развития — начало, середина и конец, — исходя из качественных и количественных изменений. Силлогизм здесь рассматривает начало, или происхождение, как переход качественных изменений в количественные изменения: «новая» вещь или мысль возникают (проистекая, очевидно, из предшествующего этапа количественного развития) и начинают развиваться количественно. Средняя фаза силлогизма есть количественное развитие качества: вещь или мысль остаются теми же самыми только путем изменения и изменяются, только оставаясь теми же самыми. Конечная фаза силлогизма есть переход количественного изменения в качественное изменение: вещь или мысль остаются теми же самыми только путем изменения, и притом изменяясь до такой степени, при которой они больше не могут изменяться, не превращаясь во что-то еще, то есть в «новое» качество.

В отношении этого первого уровня диалектического силлогизма можно сделать некоторые обобщения. (1) Всякое начало чего-либо есть также и конец, и всякий конец есть начало. (2) Между началом и концом сущест-

вует более или менее длительное развитие, в течение которого качество остается тем же самым, лишь изменяясь в степени. (3) Понятие количественного изменения включает в себя принцип тождества формальной, или классификаторной, логики, но преобразованной на основе процесса изменения. (4) Как процесс вещь или мысль являются тождеством (A есть A) только потому, что они изменяются в количественном отношении до такого момента, когда эти изменения приводят к новому качеству, становясь «новым» тождеством (в котором B есть B). (5) Подобным же образом понятие количественного изменения сохраняет в диалектической логике принцип противоречия, так как, поскольку процесс изменяется количественно, он не является чем-то другим, чем он есть (A не есть не- A). (6) Кроме того, первый уровень диалектического силлогизма сохраняет принцип исключенного третьего в форме количественного изменения, в течение которого вещь или мысль являются или этой, или той (или A или не- A). (7) В то время как в отношении количественного изменения три принципа формальной логики сохраняются, диалектический силлогизм отражает также тот факт, что тождества возникают и исчезают, что они претерпевают качественное изменение. (8) И наконец, последнее по порядку, не по значимости обобщение гласит, что количественное изменение на одном уровне реальности может выступать как качественное на другом и обратно; то, что является качественным изменением на одном уровне, выступает количественным изменением на другом. Это положение не означает произвольности выбора уровня абстракции, которая определяет вид рассматриваемого изменения, а отражает тот факт, что абстракция мысли, чтобы быть истинной, должна соответствовать действительным уровням реальности.

Второй уровень диалектического силлогизма, пропикающий более глубоко в структуру процесса, имеет дело с взаимосвязью содержания и формы как качественной особенности вещи или мысли, которая развивается от своего начала через середину к своему концу. Здесь участвует одна из главных категорий диалектической логики, а именно противоречие. Центральная черта противоречия состоит в том, что отрицание несет в себе утверждение, а утверждение содержит в себе отрицание. Рассмотрение вопроса о том, что одновременно отрицается

и утверждается и как эти утверждения и отрицания согласуются, затрагивает вопрос о взаимосвязи содержания и формы.

В начале фазы второго уровня диалектического силлогизма (или уровня противоречия), когда новое качество возникает и начинает развиваться количественно, это качество рассматривается как особое содержание, возникшее в особой форме, то есть как особая форма этого особого содержания. В начале процесса отношение формы к содержанию выступает отношением соответствия. Это соответствие означает, что форма дает возможность развиваться содержанию. В средней фазе уровня противоречия диалектического силлогизма, поскольку качество развивается количественно, форма еще соответствует содержанию, давая возможность последнему развиваться. Но именно это и подводит содержание все ближе и ближе к моменту, когда форма перестает соответствовать ему. Тождество вещи или содержания можно теперь видеть не только в количественном изменении, но также и в том, что и содержание и форма остаются теми же самыми. Однако они остаются теми же самыми только благодаря движению от первоначального соответствия к конечному несоответствию формы и содержания. Это есть аспект того, что обозначается термином «противоречие». Между содержанием и формой имеет место развивающееся противоречие. Обе стороны не могут существовать порознь, но в то же время они существуют вместе, только развиваясь от соответствия к несоответствию. Изменение является количественным, пока имеет место то же самое противоречие внутри вещи или понятия. Диалектический принцип тождества заключается в обоих этих аспектах. Конечная фаза второго уровня диалектического силлогизма есть момент перехода количественного изменения в качественное изменение, момент, в котором форма приходит в несоответствие с содержанием. Содержание взрывает старую форму и порождает новую, которая соответствует новому уровню развивающегося содержания. Это определяет разрешение старого противоречия и возникновение нового.

.Сделаем теперь несколько обобщений, относящихся ко второму уровню диалектического силлогизма, то есть уровню противоречия. (1) Противоречие развивается от своего начала к своему разрешению. Если каждый шаг

в этом движении является частичным разрешением противоречия, то есть если точка несоответствия формы содержанию имеет место в момент самого тесного единства этих двух сторон, тогда говорят, что разрешение противоречия не имеет взрывного характера и само противоречие неантагонистическое. Если, с другой стороны, каждый шаг в движении противоречия расширяет пропасть между формой и содержанием, то есть форма движется в направлении, противоположном содержанию, тогда точка несоответствия формы содержанию имеет место в момент острейшего разногласия. В таком случае говорят, что разрешение противоречия имеет взрывной характер, а само противоречие должно быть антагонистическим.

(2) Другое замечание относительно второго уровня диалектического силлогизма касается категории отрицания и отрицания отрицания. Обе категории начинают действовать с момента качественного преобразования формы и содержания. Первое отрицание означает разрыв формы и содержания или отбрасывание формы и сохранение содержания. Оно есть отрицание формы и утверждение содержания. Это есть сохраняющийся или, если угодно, консервативный аспект диалектики. Второе отрицание — отрицание первого отрицания — является снятием или восхождением и преобразованием содержания на новый уровень через его освобождение от тесных рамок старой формы и в то же время установление новой формы, которая вначале соответствует новому уровню содержания. Это есть творческий, или созидательный, аспект диалектики.

(3) Третий, и последний, уровень диалектического силлогизма проникает еще глубже в структуру процесса. Он является отрицанием и отрицанием отрицания законов классификаторной логики. Здесь законы и принципы берутся в классическом смысле — и как законы онтологические, и как законы логические; и как законы бытия, и как законы мышления; другими словами, как законы материального мира, отраженные через язык и логику в законах мышления. Диалектическая логика рассматривает первые законы классификаторной логики — законы тождества и противоречия — как законы содержания и формы. Закон тождества есть содержание, а закон противоречия есть форма, соответствующая содержанию тождества. Таким образом, закон тождества, состоящий в том,

что вещь или мысль есть то, что она есть (A есть A), является содержанием, которое развивается на протяжении всей истории логики независимо от того, формальная она или диалектическая. Закон противоречия, состоящий в том, что вещь или мысль не есть то, что она не есть (A не есть не- A), является формой этого содержания, возникшей на классификаторной стадии развития логики. Поскольку первоначальной задачей науки была классификация предметов, эта форма закона тождества соответствует содержанию. Классификационная форма тождества устанавливает, что A есть A и не какое-либо неспецифическое пространственное или временное не- A . Одна вещь или мысль отделяется от всех других вещей или мыслей, отличных от нее. A есть специфическое или особенное A , в то время как не- A является неспецифическим и универсальным, включая все, что не есть A . Лишь тогда, когда классификационные структуры различных наук начали разрушаться, то есть когда было обнаружено, что определенные вещи не могут быть систематизированы просто как те или иные, классификационная форма тождества пришла в несоответствие с содержанием тождества. Последнее превращается из статичного класса в динамический процесс. В науке логики это означает, что тождество как процесс или изменение требует отбрасывания старой формы и удержания содержания, а именно тождества. Это разрушение старой формы и высвобождение из нее тождества устанавливает первое отрицание законов формальной логики. Это есть утверждение содержания и отвержение формы. Второе отрицание, отрицание отрицания, есть снятие содержания, восхождение и преобразование старого содержания тождества в качестве процесса, имеющего начало, середину и конец. Это новое содержание тождества затем требует и создает новую форму, которая соответствует процессу. Эта новая форма есть отрицание отрицания старой формы. Она является, с одной стороны, отбрасыванием неспецифического, универсального не- A и, с другой стороны, снятием, восхождением и преобразованием не- A , преобразованием универсального не- A в конкретно-временное не- A тождества A . Конкретно-временное не- A тождества A есть особое прошлое и особое будущее A , так как оно изменяется от своего начала через середину к своему концу.

Третий уровень диалектического силлогизма имеет дело с отрицанием отрицания законов формальной логики. Принцип тождества как процесс в своей новой форме утверждает, что вещь или мысль есть то, что она есть, потому что она есть то, чем она была, и то, чем она становится. То, что было, и то, что становится, являются конкретными противоположностями в том смысле, что прошлое является противоположностью будущего. Новый диалектический уровень тождества является тождеством противоположностей: А есть А, потому что А есть конкретное прошлое не-А и конкретное направление изменения в конкретное будущее не-А. Содержание тождества сохраняется, но в новой форме: вместо наличия тождества, исключающего универсальное временное не-А, появляется тождество, включающее конкретное временное не-А. Краеугольным камнем диалектической логики является принцип или закон тождества противоположностей. Диалектическая логика включает в себя классификацию, но это есть форма классификации процессов — типов или классов процессов. Диалектическая логика не отбрасывает формальную логику, а выступает, скорее, отрицанием и отрицанием отрицания ее. Содержание классификации сохраняется, но в снятом виде и получает новую форму. Диалектический силлогизм воплощает это новое соответствие формы содержанию: структура процесса изменения от одного класса к другому, в котором каждый класс (или его член) сам является процессом со своими собственными конкретными временными не-А, своим собственным прошлым и конкретно направленным будущим.

В отношении закона тождества противоположностей можно сделать ряд выводов. (1) Противоположности, составляющие тождество, взаимно проникают друг в друга до такой степени, что не могут существовать раздельно. Отделение их невозможно без разрушения или искажения тождества. (2) Хотя противоположности не могут существовать порознь, они равным образом не могут существовать вместе без того, чтобы не изменять друг друга. Это называется конфликтом противоположностей внутри тождества. Тождество останется тем же самым, несмотря на то, что изменяется количественно, поскольку оно включает те же самые противоположности. (3) Однако противоположности взаимопроникают, сталкиваются и в конце

концов изменяют одна другую. В этот момент преобразования, качественного изменения противоположности разрушают друг друга и при этом отрицают тождество, содержание тождества снимается, и новая пара противоположностей образует новое тождество. (4) Каждое тождество составлено из одной-единственной пары противоположностей, но каждая из этих противоположностей есть тождество, состоящее из своих специфических противоположностей. (5) Таким образом, внутри любого тождества есть целая структура тождеств противоположностей, уровней внутри уровней, стадий внутри стадий процессов. (6) Силлогистически это можно было бы отразить как цепочку силлогизмов от более общего к более частному, от более абстрактного к более конкретному, или наоборот. Эта структура тождеств противоположностей, которая логически отражена во взаимосвязанных силлогизмах, может быть представлена графически. (7) Внутри каждой пары противоположностей имеется одна противоположность, которая является определяющим элементом: она вызывает качественные изменения в другой, которая, действуя обратно на первую, вызывает количественные изменения. (8) Итак, внутри любой структуры тождеств противоположностей будет пара противоположностей, которая представляет движущую силу всего тождественного процесса. Когда эта пара развивается, то в конечном счете будет развиваться вся структура. (9) Пара противоположностей, воплощающих в себе движущую силу, внутри структуры противоположностей является детерминирующим элементом. Движущая сила есть источник самодвижения тождества — класса, качества, вещи или мысли.

Между тремя уровнями диалектического силлогизма имеет место множество взаимосвязей. Например, определяющим элементом в любой паре противоположностей на уровне противоречия является содержание, в то время как определяемым элементом — форма. Далее. То, что является тождеством противоположностей на одном уровне, выступает противоречием на другом. Наконец, то, что является тождеством противоположностей на одном уровне и противоречием на другом, выступает в обоих случаях количественным изменением, в течение которого класс, качество, вещь или мысль остаются теми же самыми. Таким образом, содержание принципа тождества внутри ди-

алектической логики сохраняется, хотя и в снятом виде.

Три уровня диалектического силлогизма, отражая все более и более существенные уровни структуры онтологического процесса внутри данного тождества, эксплицитно имеют дело с временными взаимосвязями между их специфическим прошлым и специфическим будущим, поскольку они взаимопроникают и сталкиваются, образуя свое настоящее. Однако диалектика в ее полном объеме обнаруживается в пространственных взаимосвязях между двумя неделимыми тождествами. Каждое из этих тождеств является структурой из пары категорий. Пространственные взаимосвязи спаренных тождеств имеют дело с отрицанием и отрицанием отрицания формально логических принципов тождества и противоречия, взятых в их пространственном значении. Класс, качество или вещь суть то, что они есть. А есть А и не является чем-то еще, и не есть не-А, где не-А относится ко всем вещам, существующим отдельно от А. Формально-логическое пространственное не-А является универсальным. Оно выступает как различие между А и всем, что пространственно есть не-А. Первое отрицание универсального пространственного не-А является отбрасыванием универсальной формы и сохранением содержания пространственного не-А. Отрицание этого отрицания является снятием пространственного не-А, которое и преобразует его в специфическое пространственное не-А тождества А. Это новое содержание порождает новую форму: специфическое не-А тождества А является тем окружением А, без которого ни А, ни специфическое пространственное не-А не могут существовать.

Рассматривая два тождества противоположностей (А и его окружающее не-А), диалектическая логика имеет дело с отношением категорий, отражающих уровни реальности в бытии субъекта и объекта, внутреннего и внешнего, атрибута и свойства, необходимости и случайности, времени и пространства. Внутренняя временная необходимость порождает внешнюю пространственную случайность, которая в свою очередь является необходимой для внутренней временной необходимости не-А тождества А, и наоборот. Время есть внутреннее развитие А от своего начала к своему концу, и это временное развитие, действуя пространственно, становится внутренней частью вре-

менного развития специфически пространственного не-А, и обратно. Здесь в диалектике внешних или пространственных взаимосвязей А и его специфического пространственного не-А имеет место отражение преобразования субъекта в объект и объекта в субъект, внутреннего во внешнее и внешнего во внутреннее, атрибута в свойство и свойства в атрибут, необходимости в случайность и случайности в необходимость и, наконец, времени в пространство и пространства во время.

Когда эти в пространственном отношении два тождества (А и его специфическое не-А) рассматриваются как противоположности внутри тождества, содержащего эти тождества, они преобразуются в тождество противоположностей, в отношении которых действуют все законы и обобщения, так же как и уровни диалектического силлогизма, соответствующего таким тождествам. Поэтому то, что является пространственным отношением на одном уровне, является временным отношением на другом, и наоборот.

Таким образом во временном и пространственном отрицании и отрицании отрицания законов формальной, или классификаторной, логики представлена, хотя и в эскизном виде, вся диалектика; как видим, диалектическая логика является структурой временных и пространственных взаимосвязей процессов вообще. Эта наиболее абстрактная структура может быть далее применена к более конкретным, хотя все еще также абстрактным структурам тех наук, которые дают возможность понять исторически определенные условия, создающие психологический синдром отчуждения.

Логическо-диалектическая система, структурирующая категории любого данного явления или науки, относится к объективной реальности вследствие того, что она есть отражение в человеческом сознании тех аспектов и уровней реальности, с которыми сталкивается общество в своей практической деятельности, например в промышленности и в науке. Практическая деятельность общества порождает и проверяет человеческое отражение структуры уровней реальности. Логика является отражением структуры структур реальности на том уровне, на котором общество взаимодействует с ней. Это есть обобщение структуры классов и процессов, в том виде, как они отражаются в различных науках и проверяются через эти на-

уки. Окончательная же проверка истинности отражения заключается в степени ее эффективности по руководству практической деятельностью человека, направленной на преобразование окружающей его среды для удовлетворения своих нужд и потребностей. Логика является самым абстрактным уровнем отражения мира человеком и себя самого, и притом истинным в той мере, в какой оно соответствует тем уровням мира, которые вовлечены в человеческую деятельность.

В основе как классификаторной, или формальной, логики, так и генетической, или диалектической, логики лежит теория познания как отражение объективной реальности и теория истины как соответствие этой реальности. Эти теории лежат в основе практической и теоретической деятельности человека. Структуризация категорий гносеологии, то есть познания и теории познания, является одной из главных задач диалектической логики.

Логика имеет как онтологический, так и логический аспекты отнесенности. Она выражается в науках или имплицитно, или эксплицитно. Имплицитно — когда ученые не подозревают, что они ее используют, эксплицитно — когда они это осознают. Логика как на своем формальном, так и на диалектическом этапах развития полностью используется в науках, поскольку она уже в них воплощена и выражена. Науки отражают уровни окружающего мира, и эти уровни являются одновременно как классами, так и процессами. Таким образом, два уровня логики всегда и всюду присутствуют в науках в той мере, в какой они верно отражают стороны объективной реальности. Применение логики к категориям науки следует понимать не как попытку втиснуть последние в наперед заданную форму, а лишь как попытку извлечь абстрактную структуру, конкретно воплощенную в научных теориях, законах, фактах.

III. КРИТИКА БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ

ИМПЕРИАЛИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ

Герберт Антекер

В 1877 г. Энгельс в своей работе «Развитие социализма от утопии к науке» отмечал, что «политическое и интеллектуальное банкротство буржуазии едва ли составляет тайну даже для нее самой...»¹. Девяносто лет назад, чтобы видеть это, все же нужна была проницательность Энгельса. Сегодня о банкротстве говорят уже сами банкроты. Так, Ричард Гудвин, помощник президента США, в 1965 г. писал: «Мы не уверены в правильности пути, по которому мы идем... У нас имеются новые проблемы, однако интеллектуальные ресурсы нации — исторический источник социального прогресса — не дают нам ответа, как решить эти проблемы»².

Страна полна не только смогом и слезоточивым газом. Последние — лишь наиболее очевидные приметы разлагающегося социального строя. Если бы новому Гиббону пришлось сегодня писать об упадке и падении империи Соединенных Штатов, материала для этого у него было бы предостаточно. Духовный регресс — результат процессов распада в американском обществе. Причем этот регресс носит не только постоянный характер, но и в определенном отношении поощряется правящим классом, будучи для него выгодным. Ядром духовного регресса служит иррационализм, упадок разума, отрицание науки, отказ от анализа причинных связей. Закономерное следствие

¹ См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, стр. 226.

² Цит. по: Richard Rovere. «The New Yorker», August 14, 1965.

этого чаще всего — цинизм; пескольво реже — садизм. Но так или иначе, а финалом оказывается фашизм.

Уровни деградации американского общества различны. Полки книжных магазинов США завалены дорогой книжной макулатурой, где нет объяснения поступков героев, нет настоящих человеческих чувств, нет трудностей, сомнений; нет теплоты, любви, жалости; нет никакой мысли и нет живых людей. То же самое (если не больше) можно сказать и о кино, имея в виду не только порнографические фильмы, показываемые в специально предназначенных для этого заведениях, но фильмы широкого проката, массового потребления. Основная и наиболее характерная черта этих фильмов — полное отсутствие какой-либо мысли в сочетании с показом бьющих по нервам зрителя жестоких сцен насилия и убийств.

Джозеф Вуд Кратч — одип из наиболее почтенных и старших по возрасту литературных критиков, считающийся «старомодным» в своих взглядах, полагает, что «упор на насилие, извращения и нигилизм», характерные для большинства романов и пьес, выходящих в США, «объясняются презрением к миру, людям». Вот что он говорит по этому поводу: «Никогда еще не существовало искусства, в котором бы в такой степени доминировала всеохватывающая ненависть. Когда-то писатель ненавидел отдельных «плохих людей». Затем он начал ненавидеть общество, которое несет ответственность за появление таких плохих людей. Теперь же его ненависть направлена не на индивидов или общество, а на весь мир, в котором плохие люди и плохое общество есть не что иное, как выражение зла, присущего самой вселенной»¹.

Вот образчик рекламы нового романа газетой «Нью-Йорк таймс» (от 3 мая 1967 г.) «...клубок жестокости, боли, крови, побоев, криков, стонов, пыток, рабского унижения и наслаждения — от ударов плетей и руками, экстаз с «соприкосновения и т. д.».

Обозреватель газеты «Нью-Йорк таймс» Рассел Бейкер писал в номере от 3 августа 1967 г., что типичное

¹ «The Saturday Review», May 6, 1967. Более исчерпывающий анализ этих тенденций см.: Sidney Finkelstein. *Existentialism and Alienation in American Literature*. New York, International, 1965, в особенности страницы 285—298. Замалчивание этой книги коммерческой прессой есть не что иное, как признание заслуг ее автора.

зрелище, показываемое по американскому телевидению, — это, как правило, батальон жертв, избиваемых дубинками, расстреливаемых из пулеметов, закалываемых штыками, стоящих под дулами пистолетов, раздавливаемых гусеницами танков, избиваемых до бесчувствия кулаками и т. д. А вот что пишет кинообозреватель той же газеты Босли Краутер (в номере от 4 июля 1967 г.) о фильмах эпического жанра: «...грандиозные взрывы, грохот пушек, свист пуль, конвульсии умирающих людей — все это создает визуальные и слуховые стимулы, пробуждающие у зрителей жажду насилия и убийства».

Говоря о пьесах, идущих на Бродвее, как, впрочем, и в достаточном удалении от него, Вальтер Керр в одном из номеров газеты «Нью-Йорк таймс» (26 января 1969 г.) отмечает: «Сегодня не принято спрашивать, о чем пьеса. Это неважно, поскольку содержание, как и вся композиция в целом, не имеет никакого значения. Пьеса — это просто мимолетные впечатления, беспорядочные и хаотичные... от зрителя требуется лишь спокойно сидеть, смотреть на сцену и не пытаться понять что-либо».

Другим специфическим источником и выражением иррационализма в США является расизм. Связь последнего с иррационализмом была показана Клегорном — издателем «Атланта джорнэл», в его небольшой книге «Радикализм в южном стиле: заметки об экстремизме Юга». Название книги не совсем удачно, потому что в ней речь идет не о радикализме, а о реакции в США, в основном о реакционном течении Джорджа Уоллеса. Клегорн всячески подчеркивает тот факт, что в нем отражается столь характерный для господствующей политики в южных штатах иррационализм. Этот иррационализм есть расизм, захлестнувший США и Юг страны в особенности, идеология, открыто выступающая против элементарных принципов демократии. Мышление сторонников Уоллеса, пишет Клегорн, носит явно параноидный характер. Оно обусловлено навязчивыми идеями необходимости защиты, предельной узостью их кругозора; в основе всего этого, конечно, лежит система эксплуатации и подавления, хотя Клегорн говорит об этом и не совсем ясно. Но он совершенно определенно показывает иррационализм расизма — как квинтэссенцию иррационализма. Иррациона-

лизм — это та цена, которую платят американцы за расизм.

Затмение разума происходит подчас в довольно неожиданных формах. В качестве примера здесь можно привести эмпирическую тенденцию использования математики и вычислительных методов при анализе явлений действительности, и в особенности социологии, которая отрицает наличие причинных связей в социальных явлениях, оправдывая тем самым отказ от какой-либо оценки или объяснения причин этих явлений. Такой подход широко распространен, в особенности в историографии. Другими примерами фальсификации мышления могут служить антигуманные писания Гермапа Кана и псевдонаучные творения Збигнева Бржезинского; апокалиптические видения Нормана Брауна, утверждающего, что главное — это субъективное и так пазываемое бессознательное. Сюда же относятся недавние работы Герберта Маркузе с их граничащей с отчаянием рефлексией и акцентом на субъективном и психологическом состоянии индивида; попытки применить концепции экзистенциализма к социальным вопросам, как это имеет место в работах Джона Уайлда, которые фактически отстраняют социальные науки от решения их подлинных проблем. И наконец, «новая религия» Тимоти Лири, согласно которому: «Мы должны устанавливать бессловесные способы общения, чем мы освободим нашу нервную систему от удушающей тирании простоты слов»¹.

Помимо хорошо известных нападок на теорию цепностей и этику, рассматриваемых или как непознаваемые, или просто не имеющие никакого отношения к науке, появляются признаки отрицания роли эпохи Просвещения в развитии человечества. Мы далеки от того, чтобы отрицать существование проблем, которые философскими школами эпохи Просвещения никогда не рассматривались. Мы имеем в виду, например, такие проблемы, как природа власти, зла, некоторые проблемы психологии

¹ Библиография по этому вопросу займет слишком много места. Однако следует обратить внимание на работы: N. O. Brown. *Love's Body*. N. Y., 1966; John Wild. *Existence and the World of Freedom*. Englewood Cliffs, N. Y., 1963; and Timothy Leary and Richard Alpert. *The Politics of Consciousness Expansion*, «The Harvard Review», I (Summer 1963), p. 35.

в целом. Но в данном случае мы имеем в виду совсем другое. Так, в очерке Рональда Сампсона «Колочение шипы власти» мы читаем: «Только рассматривая отдельного индивида, мы сможем осмыслить идеалы прогресса, демократии и социализма»¹. И далее: «Нужны длительные психотерапевтические усилия, направленные на воспитание и образование детей, цель которых поднять творческий потенциал человека, но без того, чтобы противопоставлять его природе».

Идеи такого рода относятся даже не к домарксистскому периоду, а к периоду, предшествующему утопическому коммунизму Оуэна. И безусловно, мы не можем идти вперед, взяв на вооружение подобные идеи. Совершенно ясно, что общество, основанное на конкуренции, будет иметь и соответствующую систему образования; борьба против этого общества должна осуществляться на всех уровнях, включая и образовательный, но при этом не следует забывать об основной стратегической цели, а именно о необходимости борьбы за преобразование общества.

Возможно, наиболее ярким примером бегства от разума служат фантастические причуды канадского социолога Маклюэна. Примечательно, что именно в США этот научный суррогат был встречен как настоящее откровение даже в академических кругах и из него сделали настоящий культ. Английский ученый Хардинг, тщательно анализируя работы Маклюэна, отмечает: «Явная бессвязность его мыслей и пренебрежение очевидными вещами характерна не только в трактовке им второстепенных вопросов, но то же самое относится и к узловым концепциям его системы. Тем не менее мы наблюдаем известную популярность этой теории. По-видимому, в нашем образовании есть нечто способствующее пренебрежению здравым смыслом и тем самым принятию «теорий» Маклюэна»².

В своей очень важной (и поэтому пренебрегаемой) книге уважаемая английская писательница Памела Хансфорд Джонсон настаивает на том, что все «должны знать основную причину появления потока садо-мазохистской, жесткой (hard-core) порнографии». Вот что она пишет: «Эта литература не может издаваться добрыми,

¹ «The Nation», December 16, 1968.

² «New York Review of Books», January 2, 1969.

любящими людьми, помогающими создавать культурное и гармоническое общество. Такие люди могут и быть, но я говорила о других людях коммерческого общества, обладающих огромной властью. Вот эти люди издают подобную литературу, ибо они зарабатывают на этом деньги. Причина всего этого проста — погоня за прибылью, и ради последней они и делают это»¹.

На наш взгляд, это непосредственная причина, но она далеко не главная. Действительно, погоня за прибылью существует уже давно, но основная причина, заставившая миссис Джонсон написать свою книгу, выражается в одном слове «потоп» — книжный рынок буквально затоплен порнографией. Но так может обстоять дело только в отмирающем обществе; в то же самое время для тех, кто правит нашим обществом, издание порнографии и литературы, смакующей насилие, — это не только извлечение прибыли, но и насаждение бесчеловечности.

Уолтера Липпмана, недавно скончавшегося известного американского журналиста, спросили: «Не является ли время, переживаемое нами сейчас, самым худшим временем в Вашей жизни и в жизни нашей страны?» Липпман, чья творческая жизнь началась еще в 1910 г., ответил: «Да, это так. Я обеспокоен состоянием страны сейчас больше, чем когда-либо. То, что я наблюдаю, — это крушение надежд, веры и воли — силы воли и духа...»²

Примерно то же самое сказал и Генри Стил Коммэджер, современник Липпмана и не менее чем он известный в США человек: «Мы не только запутались, но и бессильны, бессильны интеллектуально и морально... Мы потеряли уверенность в самих себе, растратили свою энергию, растеряли свои мечты, заменили принципы антипринципами, политику — антиполитикой... Мы потеряли веру в человека»³.

Думается, в истории США трудно найти другой пример, когда столь солидная организация, как Национальный комитет за эффективный конгресс, в результате изучения вопроса о состоянии нации сделала бы заключение, что: «Америка испытала два больших кризиса в своей истории: Гражданскую войну и экономическую депрессию

¹ On Iniquity, N. Y., 1968, p. 113.

² «New Republic», December 9, 1967.

³ «New York Times Book Review», January 28, 1968.

30-х годов. Сейчас она находится на пороге третьего кризиса — кризиса национального духа»¹.

Преобладающее настроение в стране характеризуется в докладе комитета такими словами, как «болезнь», «разочарование», «отчуждение». В Америке люди на всех уровнях социальной системы испытывают страх, неуверенность и сомнения, причем в такой степени, что фактически можно сказать: «Америка больна нервным расстройством».

Среди других капиталистических стран духовная дезинтеграция американского общества выражается в наиболее яркой форме, ибо США — главный бастион империализма. В одной из статей английского журнала «Ньюстейтсмен» (от 27 октября 1967 г.) мы читаем: «Западная цивилизация — цивилизация без философии, и по этой причине она гниет на корню». Далее автор статьи говорит о том, о чем большая пресса США писать обычно не любит: «Человек здесь рассматривается как предназначенный для того, чтобы работать ради потребления. Это человек, лишенный человеческого достоинства, человек, которым манипулируют, деградировавший, опустошенный, отчужденный человек. Именно так обстоят дела в обществе, основанном на купле-продаже».

Маркс упомянут здесь не был, вероятно, потому, что обращение к нему — даже чисто словесное — столь затруднительно для буржуазного журналиста, что сослаться на него не считается необходимым. Но ни Липпман, ни Коммэджер, ни Национальный комитет за эффективный конгресс не объясняют причин беспрецедентного чувства разочарования и отчуждения американцев сегодняшнего дня. Ганс Моргентау, задавая вопрос: «Чем больна Америка?», видит болезнь в недоверии граждан Америки друг к другу и недоверии к правительству². Однако корни бед Америки остаются для него неясными, кроме тех, которые непосредственно связаны с вьетнамской войной. Война, отрицательно сказавшаяся практически на всех сторонах жизни Америки, лишь обнажила более глубокие причины, объясняющие сегодняшнее состояние страны. Сам факт ведения США такой жестокой войны указывает на загнивание основ американского общества. Поистине

¹ «New York Times», December 26, 1967.

² «New Republic», October 28, 1967.

пророческими оказались слова Дюбуа, сказанные еще в 1904 г.: «Я верю, что безправственное господство белых и сильных людей над слабыми чернокожими людьми несет в себе семена собственной гибели». В расизме отражается логика паразитического, эксплуататорского общественного строя, и в нем, я думаю, заключается корень болезни, охватившей политическую деятельность официальной Америки.

Обо всем этом можно говорить на языке Библии, утверждающей неотвратимость возмездия, на языке психиатрии, описывающей особенности параноидного мышления, на языке марксизма — его учения об антагонистических противоречиях. Первопричина всех сегодняшних трудностей Америки заключается в существовании частной собственности на средства производства и частнокапиталистического способа присвоения общественных продуктов труда. Общественные отношения в США являются устаревшими и в силу этого реакционными. Об этом свидетельствует широкое распространение идей социализма, закат колониализма. Это значит, что агрессивная внешняя политика США и репрессивная внутренняя политика античеловечны и обречены на провал. Эта политика не жизнеспособна, и Америка со всем ее богатством и мощью идет от одной катастрофы к другой.

Признавать столь мрачную перспективу правящему классу психологически невозможно, поэтому конструируется модель мира, который устраивает его представителей, предпочитающих не замечать различия между воображаемым и действительным. А это есть не что иное, как отказ от принципов рационального мышления. В известном смысле повсеместное отчуждение, которое мы наблюдаем, можно рассматривать и как признак здоровья, и нам кажется, что это будет ближе к истине, чем, например, видеть в отчуждении лишь отражение болезни. Симптомы болезни на самом деле есть не что иное, как физиологические формы борьбы с болезнью; отчуждение в широких масштабах отражает духовное здоровье простых людей Америки, несогласных с античеловеческой и иррациональной политикой ее правителей.

Профессор Моргентгау справедливо отмечал, что «обман практикуется (правительством США) не случайно, не как тяжелая необходимость, продиктованная причинами государственной важности, а как постоянное явление,

как своего рода спорт, дающий возможность обманщику наслаждаться своей властью».

Далее, обман стал теперь нормальным явлением, поскольку политика правительства так неприглядна, что ее необходимо прикрывать ложью. Народные массы Америки имеют совершенно иные цели, и со временем, несмотря на спекуляции на их естественных патриотичных чувствах, они поймут, что их кормят обманом, и потребуют нового меню. Фактически разговоры о радикализации указывают на то, что массы людей уже начинают понимать это и все громче заявлять о своих правах. Но чтобы выяснить, как это происходит в действительности, необходимо особое исследование, а это уже дело будущего.

КРИТИКА ИДЕАЛИСТИЧЕСКОГО НАТУРАЛИЗМА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАСОРЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Дейл Руне

Вводные замечания

В стране, расположенной между Канадой и Мексикой, существовало четыре основных философских течения. Они имели три общие особенности: в центре их интересов находился индивид, а не общество, они придавали особое значение методу и всем им было свойственно проявлять оптимизм. В американской мысли с 1600 по 1840 г. господствовал пуританизм. С 1840 по 1878 г. его место занял трансцендентализм. После провозглашения идей прагматизма Чарлзом С. Пирсом доминирующим философским направлением до конца первой мировой войны стал прагматизм. А в период с конца первой мировой войны до 1950 г. процветал натурализм. Каждое из этих направлений мысли делало акцент на методе: для пуританизма это было самоотречение и тяжелый труд; для трансцендентализма — внутреннее созерцание и постоянное стремление к возвышенному; для прагматизма — полезность и, наконец, для натурализма — научность. Запутанный в свои географические границы натурализм сначала разделял взгляды стандартного американского оптимизма, постепенно начавшего таять после второй мировой войны. Увлечение методом продолжалось и до недавнего времени, когда, вместо того чтобы считать, что метод сам должен определяться целью, философы стали задавать себе вопрос, а какую же цель должен иметь метод. Как утверждал еще Аристотель, оставить эту проблему неразрешенной означало бы впасть в серьезную ошибку. Он писал: «Главные виды искусства следует предпочитать всем второстепенным целям, ибо ради первых преследуются вторые». Один вид искусства «есть действительно

главный. А политика является таковой; и она предписывает, какие науки следует изучать»¹.

И именно она диктует необходимость выбора метода или методов.

Методологическая мономания

Ни один из философов от пуританизма до натурализма не разработал системного и целостного подхода к достижению какой-либо цели, их акцент на движение, действие, практическую деятельность и полезность достиг своего апогея бесплодия у натурализма. Философ-натуралист полагал, что его программой является «полное принятие научно-эмпирического метода как единственного и надежного способа получения истины о мире, природе, обществе, человеке»². Следует подчеркнуть, что данный метод не ставит себе целью изменить мир, а лишь пассивно «прочтеть» его. Мнение Джона Дьюи по этому вопросу было более осторожным. «Натуралист — это человек, относящийся с уважением к выводам естествознания»³. Спасительный метод дает Хуку материал для изучения, Дьюи — предмет «для уважения». Этот взгляд разделялся многими философами, которые и не называли себя сторонниками натурализма, например Каптом и Пирсом. Гораздо большее чем уважение к экспериментальному методу мы находим у Е. Крикориана, утверждавшего: «Для натурализма как философии универсальная применимость экспериментального метода служит основной доктриной»⁴. Были и есть сторонники натурализма, отрицавшие, что экспериментальный метод есть *единственно* надежный способ «прочтения» истины, в их числе Дж. Дьюи, Абрахам А. Эдель, Коцгер, Тельма Лейвин; и можно также найти и таких сторонников натурализма, которые оспаривают всеобщую применимость экспериментального метода. Как отмечал О. Баусма, в конечном итоге основным являются законы мышления, не поддающиеся научной проверке. Более того, он всячески подчеркивал, что «экспериментальный метод никогда не был оправ-

¹ Aristotle. *Nicomachean Ethics*, 1049, (trans. W. D. Ross).

² Sidney Hook. *Naturalism and the Human Spirit*, Ed. Y. H. Krikorian. New York; Columbia University Press, 1944, p. 45.

³ Ibid., p. 2.

⁴ Ibid., p. 242.

дан с чисто интеллектуальной точки зрения»¹. Дьюи менее категоричен в утверждении об «уважении выводов естественных наук». «Уважение», безусловно, не означает их полного принятия, и это неплохо, ибо мы не знаем, в какой момент научные выводы станут приемлемы для неквалифицированных, но страстных его приверженцев. Ученые используют научные выводы в качестве рабочих гипотез; иногда они могут не обращать внимания на их предварительность, иногда оспаривать их. Но если ученые так осторожны, то почему так бесстрашны философы? По нашему мнению, на это есть только одна причина. Философы-натуралисты не являются естествоиспытателями, они не более ученые, чем, скажем, Анри Бергсон, Альбер Камю или Мартин Хайдеггер. Их отстраненность от фактического участия в научном исследовании делает их аутсайдерами, чье мнение о ценности научных выводов, о их гипотетичности, изменчивости, о доказательной, умопостигаемой природе экспериментализма стоит совсем немного. Философ-натуралист должен заниматься философией, а не: 1) быть добровольным агентом по рекламе научно-экспериментального метода; 2) некритически принимать экспериментальный метод без анализа его результатов в свете социальных целей; 3) соглашаться, не имея научных доказательств, с непогрешимостью научно-эмпирического метода и верить, что с его помощью человечество придет сразу к святому Граалю или нирване. В ряде случаев некоторые философы-натуралисты далеко не всегда серьезно относятся к научно-«эмпирическому» методу. Так, прикрываясь хвalebными фразами, Дьюи нападает на экспериментальный метод, подменяя его «исследованием здравого смысла». Исследование здравого смысла, имеющее своего двойника в теории «обыденного языка» лингвистической философии, было названо «контрреволюцией в познании»². Этот рассвет в познании Дьюи, к счастью, окончился закатом. Метод исследования Дьюи, цель которого — быть согласованным с научным методом, исключает возможность обнаружить качественные отличия предметов; в этом методе субъект не отделяется от объекта, нельзя обнаружить

¹ Bouwsma, *Philosophical Essays*. Lincoln, University of Nebraska, 1969, p. 79.

² См.: П. Кроссер. Нигилизм Джона Дьюи, М., 1958, стр. 131.

«ситуацию» или «поле», о которых он так много говорит. Но если нельзя выделить объект, то как же можно определить его «поле»? Он определяет «поле» как качество и количество предметов, расположенных вокруг него или в нем. Другими словами, «поле» похоже на неоптологическую пустоту Нагарджуны*. По Дьюи, исследование — это раскрытие «отношений фактов и понятий друг к другу, находящееся в зависимости от исключения качественного признака, как такового, и от сведения этих отношений к некачественным определениям»¹. Все это предполагает, как отмечает Пол Кроссер, «... уничтожение всякой имеющей значение интерпретации в свете отношения внешних форм к материальному содержанию»², а также элиминацию науки, как таковой. Но это не удивит людей, знакомых с работами Дьюи, начиная с его статьи «Метафизические предпосылки материализма» (1882)³. В этой статье Дьюи критикует то, чем, по его мнению, является материализм, а именно что: 1) «материализм допускает возможность онтологического познания» и 2) «он допускает реальность причинных связей». Вместо материализма здесь мы имеем имматериализм, проповедуемый Дьюи в течение всей его жизни. В таком случае как же все-таки Дьюи мог одобрять редукцию качественных аспектов в познании, если он не признавал ни реального бытия, ни реальной связи вещей⁴. Что же такое тогда количество, и количество чего? Можно лишь предположить, что, повидимому, это количество умственных актов в центральной нервной системе Дьюи. Кроме всего прочего, Дьюи заботила проблема поиска объекта эстетики. Чем являются его объекты искусства? Это могут быть такие; например, менталистские качества, как «удовлетворен-

* Нагарджуна — индийский мыслитель (ок. 2 в.), оказавший влияние на 2-е тысячелетие религиозной и философской истории буддизма. — *Прим. ред.*

¹ Dewey. *Art as Experience*. N. Y. 1934, p. 4—6.

² П. Кроссер. *Цит. соч.*, стр. 122.

³ См.: *Journal of Speculative Philosophy*, XVI, p. 208—213.

⁴ Джордж Конжер утверждает, что, если бы Дьюи спросили: «Существует ли физический мир?» — ответом было бы туманное «да». «Pragmatism and the Physical World». *Philosophy for the Future*, ed. R. W. Sellars, V. J. McGill, Marvin Farber. New York, The Macmillan Company, 1943, p. 524. Конжер, ученик Дьюи, верит этому, однако, по словам Артура Мерфи, ему не удалось добиться в разговоре с Дьюи такого признания.

ность своей работой», неопределенные чувственные реакции, «яркая драма изменений», манипуляции с «вращающейся бечевкой» и «племенные обычаи»¹. Идеалистический нигилизм Дьюи приводит к тому же, что проповедовал известный буддийский нигилист Нагарджуна, хотя сам Дьюи и верил в экспериментальный метод. Безусловно, не все сторонники натурализма были такими идеалистами-менталистами, каким был Дьюи, но, во всяком случае, часть из них не была полностью уверена в существовании независимого материального мира отдельно от какого-либо наблюдающего его разума.

Бесцельная деятельность

Анализируя роль натурализма в развитии американской социальной мысли, мы обнаруживаем у него еще одну слабость, близкую к немощи прагматизма. Прагматизм был впервые поставлен под вопрос социальными критиками в период первой мировой войны. Рандольф Бурн, учившийся в Колумбийском университете у Дьюи, считал, что нащупал самую большую слабость прагматизма. И эту слабость разделяет с прагматизмом и натурализм. По мнению Бурна, эта слабость прагматизма отчетливо проявляется в кризисных ситуациях. «Весьма примечательно, например, что, говоря о войне, прагматисты видят в основном технические ее аспекты, не пытаются понять ее политический смысл»². «Американец, — пишет Бурн, — усвоивший эту философию, обычно путает результат со способом его получения, так что, попадая в какое-либо место, не спрашивает, то ли это место, которое ему на деле нужно»³. Далее, по утверждению Бурна, «используя свою философию в политике, наши прагматисты уходят от основной проблемы, проблемы цели»⁴. И, говоря о целях, он отмечает, что когда основное внимание уделяется технической организованности (научный метод в понимании натуралистов), а не организованности идей (философствование), стратегии, то в таком случае возник-

¹ Dewey. *Art as Experience*. N. Y. 1934, pp. 4—6.

² *The History of a Literary Radical and Other Papers by Randolph Bourne*. N. Y. 1956, p. 252.

³ *Ibid.*, p. 253.

⁴ *Ibid.*, p. 248.

кают подозрения об отсутствии какой-либо программы, ибо у них ничего нет, что можно было бы представить в качестве таковой¹.

Прагматисты «не были готовы к определению целей или по крайней мере к идеалистическому их толкованию»². И еще менее они были готовы к материалистическому пониманию цели. Недостатком этой эволюционной философии является не забвение понятия изменчивости и рационалистически-идеалистических традиций, по всей видимости мешавших ей, а игнорирование того, что реальной целью человеческого мышления выступает политика, общественный строй, создаваемый интеллектom, и не любым интеллектom, а интеллектom, выражающим взгляды основной массы людей, а не мизерной кучки правителей³. Интеллект использует все лучшие средства и инструменты, имеющиеся в его распоряжении, при условии, конечно, что эти средства не являются слишком опасными. Дьюи использовал средства, которые выросли из утилитаризма, свободной религии, трансцендентализма, лейбницианства и правого гегельянства⁴. Смешав все это, он надеялся построить лучшее общество. Однако «социальное изменение должно стать делом индивидуального выбора и индивидуальным моральным изменением... Медленным, повседневным, почти вневременным процессом»⁵. По словам Дьюи, «мы можем быть уверены, что имеем дело с нашими проблемами во всех их аспектах и с каждой в отдельности по мере ее возникновения, используя все ресурсы, предоставляемые нам коллективным разумом, проявляющимся в совместных действиях»⁶. Отрывочные, частичные, плюралистические⁷, ошибочные пред-

¹ Ibid., p. 249.

² Ibid., p. 251.

³ По мнению Джона Гэлбрейта, одного из известных американских экономистов и доверенного лица бывшего президента Кеннеди, люди, вершащие судьбу страны, столь немногочисленны, что легко могут уместиться в небольшом театре.

⁴ Его импликация «общественной души», «общности религиозного чувства» недалеко от взглядов Эмерсона и Гегеля. См.: *Waldo Frank. The Re-Discovery of America. N. Y., 1929, p. 170.*

⁵ См. Г. Уэллс. Прагматизм — философия имперализма. М., 1955, стр. 210.

⁶ Dewey. *Freedom and Culture. N. Y., 1939, p. 7.*

⁷ Джордж Конжер пишет следующее: «В своей доктрине истины как удовлетворенности индивида или группы людей прагма-

видения действительности, рассматриваемые в индивидуальном и моральном аспектах посредством нереализуемых суждений, лишенных субъекта и объекта и не имеющих познавательной ценности, — все это характерно для антинаучной модели, которую предлагает нам Дьюи, американский Зенон из Вермонта.

Постоянное движение и изменение, эволюционное развитие, которое видел Дьюи, было развитием производительной системы капитализма, вооруженного научным методом и управляющего производительными силами. Существовали, конечно, и другие связанные с пережитками силы феодализма, такие, как церковь, дворянство, крепостничество, и характерные для них априорные и авторитарные методы. С точки зрения этой традиции и прагматизм и натурализм можно рассматривать как радикальные философские направления, поскольку они были воплощением требований «прогрессивного» капитализма. В своих лучших вариантах они сочетали в себе механический материализм (мнение Дьюи о возможности сведения поля к количеству) с историческим идеализмом. Даже в наши дни натурализм оказывается слишком радикальным для религиозных фундаменталистов.

Прагматизм рухнул в результате крушения иллюзий, порожденный национализмом и империализмом во время первой мировой войны. Хотя Дьюи время от времени высказывал критические замечания в адрес империализма, он весьма смутно представлял себе его суть, и можно предположить, что он был незнаком с работами Ленина по этому вопросу. Но, несмотря на это, доктрина Дьюи к тому времени получила широкое распространение в американской системе образования, и ее влияние было весьма значительным не только на натурализм, но и до известной степени на его европейских собратьев: логический позитивизм, общую семантику. Операционализм явился, возможно, разновидностью прагматизма Пирса. Прагматизм и натурализм тем не менее не были склонны

тизм тяготел к плюрализму, а плюрализм вне зависимости от своего собственного статуса как философского направления уходит от многих проблем, часто говоря и да и нет». George P. Conger. «Pragmatism and the Physical World», in: Philosophy for the Future. The Quest of Modern Materialism. Ed. R. W. Sellars, V. J. McGill, and Marvin Farber. New York, The Macmillan Company, 1949, p. 524.

открыто поддерживать нейтрализм и объективизм (общественную нейтральность)¹ — философские течения, импортированные из Австрии, Германии и Центральной Европы. Неопозитивисты относили политику, а также этику и эстетику к неэмпирической сфере. Политическая философия к концу второй мировой войны была погребена под так называемой «теорией ценностей». Общим почти для всех эмпиристов, будь то прагматисты, натуралисты или позитивисты, является отрицание возможности рационального понимания объективной реальности, утверждение относительности истины и общая враждебность к материализму. Они делали попытки опровергнуть материализм, утверждая, что: 1) он догматичен; 2) ненаучен; 3) покушается на личную свободу; 4) благосклонно относится к авторитарности².

Для анализа социальной функции «Теории ценностей» Дьюи понадобилось бы отдельное исследование, но давайте послушаем, что говорит сам Дьюи. «Теория ценностей», как таковая, может лишь установить условия, которых должен придерживаться метод формирования желаний и интересов в конкретных условиях³. Каков же путь формирования желаний и интересов? Психологическая обусловленность? Устанавливает ли эта теория «критерии» психологической обусловленности? И включается ли в рамки данных критериев какая-либо политическая теория? Если же нет, то в чем суть «теории ценностей»?

¹ Социальный «нейтрализм» своим молчанием поощряет американский общественный строй.

² Maurice Cornforth. In Defense of Philosophy. London, Lawrence & Wishart, 1950, p. 242. Так называемое открытое общество, за которое ратуют К. Поппер, Б. Рассел и другие, есть общество, открытое для хищнической деятельности группы людей, пожирющих плоды научных исследований, принадлежащих обществу.

³ Dewey. Theory of Valuation. International Encyclopedia of United Science II, Chicago, University of Chicago Press, 1948. p. 57. Дьюи использует курсив повсюду для избежания определенности. Напыщенность его мыслей хорошо видна здесь, когда он подчеркивает слово *как* в предложении «теория, как таковая». Что вы скажете о теории как мундштуке, или мусорном ящике, или снегоочистителе? Или еще умнее: что вы скажете о теории как о нетеории? Потребуется несколько поколений людей, чтобы понять все это. Подумайте только о докторской диссертации, посвященной этому.

Обратимся к стороннику этой теории Кларенсу И. Льюису, уклонившемуся от определения своей принадлежности или к натурализму, или к неокантианству, или к прагматизму. Он задает вопрос, как можно определить «социальную ценность объективно существующего», и отвечает: сначала мы определяем линейную шкалу ценностей (от низшей к высшей) и далее мы учитываем, что может удовлетворить нас, например красота, инициатива и т. д. И наконец, решить, в каком месте линейного ряда находится данная ценность. Вот как об этом говорит сам Льюис: «Конъюнкция двух таких потенциальных ценностей в объекте повышает его ценность на основе принципа, что совместная ценность двух удовлетворяющих нас явлений А и В определяется местом (обоих А и В) в нашей системе непосредственных ценностей в общем, поскольку это предопределяется непосредственной предпочтительностью. Если мы удовлетворяемся и А и В и это предпочтительно для испытывающего удовлетворение С, тогда данный предмет, потенциально удовлетворяющий А и В, в данном случае более предпочтителен для С и, таким образом, он оказывается более ценным. Безусловно, подобное непосредственное предпочтение должно быть рациональным, но в той мере, в какой это относится к рассматриваемой проблеме. Быть рациональным — значит дать оценку нереализованному удовлетворению, так как мы должны оценить его, если оно и не испытано нами»¹. Быть рациональным означает дать оценку удовлетворению, не испытываемому нами, и отсюда это не может считаться удовлетворением. Быть иррациональным — значит не давать оценки удовлетворению, но как мы должны сделать это, если мы испытываем его. Почему индивид не может сделать то и другое или не делать ничего? Какое отношение к этому имеет рациональность? Это не что иное, как еще одна попытка продолжить атомистические традиции лишенной теории эмпиризма. На самом деле бихевиоризм не может заменить социальную теорию, направленную на поиски общего блага.

Что же все-таки пытается сказать Льюис? Я думаю, ответить на этот вопрос можно будет, если мы рассмотрим все это с позиции физиократов. О них Маркс писал:

¹ Lewis. An Analysis of Knowledge and Valuation. La Salle, The Open Court Publishing Company, 1946, p. 550.

«Способ изложения предмета у физикратов необходимым образом определяется, конечно, их общим взглядом на природу стоимости, которая в их понимании не есть определенный общественный способ существования человеческой деятельности (труда), а состоит из вещества, даваемого землей, природой, и из различных видоизменений этого вещества»¹. Вот почему Льюис пишет о «социальных объектах», которые можно выбросить, как товар, на прилавок магазина самообслуживания или засунуть в коробку из-под продуктов между другими предметами. Если бы нам удалось убедить некоторых философов поразмыслить над подобными тривиальностями, они бы могли воспользоваться этим удобным случаем и написать о том, как Льюис и другие сторонники этой теории оценивают социальный объект, не затрагивая никаких социальных проблем.

И снова несистематизированный, псевдонаучный и устаревший хлам анализируется с таким серьезным видом, как будто он имеет какое-либо отношение к нашей социальной действительности. Я хочу порекомендовать все это для употребления в качестве модели нашим правящим кругам, которые изо всех сил пытаются создать впечатление, что все, что они делают, делается на научной основе.

«Полупрогрессивист» Дьюи 10-х и 20-х годов не устоял, подобно старой леди, опустившейся со вздохом в шезлонг, перед таким наукообразным жаргоном, как «проверяемость», «оценивание», «протокол данных» и «эмпиричность». С точки зрения теории общества, решающей проблемы подлинного социального развития, соответствующего нуждам америкапской жизни, все это привело к застою критического социального мышления среди академических философов, начиная с ранних работ Пирса (1878) и его интуитивного доказательства существования бога (1896) до семантического идеализма Чарлза Морриса, натуралистического либерализма Морриса Коэна и других нью-йоркских натуралистов. Неоидеалистическая философия, импортированная из Англии, от Мура до Витгенштейна и Остина еще больше запутала, а не прояснила социальную мысль в Америке.

Натуралисты могли бы несколько поднять свои акции,

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 26, ч. I, стр. 14.

если бы они, обладая прометеевским духом, взывали к освобождению от тривиальностей их жаждущего активной общества. Если бы они обратились к природе, как это сделали, например, романтики XVIII и XIX столетий, мы были бы уверены, что их книги будут читать и в будущем. Но их безжизненная философия не обращена ни к прошлому, ни к будущему и не черпает вдохновения у природы. Это особенно верно по отношению к натуралистам, изучавшим протестантскую теологию и отказавшимся от нее из-за любви к экспериментальному методу. Конечно, для этого у них могли быть экономические, социальные и профессиональные причины. Уж коли они заявили, что бог умер, то тем самым скончались они сами, а их души провозгласили каноны экспериментального метода. Вместе со смертью бога натурализм потерял свою опору, а вместе с ней — и право на существование. Не зная, с чем им бороться, поскольку вся социальная философия и теория ценностей для них оказались закрытыми постулатами осторожного эмпиризма, они замкнулись в саморазоблачающих лжепророчествах. Натурализм мог еще снять покрывало с высохших мумий буржуазного царства или по крайней мере привлечь к ним внимание с философской колокольни надстройки общества. Вместо этого он предпочел заняться логикой без онтологии, цепностью без вывода, философией науки без объектов и философией истории без ссылок на будущее.

Так же как ведомство генерального прокурора не занимается розыском прагматистов, оно оставляет без внимания и натуралистов. В самом деле, кому и для чего нужна философия, обходящая спорные социальные вопросы, затемняющая ясное понимание экономических и политических сторон монополистического капитализма и империализма и выступающая против радикализма, заявляя, что он связан либо с насилием, либо с отжившими еврейскими проблемами. Некоторые натуралисты полагали, что они стоят на опасном пути, когда они заявляли: «Не исключена возможность, что бог, вероятно, не существует, по крайней мере существует не в том смысле, который одобрен церковью как институтом», или когда они глубокомысленно утверждали: «Человек в конечном счете есть часть природы». Чтобы продемонстрировать свою лояльность в отношении существующего порядка вещей, трое известных натуралистов включили в составленный

ними сборник популярных философских текстов статью, написанную рационалистическим натуралистом Морисом Коэном. Статья была озаглавлена «Почему я не коммунист». Примечательно, что они не включили туда статью, озаглавленную «Почему я не капиталистическое чудовище»¹.

Прагматизм видит счастье в том же, в чем и капитализм. Счастье в преуспевании, движении вперед, приспособлении (к условиям рынка), новых возможностях, перспективах (новых рынков сбыта). Но счастье не самоцель. Самоцели не существует. И не существует никакой цели. Вот к чему приводит принцип непрерывности Лейбница, если довести его до абсурда.

Дьюи не привносил теории прагматизма в общество наживы, напротив, он соединил свою душу с философией наживы и излагал ее таким стилем, которого она заслуживала. Льюис Мэмфорд охарактеризовал этот стиль как «конкретный в своей цели, но бесформенный и неопределенный». Более чувствительные люди предпочитали стиль Бергсона, хотя и были заинтересованы в получении того же самого результата. Конечно, никто не считает, что все положения прагматизма полностью совместимы со взглядами капитализма, однако мы сможем подтвердить рациональность капиталистического строя, если только будем оперировать «методом интеллекта» и «экспериментальным методом».

Натуралисты, за исключением случая, когда они были еще и прагматистами, подобно Дьюи, в академическом плане были не столь влиятельны, но они несли на себе традиции методологической транссубстантивации, превращая социальные проблемы в эпистемологические. Тем не менее натурализм был некоторым усовершенствованием прагматизма². Он более систематичен в научном

¹ Я умышленно провожу такое несовместимое сравнение, ибо назвать кого-либо коммунистом после 1918 г. в США равнозначно тому, чтобы назвать его чудовищем. Ранее таким сравнительным термином был термин «атеист». При капитализме, однако, атеизм стал философски respectable. См.: Daniel J. Bronstein, Yervant H. Krikorian and Philip P. Wiener. Basic Problems of Philosophy, 1947, 1955, 1964.

² Хотя немногие сторонники натурализма смогли бы усовершенствовать Уильяма Джемса.

отношении: круг его познаний более обширен. «Он выражал» лучше, чем прагматизм, «суть технически развитого американского общества». Натурализм казался несколько выше теоретически, он пытался объединить факты и ценности и подчеркивал естественное содержание духовных ценностей. Но это не удалось ему, ибо он не пытался соединить теорию и практику. А неудача в соединении теории и практики объяснима тем, что для этого ему пришлось бы заниматься проблемами социальной целенаправленности. Если бы натурализм выяснил проблему характера социальной целенаправленности, тогда от него потребовалось бы выяснить, что такое онтология, этика, эстетика и политика. Как отмечал Гарольд Стернс в конце первой мировой войны: «Мы не осмелились отнестись критически к *целям* войны, мы не оценили должным образом идеалистические разглагольствования президента (Вильсона), мы смогли лишь критически отнестись к *методу* ведения войны»¹. Не имея четкой политической теории и имея точку зрения на историю, не представлявшую возможность экстраполяции в будущее (в этом натурализм был даже менее оптимистичен и более осторожен, чем прагматизм), натурализм видит в прошлом руководство для понимания настоящего. С философской точки зрения этого слишком мало. «Теория ценностей» должна смотреть в будущее, чтобы стать общественно значимой теорией.

Бесперспективность

Без биологических и органических моделей, близких сердцу философов-натуралистов, сможет ли историк-натуралист с уверенностью заявить, что, изучив прошлое лошади, он сможет больше узнать о ее настоящем, а зная и ее прошлое и настоящее, мы будем знать о ее будущем? В какой степени это применимо к обществу? В состоянии ли общество прошлого дать нам какие-либо знания о настоящем обществе, а оба вместе дадут ли они нам ключ к разгадке будущего общества?

Натуралист Эдвард Стронг писал: «Я полностью согласен с мнением многих историков о том, что знания

¹ Stearns. Liberalism in America. N. Y., 1919, p. 94.

прошлого способствуют пониманию настоящего, в котором мы живем»¹. Стронг с одобрением цитирует слова Сейнобоса, что «история дает нам возможность понять настоящее в той мере, в какой она объясняет происхождение существующего положения вещей»². Но как быть с будущим? Стронг отвергает точку зрения Аллана Невина, что историческое исследование «помогает обществу понять свои связи с прошлым и очертить общие контуры его будущего развития»³. Самое большее, что может сказать Стронг, этот очарованный наукой натуралист, в пользу уроков из настоящего и прошлого для будущего, так это то, что они есть «суммарное мнение и более или менее удачные предложения»⁴. Но будет ли догадка всегда проницательной? Как у Дьюи иногда случайно срывается с языка нечто похожее на признание классовой борьбы, так и здесь Стронг говорит что-то невнятное о возможности удачи в разгадке будущего. Но если мы в действительности не можем знать чего-либо достоверного о будущем, то никакие планы или цели на будущее не будут иметь смысла. К чему же беспокоиться об этических или политических проблемах?

Джордж Боас, другой историк-натуралист, считал крайне важным понимание истории философии как господства наиболее важных философских идей в определенный период развития философии. В наше время, по его словам, философия науки и эстетика доминируют в (его?) философских кругах. Но это не философские мысли, а лишь категории, в которые они могут быть включены. Боас говорит о «космологических» периодах, «научных» периодах и «урбанистических» периодах развития философии. Цели каждого из периодов он определял по-разному, ибо, по его мнению, «многое из того, что случается в истории развития идеи», объясняется скукой⁵. Оказывается, что не только «скука», но и «концептуальная инертность» в такой же мере оказывает влияние на развитие истории философии⁶. Ну что ж, обратимся к анализу понятий

¹ «Naturalism and the Human Spirit», p. 176.

² Ibid., p. 177.

³ «Naturalism and the Human Spirit», p. 178.

⁴ Ibid., p. 179.

⁵ Ibid., p. 141.

⁶ Ibid., p. 139.

скуки и инерции, если это такие важные факторы в понимании интеллектуальной истории.

Когда учащимся скучно, это объясняется, возможно, тем, что учитель не полностью раскрывает свой предмет. Когда появляется инертность, то вполне вероятно, что средства массовой информации или обучение преподносят изучаемые предметы скучнейшим образом, предполагая, что изучающие их все равно забудут. Инертность к социальным проблемам со стороны учащихся приходских школ и большинства государственных начальных и средних школ давно уже известна, и это исподволь поощряется. Нам хорошо известно одно: Боас утверждает, что на вопрос о причинах возникновения философских проблем «форма неогегельянства, известная как диалектический материализм, дает слишком приземленный ответ» (Боас говорит о марксизме, как протестантский богослов прошлого века о сексе); кроме того, диалектический материализм так перегружен метафизическим багажом, что он стоит не более, чем породившая его философия¹. И отец и сын в данном случае испепеляются, как это делали древние индусские брамины с материалистами своего времени. Чем же предлагает Боас заменить этот метафизический багаж? Может быть, довольно смелыми гипотезами о «скуке» и «концептуальной инертности»? Но откуда он вытаскивает на свет эту старую ветошь, как не из идеалистической кладовой периода, предшествующего Монтеस्कье?

Боас далее ставит вопрос: «Что нам известно об истории философии?» И мы узнаем следующее: 1) нет такого предмета, как философия, и поэтому нельзя говорить о ее истории (Дьюи не смог найти объект в «поле», или объект искусства). Боас не в состоянии отыскать предмет философии; 2) «лишь немногие философы строят свою философскую систему в геометрическом смысле». (Сколько же философов строили свою систему в алгебраическом смысле?) При тщательном рассмотрении каждая система оказывается с точки зрения самого предмета группой определенных интересов, *зависимых от исторической случайности*² (курсив мой. — Д. Р.). (Подобно Дьюи, Боас считает, что предмет философии имеет свою точку зре-

¹ «Naturalism and the Human Spirit», p. 148.

² Ibid., p. 152.

ния, и это хорошо, ибо ее создатели едва ли имеют такую.) Философия истории, или история философии, изобилующая историческими случайностями, оказывается помехой, когда ее начинают всячески кроить; 3) «философия идей... неотделима от всей интеллектуальной (курсив мой.— Д. Р.) жизни определенного периода»¹. (А как быть с материальной жизнью?) Здесь отчетливо дает о себе знать философский идеализм Боаса, только без слезливых причитаний, свойственных большинству других натуралистов.

Другой сторонник натурализма — Рэпделл-младший, заслуживающий, по словам Дьюи, похвалы за умение раскрыть *реальную* борьбу, происходившую за границами исторического материалистического анализа. Эта «борьба между активными силами научного познания и техники, с одной стороны, и тормозящая сила инертности и установившихся привычек и верований — с другой»². Исторические материалисты, как думают натуралисты, должны все-таки слезть со своего высокого коня и прочно стать на землю. Но *кто* тормозил и *что* тормозило, *кто* создал инертность и *чьи* привычки мешают этому? Дьюи сам ранее утверждал, что «новая наука (после Фрэнсиса Бэкона) в течение долгого времени должна была еще служить старым принципам эксплуатации человека»³. Почему же он не добавил совершенно очевидной фразы, звучащей примерно так: «Сейчас вместо старых принципов эксплуатации человека появились *новые* принципы». Появились также и новые методы, один из них — контроль над научным методом и техникой со стороны крохотного меньшинства людей в целях извлечения прибылей. Старая эксплуатация получила свое развитие при феодализме, новая — при капитализме. Натурализм и прагматизм не в полной мере занимались социальными проблемами. Они лишь делали вид, что делают это. Они лишь точили нож, угрожая, что будут им резать.

Почему натурализм умалчивает о будущем? Нельзя говорить о будущем, не зная настоящего. А чтобы знать

¹ «Naturalism and the Human Spirit», p. 153.

² Dewey. Experience, Knowledge and Value, The Philosophy of John Dewey, ed. P. A. Schilpp. Evanston, Northwestern University Press, 1939, p. 522.

³ Dewey. Democracy and Education, reissue. New York, The Macmillan Company, 1962, p. 283.

настоящее, необходимо располагать определенной системой критических положений, философских критериев, дающих возможность судить о настоящем с четких позиций. Несмотря на мистические, мифологические и явно противоречащие здравому смыслу черты Апокалипсиса, его автор(ы) утверждал: 1) общеизвестную истину, что настоящее невыносимо (60—70-е годы нашей эры); 2) что необходимо заглянуть в будущее, чтобы дать людям надежду и чувство собственного достоинства, и 3) что это будущее должно наступить в сравнительно короткий срок.

Точка зрения Апокалипсиса ориентирована на будущее. События должны развиваться в соответствии с планами бога. «И вера эта утверждается лишь деятельной пропагандой, неустанной борьбой с внешним и внутренним врагом, горделивым провозглашением своей революционной точки зрения пред лицом языческих судей, готовностью умереть мученической смертью во имя грядущей победы»¹.

При социализме события развиваются в соответствии с планами людей, с ориентацией на будущее. Люди знают, что настоящее требует структурных изменений, чтобы дать человечеству то, что оно заслуживает.

А куда же ориентирован натурализм? Он смотрит назад. На настоящее с позиций прошлого. В соответствии с учением натурализма события не развиваются в каком-либо определенном направлении, хотя случайность, инертность, скука и непостижимость, если угодно, могут мыслиться движущими силами общества. Поскольку натуралистам не известны законы настоящего, то, безусловно, они не в состоянии сказать что-либо о будущем.

Большая часть натурализма — это не стыдливый материализм, а форма идеализма². Мы были в такой степени загипнотизированы его рассуждениями об экспериментальном методе, что почти не замечали, что его метафизика, этика, эстетика, история были интеллектуальными, геометрическими, символическими, логическими, протокольными и менталистскими, и это несмотря на лицемер-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22, стр. 490.

² Как утверждает «Ковжер, прагматизм — арьергардная деятельность. Борьба за престиж в пользу идеализма — всяческое подчеркивание значения человеческого опыта или разума, постоянное толкование их в целях выявления динамических и практических функций», Цит. соч., стр. 539.

ные утверждения о биологическом, эволюционном, органическом и количественном его характере. Научный метод оказался троянским конем, с помощью которого натуралисты-идеалисты проникли вовнутрь конструктивной философии.

История болезни

Абрахам Эдель больше всех других натуралистов пытался преодолеть барьер между фактом и ценностью; он с одобрением относился к марксизму. Далее, он серьезно занимался одной из разновидностей бихевиористской психологии и делал попытки использовать ее для подкрепления своих философских выводов. Часто создавалось впечатление, что он сторонник фундаментальных изменений в социальном строе. Как же он все-таки с подобными взглядами остается натуралистом? Это объясняется, по-видимому, следующими обстоятельствами: во-первых, он считал, что Дьюи может служить полезным проводником. Он писал: «Инструментальный анализ ценностей Дьюи совпадает с широко понимаемой материалистической традицией. Трактую этические проблемы, Дьюи определенным образом указывает на их социальную основу»¹. Я думаю, здесь было бы справедливым отметить, что и Платон и Ф. Брэдли также признавали наличие у этики социальной основы. Важным является то, как анализируется социальная основа. Во-вторых, как и все историки-натуралисты, Эдель исключительно осторожно говорит о будущем. Он писал: «Марксисты считают, что монополии есть неизбежный продукт капитализма, и рассматривают правительство как инструмент, используемый в интересах монополий. На вопрос о том, имеет ли место решительное столкновение интересов (станем ли мы ждать атомной бойни?) капитала и труда или же случайные временные конфликты между ними, можно ответить, только исходя из общей экономической деятельности общества и предсказания его будущего в свете развития событий в мире»². На это напрашивается следующий ответ: сколько нужно свидетельств, чтобы убедить строгого приверженца безупречной научной методологии?

¹ Edel, *The Theory and Practice of Philosophy*. New York, Harcourt Brace and Company, 1946, p. 431.

² *Ibid.*, p. 455.

В-третьих, Эдель думает, что идеалисты — обитатели иных миров, по так как мы знаем, как они проявляют себя в своих поступках и в своих убеждениях, то мы знаем, что они люди нашего мира. Можно постулировать, что потусторонни только мертвые. Идеалисты — порода выносливая, как это хорошо продемонстрировал Бертран Рассел. Однажды один интеллигент сказал мне с горечью: «Почему идеалисты первыми получают награды, должности, богатство и похвалы?» Это очень важный момент, и не замечать его — значит не видеть подлинной роли идеалистов в защите интересов господствующего класса.

В-четвертых, Эдель начиная с 1946 г. все более отдаляется от проблемы практики. К 1968 году мысли о существенном изменении социального строя заменились «восприимчивостью к новым качествам, признанием возможностей появления нового в человеческой жизни (путем радиации?) и стремлением к расчистке пути для творческой деятельности»¹. Заглавие его первой и весьма важной книги — «Теория и практика философии» (1946 г.), а последней — «Антропология и этика. Поиски морального понимания» (1959, 1968 гг.). Первая была написана в начале «холодной войны», а вторая накануне возрождения доктрины практики в философии. В 1946 г. он заявил: «Война и послевоенная реконструкция должны вызвать значительные перемены». Но он не предвидел того, что, помимо реконструкции, снова наберет силы империализм. В 1949 г. он опять говорил: «Со своей деятельной стороны... теория роли идей является теорией о том, каким образом лучше всего сформулировать политическую линию и как эта линия становится наиболее эффективной; короче говоря, это теория руководства и одновременно теория для размышления»².

Это настроение к 1959 г. изменилось в пользу смиренного отказа и заявления, что все, что мы сможем сделать, — это поощрять «чувствительность». В самый разгар периода маккартизма он писал: «В целом, не преуменьшая кардинальных расхождений, могущих сущест-

¹ May Edel and Abraham Edel. *Anthropology and Ethics*. rev. ed. Cleveland, The Press of Case Western Reserve University, 1968, p. 237.

² Abraham Edel. «The Theory of Ideas» *Philosophy for the Future* ed. R. W. Sellars, V. J. McGill, and M. Farber. N. Y. 1949, p. 450.

вовать в действительности между нациями и классами в современном мире, все же нет оснований отчаиваться в возможности выработать устойчивую моральную, фундаментальную концепцию (core conception) демократии»¹. Надо полагать, можно согласиться с Эделем, что нет нужды отчаиваться в возможности выработать такую концепцию, поскольку нам нужно знать, какую концепцию взять в качестве основы для действия. Вне всякого сомнения, это не будет концепция натуралистов, которые даже не попытались определить социальные цели, к осуществлению которых должны стремиться люди.

Нам не безразличны привлекательность, стиль и добрые намерения натуралистов, составляющих группу снижавших к себе расположение учителей, преподавателей высших учебных заведений и писателей. Например, психологический и яркий талант Боаса, тонкий анализ и антропологические знания Эделя, четкая ясность мыслей Стронга, сложная диалектика человека у Дениса, смелые и сложные обобщения Рэнделла, ум и ясность мысли Костелло, ядовитый сарказм Ларраби, написавшего, как он полагает, эпитафию американскому идеализму. Его слова, кстати, могли бы относиться и к характеристике натурализма: «Внезапно обнажилась и стала всем очевидной пустота Благородной Традиции и ее самоуверенная отдаленность... от насущных проблем американской действительности»². Благородная натуралистическая традиция оказалась весьма осторожной и примиренческой и в конечном итоге лишенной содержания и не имеющей никакого отношения к сегодняшним социальным проблемам. И это уклонение от анализа социальных проблем, политики, целей общества отразилось в свою очередь в неопределенности подхода к другим философским проблемам. Ларраби продолжает: «Подобно тому как Гражданская война убила трансцендентализм, так и первая мировая война и ее разочаровывающее наследие ускорили падение хилого идеализма Ройса, ставшего на место последнего»³. Можно бы добавить, что первая мировая вой-

¹ Abraham Edel, *Ethical Judgment: The Use of Science in Ethics*. London, The Free Press of Glencoe, Collier — Macmillan Limited, 1964. Небезынтересно отметить, что и «свободная» пресса была проглочена конгломератом Кольер — Макмиллан.

² «Naturalism and the Human Spirit», p. 350.

³ Ibid., p. 351.

на предоставила прагматизму возможность перерезать собственное горло, а последствия второй мировой войны предоставили такую же возможность натурализму. С отречением натурализма оптимизм, окружавший естествознание в течение ста лет, вдруг испарился. Изготовление и использование атомной бомбы, биологических и химических средств ведения войны, опыты над людьми и четыре вида загрязнения окружающей среды (атмосферы, воды, земли и шумовое) — все это вызвало повсеместные негативные реакции. Оказалось, что лишь одна вещь одинаково важна как для естественных наук, так и для научного метода, а именно: *кто* должен использовать их достижения и для *каких* целей. И не имеет значения, как поставлены эти вопросы, ответы на них неминуемо влекут за собой признание и понимание классовой борьбы.

Идеалистические тенденции натурализма, начиная от наиболее близких к материализму (Эдель) и кончая более отдаленными (Боас, Элиссо, Вивас)¹, как показали наши заметки, на практике почти во всех случаях служат целям правящего класса. Последний, следует отметить, не преследовал ни прагматистов, ни натуралистов, но настойчиво присматривал за пемеханическими материалистами, марксистами и социалистами, указывающими на существование ясно выраженной классовой борьбы и отстаивающими достойные цели для Америки вплоть до ее успехов в научном методе.

Данный анализ натурализма с его чрезмерной приверженностью к методологическим соображениям² подтверждает более глубокую истину, чем та, которая непосредственно очевидна, — что пренебрежение рассмотрением

¹ Нам стало известно, что Вивас отказался от натурализма и примкнул к группе «потусторонних» философов.

² Вышеизложенное об американском натурализме не относится ко всем видам философской мысли, имеющей название «натуралистическая», и в особенности к тем ее разновидностям, которые можно бы по праву назвать «материалистическими» в широком смысле, однако я признаю себя виновным по отношению к тем идеалистическим натуралистам, потратившим много лет на то, чтобы вычистить американский курятник методологической ложкой. Но из чувства приличия и справедливости я призываю других натуралистов пересмотреть свои позиции, не тратя впустую время на бесполезное славословие, повторяя: «Научная методология взамен Цели, аминь, аминь». (Об американском натурализме см. также А. М. Каримский. Философия американского натурализма. М., 1972. — *Прим. ред.*.)

целей и задач должно неминуемо привести к опасному тупику. Более полная и широкая истина, которая должна появиться из огромной путаницы, возникшей в результате выпячивания отдельных проблем в философии, заключается в том, что забвение требований онтологии, социальной этики (политики) и эстетики не может не привести к ущербной и односторонней философии. В наши дни, когда специализированные научные дисциплины и все человечество в целом испытывают потребность в многосторонних взглядах, упор на отдельное и одностороннее наносит лишь вред. Американская философия должна теперь посвятить себя поискам решений, удовлетворяющих эту потребность.

КОНЦЕПЦИЯ ЯЗЫКА У ВИТГЕНШТЕЙНА

К. Т. Фан

Людвиг Витгенштейн, вне всякого сомнения, является одним из наиболее влиятельных академических философов в англосаксонских странах. Его ранняя работа «Логико-философский трактат» в значительной мере способствовала развитию логического позитивизма в тридцатых годах. Написав «Трактат», Витгенштейн отошел от философских занятий, став школьным учителем в глухой австрийской деревне. Свои философские исследования он возобновил только почти двадцать лет спустя, отказавшись при этом от своих ранних философских воззрений и активно способствуя зарождению нового философского течения, известного под названием «лингвистический анализ», которое и сегодня доминирует в академической англосаксонской философии.

Западные марксистские философы довольно часто квалифицируют Витгенштейна как типичного буржуазного мыслителя, философия которого, по существу, реакционна, о чем также свидетельствует и сама философия лингвистического анализа. Однако такое обвинение в адрес Витгенштейна вызвано неверными ассоциациями и представляется мне ошибочным¹.

Верно, что формализм, солипсизм и мистицизм «Трактата» являют собой буржуазную философию в ее логи-

¹ Например, см. исследование Джоном Мораном левых политических взглядов Витгенштейна. Моран пишет также о визите Витгенштейна в Россию в тридцатых годах, о планах его переселения в Советский Союз (J. Moran. Wittgenstein and Russia. — «New left review», 1972, № 73, p. 83—96).

ческой крайности. Однако именно по этой причине критика положений «Трактата» Витгенштейном в его поздней работе «Философские исследования» может рассматриваться и как критика буржуазной философии в общем. Поздний Витгенштейн боролся против буржуазной философии изнутри, подобно тому как движение «бог умер» было движением против теологии в рамках самой теологии. Его нападки на формализм, солипсизм и скептицизм, его характеристика метафизических утверждений как бессмысленных, а традиционной (или, если говорить точнее, «буржуазной») философии — как заболевания человеческого духа; его непрекращающиеся призывы к философам использовать обыденный язык и к студентам оставить философию и заняться чем-нибудь более полезным — все это можно рассматривать как прогрессивное настроение в рамках буржуазной философии.

К сожалению, хотя этого, несомненно, и следовало ожидать, большинство последователей Витгенштейна игнорировали прогрессивные аспекты его философии и превратили его философию в игру словами. Как верно предсказывал Витгенштейн: «Семя, которое я посею, — это, всего вероятнее, определенный жаргон». Подобно психоанализу, который может найти только весьма ограниченную область использования, ибо он не принимает во внимание фундаментальные социальные причины психических заболеваний, терапевтическая философия Витгенштейна может обладать лишь ограниченной функцией, ибо она не рассматривает социальных причин болезней философии. Вместе с тем следует подчеркнуть, что Витгенштейн, по-видимому, сознавал это обстоятельство. Он говорил: «Болезни, связанные с переутомлением и пресыщенностью, излечиваются со временем переменой образа жизни, также и заболевания философии могут быть излечены только изменением стиля мышления и жизни, но не медицинскими средствами»¹.

Однако, как показало время, терапия, предложенная

¹ Л. Витгенштейн. Об основаниях математики (L. Wittgenstein. Remarks on the foundations of mathematics, Oxford, 1956, p. 571; далее — R. F. M.). Мы будем использовать также следующие сокращения: для «Philosophical investigations» («Философские исследования»), Oxford, 1958, — P. I., и для «Blue and brown books» («Голубая и коричневая книги»), Oxford, 1958, — B. B.

Витгенштейном, в конечном счете не оказалась действительным средством против заболеваний философии его времени. Впрочем, Витгенштейн не строил иллюзий. В 1931 г в беседе с Вайсманом он сказал: «Россия; ее энтузиазм содержит в себе предпосылки чего-то, в то время как наши речи бесплодны». Философия Витгенштейна революционна именно потому, что она не в состоянии изменить буржуазный образ жизни. Тем не менее его мощный критицизм — критицизм изнутри, показал буржуазную философию в целом в виде ни к чему не относящейся чисто словесной игры. Подобно легендарному ребенку, который разоблачил голого короля, Витгенштейн немало содействовал тому, что буржуазная философия обнаружила свое полное банкротство.

Один из аспектов критики Витгенштейном традиционной философии касается метафизической концепции языка, принимаемой большинством буржуазных философов. Именно на этом я и остановлюсь в данной статье. Ранний Витгенштейн считал, что язык должен изображать факты. Согласно этой теории, слова обладают референтами, предложения — смыслами. Комбинации лингвистических элементов соответствуют комбинациям элементов действительности. Любое предложение строится из «элементарных предложений», состоящих из имен, обозначающих простые объекты. При этом предполагается, что значение слова в конечном счете заключается в том, что оно называет.

В своих «Исследованиях» Витгенштейн заявил, что доктрины «Трактата» покоятся на «частном образе сущности человеческого языка», которая заключается в следующем: индивидуальные слова в языке именуют объекты, именуемый объект есть значение слова. Из этой теории следует, что одна группа слов (таких, как «яблоко» «стул», «красный») именуется объекты «внешнего мира» в то время как другая группа слов (таких, как «боль» «удовольствие», «вера») — объекты «внутреннего мира». Проблемы универсалий и «частных (private) языков» непосредственно связаны с этими двумя аспектами теории значения как соответствия. И критика Витгенштейном эссенциализма и частных языков может быть полностью понята лишь как двоякая критика одной организмы концепции. Против этой концепции языка, которую Витгенштейн называет «августиновской концепцией язы

ка», и направлена большая часть критического пафоса «Исследований».

Августин считал, что овладение языком заключается в обучении именам объектов. Эта идея принимается традиционной философией. И Витгенштейн, приступая к критике этой концепции, вначале указывает, что Августин не понимал различия между видами слов. Если вы описываете обучение языку как по существу деятельность называния, то вы, подчеркивает Витгенштейн, прежде всего думаете об именах существительных — таких, как «стул», «яблоко», об именах людей и только потом об именах определенных ощущений, действий и свойств; однако вы совсем не думаете о таких словах, как «пять», «скоро», «или», и о бесчисленном количестве других типов слов.

Предположим, говорит Витгенштейн, что я посылаю кого-либо за покупками и даю ему записку, в которой написано: «Пять красных яблок». Лавочник тот смотрит на слово «красный» в цветовой диаграмме и находит в ней соответствующий образец цвета. Затем он перечисляет числа вплоть до пяти и для каждого числа находит яблоко такого же цвета, как образец. Проверка понимания лавочником того, что написано в записке, состоит в том, что он действует, как описано выше. В связи с этим воображаемым использованием языка имеет смысл спросить: «К чему относится слово «яблоко»?» и «На что ссылается слово «красный»?» Однако как быть, если кто-нибудь спросит: «К чему относится слово «пять»?» Этот вопрос имеет смысл лишь в том случае, когда предполагается, что слово «пять» выполняет в точности ту же функцию, что и слова «яблоко» и «красный». Другими словами, поскольку мы можем указать на реальные объекты (образцы яблок и цветов) как на референтов «яблоко» и «красный», постольку мы чувствуем, что должно быть нечто, на что мы можем указать как на референта слова «пять»? На этот вопрос Витгенштейн отвечает: «Такой вещи не существует, существенно только то, как используется слово «пять»?»¹ Таким образом, Витгенштейн отвергает саму постановку вопроса.

В проведенной выше воображаемой языковой ситуации, илп, по терминологии Витгенштейна, в «языковой

¹ P. I., Sec. 1.

игре», использование слова «пять» совершенно очевидно, а вопрос о значении слова «пять» в этом контексте не имеет смысла. Стремление задать вопрос о значении слова даже в тех случаях, когда его использование совершенно очевидно, возникает из «философской концепции значения», которая «основывается на примитивной идее языковых функций»¹. Конечно, вполне возможно представить себе языковую игру, для которой примитивная идея (или концепция Августина) языка будет верной. Предположим, что язык используется для сообщений между каменщиком *A* и его помощником *B*. *A* строит здание, а *B* должен подавать кирпичи в том порядке, в каком они нужны *A*. С этой целью используется язык, состоящий из слов «кирпич», «опора», «плита», «перекладина». *A* выкрикивает эти слова, а *B* приносит то, что требует *A*. Августиновская концепция языка, трактующая его как состоящего из имен, будет подходящим описанием этой частной системы коммуникации, однако она не описывает всего того, что мы называем языком в этой системе. Дело обстоит так, указывает Витгенштейн, как если бы кто-то сказал: «Игра заключается в передвижении предметов по поверхности в согласии с определенными правилами...» — а мы ответили бы: «Вы, вероятно, имеете в виду настольные игры, однако ведь существуют и другие виды игр»².

С августиновской концепцией языка тесно связана точка зрения, согласно которой «остенсивное» определение представляет собой фундаментальный акт, посредством которого и задается значение слова. В этом случае предполагают, что «объяснение значения слова», грубо говоря, подразделяется на вербальное и остенсивное определения. Вербальное определение, поскольку оно отсылает нас от одного вербального выражения к другому, не продвигает нас в понимании значения слова. Следовательно, обучение значению в конечном счете зависит от остенсивного определения — оно устанавливает прямое соотношение между значением и словом.

Против этой точки зрения, указывает Витгенштейн, свидетельствует то обстоятельство, что для многих слов, видимо, не существует остенсивных определений, например для слов «число», «нет», «еще» и т. д. Верно, что

¹ P. I., Sec. 2.

² P. I., Sec. 3.

в случае приведенного выше примера языковой игры важная часть обучения заключается в том, что тот, кто обучает, указывает на необходимые ему предметы, то есть направляет внимание обучающегося, произнося одновременно такие слова, как, например, «плита», «кирпич» и т. д. Можно сказать, что это остенсивное обучение словам основано на установлении ассоциации между словом и вещью. Но остенсивное обучение может помочь осуществить это только совместно со специальным научением (training). «Одно и то же остенсивное обучение этим словам при различных научениях приводит к совершенно различному пониманию»¹. Иначе говоря, остенсивное определение может быть понято только в контексте. В различных контекстах с различными видами научения объяснение слова, например слова «tove»*, указанием на карандаш и произнесением «это есть tove», может быть интерпретировано различным образом: «Это есть карандаш», «Это круглое», «Это красное», «Это деревянное», «Это твердое», «Это один» и т. д. и т. п. Остенсивное определение всегда может быть неправильно понято, оно предполагает контекст и определенный способ научения. «Итак, можно сказать: остенсивное определение объясняет употребление — значенье — слова, если общая роль слова в языке ясна»².

Рассмотрим теперь следующее расширение языка наших строителей. Пусть в этом расширенном языке, помимо четырех слов: «кирпич», «опора», «плита», «перекладина», содержатся еще числительные, названия цветов и два других слова: «туда» (there) и «этот». Теперь каменщик способен дать своему помощнику более сложные указания, например: «Пять красных плит туда!». Когда помощник обучается этому расширенному языку, он должен наизусть заучить последовательность числительных, 1, 2, 3. Будет ли это упражнение включать остенсивное обучение? В известном смысле да. Например, люди будут указывать на плиты и считать: «1, 2, 3 плиты». Остенсивное обучение числительным будет весьма сходным с остенсивным обучением словам «кирпич», «опора» и т. д., причем эти числительные служат не для

¹ P. I., Sec. 6.

* В современном английском языке такого слова нет. — Прим. ред.

² P. I., Sec. 30.

счета, по д^ля того, чтобы можно было сразу сослаться на всю группу объектов в целом.

Можно ли остенсивно обучиться значению слов «туда» и «это»? Если мы напряжем наше воображение, то сможем сказать, что некоторая степень остенсивного обучения присутствует и в этих случаях, ибо можно обучиться использованию этих слов, указывая на положения в пространстве и вещи. Однако здесь указание проявляется также в употреблении слов, а не просто в обучении использованию, ибо указывающий жест вместе с предметом, на который указывается, могут быть использованы взамен слова.

Расширим язык еще раз, добавив слова «теперь» и «позже», и обучим нашего помощника каменщика выполнять приказы типа: «Пять красных кирпичей теперь туда». Его обучение может в таком случае включать стимулы к совершению им действия, когда вы хотите, чтобы кирпичи были у вас под рукой теперь, и приостановку его действий, когда вы хотите иметь кирпичи позднее. Указывание при этом вообще может не включаться в обучение. Будем ли мы в этом случае все еще настаивать, что «теперь» и «позже» постигаются остенсивно? «Что обозначают теперь слова этого языка? И что же, если не способ их употребления, должно указывать на то, что они обозначают? Эту ситуацию мы уже выше описали. Поэтому мы требуем, чтобы выражение «Слово обозначает это» было частью описания. Другими словами, описание должно принять форму «Слово... обозначает...»... Но усвоение подобных описаний различных употреблений слов не может сделать сами эти словоупотребления более сходными между собой. Ибо, как мы видим, они абсолютно различны»¹.

Сравним, например, способ использования слова «пять» со способом использования слова «плита», а затем со способами употребления слов «туда» и «теперь» в рассмотренной нами языковой игре. Различие становится очевидным, если мы сравним различные процедуры, с помощью которых обучаются употреблению этих слов, и разные виды деятельности, которые совершаются посредством этих слов. Именно из-за этого мы придумываем и описываем различные языковые игры.

¹ P. I., Sec. 10.

Свою «Голубую книгу» Витгенштейн открывает вопросом: «Что есть значение слова?» Этот вопрос, подобно вопросам: «Что есть время?», «Что такое истина?», «Что такое прекрасное?» и т. п., приводит к спазмам рассудка. «Мы чувствуем, что мы не можем указать на что-либо в качестве ответа на эти вопросы и что мы все же должны указать на что-то. Мы пытаемся устранить один из серьезнейших источников заблуждений философии: имя существительное побуждает нас искать вещь, которая ему соответствует»¹. Фраза «значение слова» имеет силу заклинания, побуждающего нас искать вещь (объект, качество), которая соответствует каждому существительному и каждому прилагательному. Это заклинание навязывает идею, что эта вещь есть значение слова и называется этим словом — точно так же как любой индивид имеет свое имя (сравните «значение слова» с «цветом цветка»). Для того чтобы снять это заклятие, Витгенштейн вначале предложил вместо вопроса «Каково значение?» спрашивать: «Каково объяснение значения?» Эта замена ставит нас на твердую почву и помогает вылечиться от соблазна искать объект, который мы могли бы назвать «значением»². Позднее Витгенштейн сформулировал свой знаменитый совет: «Не спрашивайте о значении, спрашивайте об употреблении». Одно из преимуществ этого тезиса заключается в том, что «употребление» не несет вместе с собой никаких предположений об объектах, соответствующих словам. Другое его достоинство состоит в том, что «употребление» не может быть понято лишь на основе рассмотрения слова; оно может быть понято только в контексте — как в лингвистическом, так и в социальном. Именно поэтому Витгенштейн предлагал вместо того, чтобы сравнивать отношение слова и значения с отношением денег и, скажем, коровы, которую мы можем купить на эти деньги, пользоваться примером отношения денег и их употребления³. Употребление денег не есть объект, отделимый от самих денег, и специфическое их использование для приобретения вещей (ср. специфическое употребление слов для именованья вещей) есть лишь часть большей и гораздо более сложной системы (финансовой и социальной), и только в ней оно получает

¹ В. В., р. 1.

² Ibid., р. 1.

³ P. I., Sec. 120.

свой смысл. В «Исследованиях» Витгенштейн предлагает в связи с этим следующее мнемоническое правило: «Для большого числа случаев — хотя и не для всех, — когда мы используем слово «значение», оно может быть объяснено так: значение слова есть его употребление в языке»¹.

Витгенштейн предлагает нам сравнивать слова в языке с инструментами в инструментальном ящике. «Слова следует мыслить как инструменты, характеризующиеся их назначением»². «Представьте себе набор рабочих инструментов: молоток, плоскогубцы, пила, отвертка, линейка, клей, тигель для клея, гвозди и винты. Функции слов столь же разнообразны, сколь и функции этих предметов»³. Слово так же характеризуется своим употреблением, как и инструмент его назначением. Эта аналогия напоминает нам, что слова используются для различных целей. Не существует *одной*, общей для всех слов функции (например, функции наименования вещей). Требование общей теории значения слов совершенно беспочвенно. Оно подобно требованию: «Все инструменты служат для изменения чего-либо. Так, молоток изменяет положение гвоздя, пила — форму доски и т. д.». Но что тогда изменяет линейка? — «Наше знание о длине предметов». А как обстоит дело с тигелем для клея? Здесь Витгенштейн задает вопрос: «Что же мы приобретаем от такого употребления выражений?»⁴.

Вместе со словами предложения также можно рассматривать как инструменты. На случай, когда мы затрудняемся в ответе на вопрос о смысле предложения, Витгенштейн дает нам следующий совет: «Рассмотрите предложение как инструмент, а его смысл как его использование»⁵. «Спросите себя: по какому случаю, с какой целью мы говорим это? Какого типа действие сопровождает данные слова? (Вспомните о приветствии.) В каких обстоятельствах должны они употребляться и для чего?»⁶. Таким способом мы сможем увидеть, как слова и предложения оказываются инструментами, используемыми для достижения определенных целей. Итак,

¹ P. I., Sec. 43.

² B. V., p. 67.

³ P. I., Sec. 11.

⁴ P. I., Sec. 14.

⁵ P. I., Sec. 421.

⁶ P. I., Sec. 489.

для Витгенштейна «понять предложение — значит быть готовым к одному из способов его употребления. Если мы не можем придумать никакого способа употребления предложения, то мы вообще его не понимаем». Использование языка обычно имеет цель — точно так же как и инструменты обычно изготавливаются с определенной целью. Однако одной-единственной цели в практике языка как целого не существует. В своих «Исследованиях» Витгенштейн перечисляет некоторые из целей языка: отдача приказов и повиновение им; описание внешнего вида объекта или задание его размеров; построение объекта по его описанию (чертежу); отчет о событиях; размышление о событиях; формулирование и проверка гипотез; сочинение рассказа, чтение его, исполнение роли... отгадывание загадки; придумывание шутки, сообщение ее; решение арифметической задачи; перевод с одного языка на другой; вопросы, благодарности, ругательства, приветствия, молитвы¹.

Сразу после этого списка Витгенштейн делает следующее важное замечание: «Интересно сравнить множественность средств языка и способов их употребления; множественность типов слов и предложений с тем, что логики говорили о структуре языка (включая и автора «Логико-философского трактата)». Критикуя логиков, и в первую очередь самого себя, Витгенштейн предостерегает против упрощения наших концепций языка. Язык не сводится к какому-либо одному виду практической деятельности или к роли одного-единственного инструмента, обладающего какой-либо существенной функцией или служащего одной существенной цели. Язык не является инструментом, служащим одной такой цели. Язык — это множество инструментов, служащих многообразным целям. «Язык не определяется нами как устройство, созданное для реализации одной определенной цели. «Язык» для нас, скорее, название некоторой совокупности»².

Из этих рассмотрений возникает инструменталистская (или прагматическая) концепция языка. «Язык — это инструмент. Его концепции суть инструменты»³.

До сих пор мы уделяли главное внимание практическому аспекту языка. Это делалось путем сравнения

¹ P. I., Sec. 23.

² P. I., Sec. 322.

³ P. I., Sec. 569.

языка с инструментом и описанием употребления слов в языковой игре. Вместе с тем Витгенштейн заинтересован и в том, чтобы напомнить нам о другом важном свойстве языка — о его социальной природе. Он подчеркивает это всякий раз, когда он либо сравнивает языки с играми, либо конструирует различные «языковые игры». Витгенштейн сравнивает язык с игрой в шахматы, слова — с шахматными фигурами, а произнесение слов — с шахматными ходами. Вопрос «Что есть слово в действительности?» аналогичен вопросу «Что есть шахматная фигура?»¹.

Для понимания шахматной фигуры необходимо попытаться всю игру в целом, ее правила, роль фигур в игре. Аналогичным образом мы можем сказать, что значение слова заключается в его месте в языковой игре. Другими словами, значение каждого отдельного слова в языке «определяется», «конструируется», «детерминируется» или «фиксируется» (в различных лекциях Витгенштейн использует все эти четыре выражения) «грамматическими правилами», которые устанавливают его использование в языке. Употребление предложения оказывается, таким образом, аналогичным шахматному ходу в соответствии с правилами шахматной игры. И Витгенштейн в связи с этим указывает: «...шахматные ходы не являются лишь простым передвижением фигур на доске... но обуславливаются обстоятельствами, которые мы называем «игрой в шахматы», «решением шахматных задач» и т. п.»². Такие ходы сравнимы с высказыванием о языке: «Могу ли я сказать «бу-бу-бу» и подразумевать под этим «Если нет дождя, то я пойду гулять»?.. Только в языке я могу подразумевать что-то под чем-то»³. Таким образом, мы не можем назвать нечто словом или предложением до тех пор, пока оно не является частью того вида управляемой правилами деятельности, которую мы называем языком. Язык есть множество типов деятельности (или практики), определяемых конкретными правилами, а именно правилами, которые управляют всеми различными способами употребления слов в языке.

¹ P. I., Sec. 108.

² P. I., Sec. 33.

³ P. I., p. 18^e, note.

Чтобы сделать очевидной социальную природу языка, Витгенштейн предлагает нам задаться вопросом: что значит следовать правилам? В чем заключается деятельность, называемая «соблюдение правил»? Затем Витгенштейн спрашивает: «Следует ли считать «соблюдение правил» возможным в отношении одного человека и всего лишь один раз в его жизни?»¹ И отвечает, что однократное следование правилу невозможно (и не имеет смысла). Конечно, мы можем представить себе ситуацию, в которой новое правило выполняется только один раз, а затем отбрасывается. Однако если такая ситуация возникает, то она случается лишь потому, что уже существуют некие правила и практика следования им. Витгенштейн говорит о практике следования правилам вообще, но не о том или ином частном правиле. Невозможно, чтобы человек только раз в его истории следовал правилу. Невозможно, чтобы имел место только один случай, когда был отдан приказ, задан вопрос, сделано обещание, сделано одолжение или сыграна игра. Следование правилу, обещание, отдача приказа и т. п. суть привычки, традиции, употребление, практика или организация². Они предполагают общество, форму жизни.

Чтобы понять правила, необходимо понять всю практику «следования правилам». Если накопленная практика исчезнет, то вместе с ней исчезнут и связанные с ней правила. Витгенштейн показывает это на следующем примере: «Каким образом внешнее выражение правила — скажем, дорожным указателем — может влиять на мои действия? Какой тип связи имеет здесь место? Возможен ответ: «Я научился реагировать на этот знак таким-то образом...» Но это только причинная связь, говорящая о том, как случилось, что мы теперь руководствуемся этим дорожным знаком, но не о том, в чем реально состоит это руководство-при-помощи-знака. Напротив... кто-то руководствуется указательным знаком лишь постольку, поскольку существует регулярное использование указательных знаков, привычка»³.

В другом месте Витгенштейн спрашивает: «Как получается, что эта стрелка → указывает? Не создается ли

¹ P. I., Sec. 199.

² P. I., Sec. 199.

³ P. I., Sec. 198.

впечатление, что она несет с собой что-то, помимо себя?»¹. Мы можем ответить: «Нет, не мертвая линия на бумаге, но только психическая вещь, значение, может это делать». Витгенштейн скажет, что такой ответ одновременно и истинен, и ложен. Верно, что линия сама по себе абсолютно мертва, однако, и «оживив» ее, мы все же не сделаем ее психической вещью. «Свойство указывать — это не фокус-покус, который выполпает над стрелкой человеческая психика. Стрелка указывает только в контексте применения, заданного ей человеком»². Эта точка зрения подкрепляется примером в следующей воображаемой ситуации, которую Витгенштейн приводит в одной из своих лекций. Предположим, что первобытные люди разрисовывают стены своей пещеры рядами арабских цифр. Предположим, что написанное ими — это то же самое, что написал бы современный человек, выполняющий арифметические вычисления. Первобытный человек всякий раз записывает цифры правильно, но он никогда не использует их для вычисления того, например, сколько деревьев ему нужно, чтобы построить жилище, или сколько ему нужно еды, чтобы устроить празднество. Сможем ли мы в этом случае сказать, что первобытные люди занимаются математикой?

Предположим, что стрелка никак не использовалась. Будет ли она указывать и в этом случае? Предположим, что не существует регулярного употребления указательного знака, а также соглашений относительно того, как следует его интерпретировать, и каждый индивид истолковывает его по-своему. Будет ли тогда дорожный знак функционировать как путеводитель?

Из предыдущего анализа непосредственно следует, что не существует «частных правил» или «частных языков»³.

¹ P. I., Sec. 454.

² Там же.

Сравни с Марксом: «Человек есть в самом буквальном смысле *ζῷον πολιτικόν* (общественное животное. — *Ред.*), не только животное, которому свойственно общение, но и животное, которое только в обществе и может обособляться. Производство обособленного одиночки вне общества — редкое явление, которое, конечно, может произойти с цивилизованным человеком, случайно заброшенным в необитаемую местность и потенциально уже содержащим в себе общественные силы, — такая же бессмыслица, как развитие языка без совместно живущих и разговаривающих между собой индивидов». (К. Маркс и Ф. Энгельс, *Соч.*, т. 46, ч. I, стр. 18).

«Следование правилу» есть практика. «Следовать правилу, в мыслях еще не значит действительно следовать ему. Поэтому невозможно следовать правилу индивидуально, частным образом. В противном случае сама мысль о следовании правилу будет тем же самым, что и исполнение его»¹. Правила общественны, то есть должна существовать возможность научения выполнению правила для более чем одного индивида.

«Представим себе, что некто использует линию в виде правила таким способом: он держит циркуль и ведет одну из его ножек вдоль линии, которая есть «правило», в то время как другая ножка будет вычерчивать линию, которая тем самым следует правилу. Далее, во время движения вдоль управляющей линии он изменяет разворот циркуля, по всей видимости делая это с большой точностью, все время глядя на управляющую линию, как если бы она целиком определяла все, что он делает. Наблюдая за этими действиями, мы не сможем, однако, увидеть какой-либо регулярности в изменениях разворота циркуля. Мы не сможем обучиться его способу следования линии. Здесь, пожалуй, единственно разумным будет сказать: „Кажется, оригинал намекает ему, как он должен действовать, но это не есть правило“»².

Но почему не правило? Потому что представление о следовании правилу неразрывно связало с представлением о совершении ошибок. Если о ком-то можно сказать, что он следует правилу, то можно также спросить, правильно ли он это делает или нет. Иначе описание его поведения как следование правилу будет бессмысленным, ибо все, что он делает, столь же хорошо, как и все другое, что он может сделать, тогда как главное в концепции правила заключается в возможности на его основании оценивать поступки.

Возможность «совершения ошибок» — вот что отличает простое проявление регулярности в поведении от следования правилу. Только в последнем случае имеет смысл спросить: «Правильно ли он поступает?» Вопрос этот означает: «Следует ли он правилу или нарушает его?» Нарушить правило — это значит не просто сделать что-то необычное или нерегулярное, что-то, что не принято

¹ P. I., Sec. 202.

² P. I., Sec. 237.

делать в данных обстоятельствах. Нарушить правило — значит допустить ошибку, оказаться виновным, попасть под критику.

Рассмотрим, что имеется в виду под ошибочным действием. Витгенштейн утверждает, что «следование правилу» включает «согласие продолжать действовать таким же образом». Мы склонны сказать: некто следует правилу, если он всякий раз в одинаковых обстоятельствах поступает одинаковым образом. Но это, хотя и верное, замечание не продвигает нас вперед, ибо только через данное правило выражение «одинаковый» приобретает определенный смысл. «Употребления слова «правило» и слова «одинаковый» взаимосвязаны»¹. Аналогичным образом нельзя научиться следовать правилу, лишь научившись употреблению слова «соглашение». «Скорее, напротив, значению последнего слова обучаются при помощи обучения следованию правилу. Если вы хотите понять, что означает «следование правилу», то вы должны уже уметь следовать ему»². Точно так же мы не сможем научиться соблюдать правило, обучившись лишь словам «правильно» и «неправильно» или «верно» и «неверно». Участвовать в регламентируемой правилами деятельности — это в некотором роде означает принимать, что существуют правильные и неправильные способы делать те или иные вещи. Это проявляется в процессе обучения. «Слова «правильно» и «неправильно» используются, когда заданы инструкции действия по правилам (слово «правильно» побуждает ученика продолжать действие, а слово «неправильно» останавливает его)»³. Что правильно, а что неправильно, в данном случае никогда не зависит от нашего собственного каприза. Как указывает Витгенштейн: «Хочется сказать: что бы ни показалось мне правильным, то и есть правильно. А это означает только то, что здесь мы не можем говорить о «правильном»⁴. Я не могу заставить слова означать то, что я хотел бы им приписать; я могу использовать их осмысленно только тогда, когда другие люди могут понять, как я их использую. Другими словами, если речь идет о соблюдении правила, я должен принять определенные соглашения. Ошибка есть нарушение

¹ P. I., Sec. 225.

² R. F. M., p. 184.

³ Ibid.

⁴ P. I., Sec. 258.

ние того, что признаю корректным; как таковая, она нуждается в выявлении. Иначе: если я ошибаюсь, скажем, в моем употреблении слова, то другие люди должны быть способны указать мне на это.

Значит ли все это, что вопрос о том, что верно или неверно, определяется согласием мнений? Вовсе нет. Он определяется согласием *действия*, согласием в поступках, в реакциях (например, в логике или математике). Согласие, говорит Витгенштейн, есть согласие не в мнении, но в *практике*.

Витгенштейн приводит другую характеристику правила. Он предлагает нам представить себе неизвестное племя, которое, по всей вероятности, использует язык. Затем допустим, что «когда мы пытаемся изучить их язык, мы обнаруживаем, что это невозможно, поскольку не существует регулярной связи между тем, что они говорят, звуками, которые они произносят, и их действиями... Для нас оказывается недостаточно регулярности, чтобы назвать это «языком»¹. Все дело здесь в том, что если нет возможности научиться использовать предполагаемый язык, то нет и возможности сказать, что это есть язык. В более общем виде можно сказать, что коль скоро существует практика, определяемая правилами, то должен существовать и некоторый способ обучения этой практике или способ обучения соблюдению правил. Таким образом, Витгенштейн противопоставляет действие, соответствующее правилу, действию, импровизированному по наитию.

Представим теперь правило, информирующее меня о пути моего следования в такой форме: по мере того как мой взор скользит вдоль линии, мой внутренний голос говорит мне: «Этот путь!» В чем же различие между подобной импровизацией и следованию правилу? Они, несомненно, не одинаковы. В случае наития я ожидаю руководства. Я не способен научить другого моей «технике» следования линии, если я фактически не научу его тому же способу слушания, тому же виду восприятия, что и мой. Но тогда, конечно, я не могу требовать от него следовать линии таким же образом, как и я².

Способность обучения правилу зависит от того факта, что следование ему подразумевает регулярность

¹ P. I., Sec. 207.

² P. I., Sec. 232.

поведения. Если имеет место действие в согласии с правилом, то можно сказать: «Сейчас он делает то же, что и раньше». Можно также сказать следующее: «Здесь он поступил правильно, а там — нет». Правило уточняет, какие действия следует считать одинаковыми и какие из них следует считать правильными. Пока оба эти фактора не установлены, обучить или обучиться соблюдению (а также и нарушению) правила невозможно, поскольку невозможно в данных обстоятельствах узнать, было ли то или иное действие правилом, требуемым или же запрещенным, а также было ли оно верным или ошибочным.

Суммируем сказанное. Научение следованию правилам представляет собой овладение техникой, методом, навыком, приобретение умения. Обучение кого-либо соблюдать правила есть обучение его технике, развитие в нем мастерства. Умение следовать правилам означает обладание навыками и способностью участвовать в практической совместной деятельности. Все это, согласно Витгенштейну, относится и к обучению, научению или знанию языка. «Понять предложение означает понять язык. Понять язык означает овладеть техникой»¹. Когда мы овладеваем языком, мы овладеваем, однако, не только одной техникой, но целым комплексом, многими видами техники. Умение пользоваться языком означает овладение не одним видом практики, но многими ее разновидностями. Можно сказать, что язык — это сложная, составная практика, скомплектованная из многих разновидностей практики. Множественность и разнообразие практик, которые образуют наш язык, подчеркиваются Витгенштейном в последовательности «языковых игр», которые он строил в своих поздних сочинениях.

Здесь Витгенштейн поднимает «большой вопрос, который скрывается за всеми этими рассуждениями». Ведь кто-то может возразить ему: «Вы говорите о разных языковых играх, но ничего не сказали о сущности языковой игры и, следовательно, о языке. Что общего во всех видах такой деятельности и что делает их языком или частями языка? Вы уклонились как раз от того раздела исследования, который уже однажды (в «Трактате») заставил вас поломать голову. Речь идет об общей форме высказываний языка».

¹ P. I., Sec. 199.

В ответ на это Витгенштейн охотно признает, что он не выявил сущность языка. «Вместо того чтобы выявить нечто общее во всем том, что мы называем языком, я утверждаю, что эти явления не имеют общего признака или вещи, позволяющей употреблять одно и то же слово в отношении всех их, но что они переименовываются друг с другом всевозможными способами. И именно из-за этой взаимосвязи мы называем все их «языками»¹. Витгенштейн пытается пояснить это сравнением понятия языка с понятием игры.

«Рассмотрим, например, поведение, называемое «игрой». Я имею в виду игры настольные, карточные, игры в мяч, Олимпийские игры и т. д. Что у них общего? Не говорите: здесь должно быть нечто общее, иначе они не были бы названы «играми», но *смотрите*, есть ли здесь что-либо общее. Ибо если вы посмотрите на них, вы не увидите чего-то общего *всем* им, но увидите сходства, взаимоотношения и целый ряд аналогичных вещей. Повторим: не думайте, а смотрите! Взгляните, например, на настольные игры с их различными соотношениями. Затем перейдите к карточным играм; здесь вы обнаружите множество соответствий с первым типом игр, но при этом многие общие черты исчезают и появляются другие. Если затем перейдем к играм с мячом, то многое общее останется, по многое и отсутствует. И так мы можем пройти через многие и многие другие группы игр, можем увидеть, как появляются одни сходства и как исчезают другие.

И результат этого исследования таков: мы видим сложную сеть сходств, которые перекрываются и пересекаются; иногда это полные сходства, иногда сходства в деталях.

Я не могу придумать лучшее выражение для характеристики этих сходств, чем термин «семейное сходство», ибо различные сходства членов одной семьи — сложение, черты лица, цвет глаз, походка, темперамент — накладываются и пересекаются таким же образом. И я скажу: «игры образуют семейство»².

Точно так же и различные языковые игры не имеют единого общего, но они образуют семью. Мы можем

¹ P. I., Sec. 65.

² P. I., Sec. 66—67.

расширить нашу концепцию языка, изобретая и прибавляя к нему все новые и новые языковые игры — точно так же, как, прядя нить, мы скручиваем волокно за волокном. «И прочность нити обуславливается не тем фактом, что какое-то одно волокно проходит через всю длину нити, но тем, что многие волокна перекрываются»¹.

Здесь могут возразить: «Независимо от своего отречения, разве Витгенштейн не определил в действительности сущность языка, заявив, что язык подобен множеству видов социальной практики и множеству инструментов». Однако это не тот случай. Витгенштейн лишь указал на определенные общие свойства («всеобщие сходства»), в отношении которых все языки напоминают друг друга. Существует много видов социальной практики и инструментов, которые не являются языками. Что Витгенштейн отрицает, так это то, что существует «отличительное» свойство, которое делает эти разновидности практики и инструментов именно языками.

Окольным путем Витгенштейн выявил практическую и социальную природу языка — факт, для марксистов уже давно известный. Следует, однако, помнить, что Витгенштейн не намеревался создавать теорию языка. Он обсуждал определенные и очень общие вопросы, касающиеся языка, лишь потому, что считал, что большинство заблуждений философии проистекает из ложной концепции языка.

Итак, хотя концепция языка у Витгенштейна имеет определенную значимость, его попытка разрушить буржуазную философию не могла быть успешной. Маркс и Энгельс раньше указывали: «... все формы и продукты сознания могут быть уничтожены не духовной критикой... а лишь практическим опровержением реальных общественных отношений, из которых произошел весь этот идеалистический вздор, — что не критика, а революция является движущей силой истории, а также религии, философии и всякой иной теории»².

¹ P. I., Sec. 67.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 37.

ЭРНСТ МАХ: ФИЗИКА, ВОСПРИЯТИЕ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Роберт С. Коэн

I. Предисловие

Эрнст Мах, будучи физиком, занимался, однако, не только физическими проблемами, но и вопросами психологии, биологии, методологии науки, истории научных идей и технологии, культуры и метафизики, и в этом качестве он был фигурой не совсем обычной. Но, несомненно, в первую очередь он был все-таки физиком, когда в поисках более глубокого понимания своей науки обращался для этого к логике и истории научных понятий. Его понимание отношения физики к реальности привело его к исследованию наблюдения, измерения и психофизики. Было бы полезно проследить развитие мышления Маха с точки зрения физической науки. Однако это задача других исследователей. Я же попытаюсь подойти к философии науки Маха более прямым путем¹.

II. Феноменализм

Мах широко известен как феноменолог, и его концепцию науки часто представляют следующей стереотипной фразой: мир состоит из ощущений — как для ученого, так и для обычного человека. Однако понять это утверждение весьма не просто, но мы должны попытаться сделать это с необходимой заинтересованностью и скептицизмом.

¹ Я весьма благодарен моему другу и коллеге Джозефу Агасси-ва за помощь при работе над окончательным вариантом этой статьи.

Кое-что в этой статье, возможно, покажется читателю вполне общепринятым, но кое-что неортодоксальным. Секрет этой неортодоксальности лежит в моем скептическом интересе к Маху, и в особенности интересе к малозаметному, но достаточно значительному аспекту его философии, а именно к ее прозрачной безличности, благодаря чему она обходит и субъективизм, и объективизм. Но прежде чем обсудить этот аспект, я рассмотрю мотивы, которыми Мах руководствовался в своей философской интерпретации науки. Все остальное вытекает из этих мотивов.

Мах критиковал иллюзии физики и здравого смысла, стремясь очертить границы того, что является подлинным знанием. В молодости на него большое впечатление произвело случайное знакомство с критической философией Канта, с кантовскими «Прологоменами». Позднее он изучал Юма и Дарвина и благодаря этому научился относиться к своей любимой физике скептически и с осторожностью. Древние проблемы философии вскоре вновь предстали перед ним в облике процедур научного исследования, и это заставило его поставить под вопрос самые элементарные аспекты своей профессиональной практики. Что такое наблюдение? Эксперимент? Измерение? Что есть масса? Сила? Пространство и время? Что такое закон природы? Теория? Объяснение? На поиск ответов на эти вопросы он направил все свое мастерство экспериментатора и математика, но, кроме того, пригодился предшествующий школьный опыт анализа логических и эмпирических характеристик научных понятий на основе выяснения исторической последовательности их различных формулировок и модификаций.

Другие крупные исследователи шли, в общем, теми же самыми путями, руководствуясь историческим подходом. Одни из них — такие, как Эмиль Мейерсон, — расходились с Махом в понимании природы науки, другие же — такие, как Пьер Дюгем, — приходили к сходным выводам. История научных концепций раскрывается не легко, и надо иметь в виду, что, изучая этот вопрос, исследователь привносит в него свои собственные цели и концептуальный аппарат, который хотя и может быть модифицирован в процессе его использования, но так или иначе в чем-то содержит отпечаток общего мировоззрения исследователя, влияя тем самым на его умозаключения.

Но если так, то в чем же состоит точка зрения Маха? Склопясь к скептицизму, Мах хотел, чтобы наука утверждала только то, что может быть доказано. При этом, подобно многим эмпирикам, но, может быть, с еще большей настойчивостью, он утверждал: не умозрение и не интуиция, но ощущения суть основа доказательности, в какой бы области мы ни проводили исследования. Ощущения не могут обнаружить того, что скрыто для них, и мы не можем познать того, что стоит за ними. Пространственная метафора «за ощущениями» вроде бы отсылает нас к некоторому значению, но это значение нельзя усмотреть (или ощутить). Эта метафора отбрасывается, и вместо нее принимается другая: «совместно разделяющий», «совместно участвующий» (shared). Чувственные данные есть общие всем очевидности для всякого наблюдателя и для каждой науки. Следовательно, солипсизм исключается а priori. На этой же основе объясняется и расчлененность науки. При этом возможность унификации науки ни логически, ни эпистемологически не исключается.

Но почему Мах решил отвергнуть одну метафору и принять другую? Вместо того чтобы попытаться снять затруднение, связанное с метафорой «совместно разделять» в утверждении: «Наука разделяется всеми наблюдателями», он усугубил его еще больше, поставив вопрос (как и Юм), не является ли метафорой также и слово «наблюдатель». «Я», или эго, — это трудное для осмысления понятие, по крайней мере оно не очевидно; его значение не дается ощущениями. Однако частный, отпесенный к субъекту характер ощущений, который так или иначе неизбежно приводил к солипсизму многих предшественников Маха (иногда вопреки их воле), — это та очевидность, которая вводит в заблуждение, ибо научное знание общественно в своей отнесенности, используемости и проверяемости. Поэтому Мах заменяет слово «ощущение» нейтральным термином «элемент», позволяющим ему делать высказывания, не относящиеся ни к объектам, рассматриваемым критиками Маха, как то, па что ощущения должны указывать, по которые существуют независимо от ощущений, ни к эгоцентрическим мирам, которые должны состоять из ощущений и могут вести к солипсизму. Введение понятия нейтрального «элемента» на первый взгляд выглядит ловким трюком, однако это

представление много значит для философии Маха. С его точки зрения, наука представляет собой попытку описать «элементы» в языке функциональной зависимости экономно, исчерпывающе, просто. Такой описательный язык, помимо эстетического удовлетворения, часто обеспечивает предсказания, а вместе с ними и некоторый контроль над природой. (Не должны ли мы здесь напомнить Маху, что следует говорить, скорее, о контроле над элементами?) В этом плане научные идеи суть средства борьбы за выживание (по Дарвину) как отдельной личности, так и человечества в целом. Приобщаясь к знанию в человеческом коллективе, индивид претупает границы эгоизма: Мах рассматривает мир как целое, а место человека в нем — хотя преходящее — как часть этого целого.

Может возникнуть подозрение: Мах производит лишь подмену одной метафоры («эго») другой («целое»), причем для его цели, то есть для борьбы с метафизикой, такая подмена либо мало полезна, либо и вовсе бесполезна. Возможно, это и так, однако ясно одно: Маха подобная замена с точки зрения его антиметафизики устраивает.

Как упоминалось выше, принципиальным мотивом для Маха было разграничение истинного знания и ложных претензий познания. Само собой разумеется, считал он, познание чувственно и, следовательно, спекулятивная метафизика неверно понимает знание. Все ее претензии на достоверность не более чем догмы.

Но почему Мах придал метафизике статус несомненности, который позволил ему затем развенчать ее как догму? Прежде чем ответить на этот вопрос, я должен подчеркнуть, что великие метафизики — от Декарта до Капта — претендовали на несомненность метафизики и что великие антиметафизики — от Бэкона до Дюгема — пытались это опровергнуть. Мейерсон, как я отмечал в другом месте¹, занимает в этом ряду особую позицию. С точки зрения истории ответ, по всей видимости, определяется тем, что на Западе метафизика (как и паука) была реакцией на скептицизм. Поэтому, когда метафизические спекуляции выдвигаются с честными оговорками

¹ R. S. Cohen. Is the philosophy of science germane to the history of science? The work of Meyerson and Needham. Ithaca, Proc. X inter. cong. hist. sci., Hermann, Paris, 1964, p. 213—223.

как гипотетические и умозрительные (как у Бошковица), то это не вызывает обычно ни враждебности, ни, к сожалению, интереса¹.

Мах хотел превзойти все метафизические догмы, претендующие каждая по-своему на несомненность. Несомненность, однако, непроверяема на эксперименте, и Мах думал, что он сможет это показать с новой несомненностью же. Традиционные антиметафизики подчеркивали недостоверность заключений метафизиков, недостоверность их доктрин, и эта недостоверность происходила, конечно, из спекулятивного метода. В своей критике они ссылались на метод наблюдений, ведущий, по их мнению, к надежным заключениям. Однако точка зрения Маха отличается от традиционной антиметафизики. Мах экономит: вместо того чтобы рассматривать заключения через метод, он сосредоточился на самом методе. Выводы науки предположительны, но ее метод не субъективен. Назвав метод науки «объективным», Мах надеялся избежать риска превращения «элементов» в нечто *заданное*, а научных выводов — в нечто окончательное и абсолютное. Метод науки, по Маху, и не субъективен, как у метафизиков, и не объективен, как у ранних эмпириков, — он безличен. Последователи Маха в Вене вместо безличности использовали интерсубъективность, ибо безличность непреднамеренно ведет к кантианству, или «разбавленному» махизму, или, хуже того к раннему эмпиризму с его солипсистскими ловушками².

Для Маха, таким образом, достоверным может быть не полученное знание, а метод его получения. Знание, согласно Маху, всегда предварительно, но строится оно тем не менее на несомненной и элементарной основе — несомненной в смысле неизбежности, но не в смысле неизменности. Все концепции, которые не связывают свои идеи с этой основой, сомнительны. Их смысл в конечном счете неясен, так как они могут быть либо неверными, либо

¹ См.: J. Agassi. The nature of scientific problems and their roots in metaphysics. — «The critical approach to science and philosophy» (ed. by M. Bunge). Free Press and Collier-Macmillan, N. Y. — L., 1964, p. 189—211.

² Более широкое обсуждение содержится в: R. S. Cohen. Dialectical materialism and Carnap's logical empiricism. — «The philosophy of Rudolf Carnap». Ed. by P. A. Schilpp. Open Court, La Salle, Ill., 1963, p. 95—158; в частности разделы 2 и 3.

ошибочно сформулированными оценками явлений, либо псевдовразумительными утверждениями, которые, как это выясняется при тщательном исследовании, лишены смысла и, следовательно, всякой возможности быть как-то увязанными с экспериментом, причем псевдовразумительность есть отличительная черта метафизики. В своих исторических изысканиях Мах прослеживает метафизический и эмпирический аспекты научных идей, но философский анализ науки у него менее зависим от разрушительной критики метафизики, имея характер конструктивных научных рекомендаций, которые он заимствовал из своих собственных научных и исторических изысканий и затем обобщил.

По Маху, метафизика — это иллюзия познания, самообман человеческого духа. Метафизика порождает самообман не только в своих основных утверждениях, но и в некоторых специфических частностях: так, она вводит дуализм материи и разума в природу; природного и сверхприродного — в космос. Для отбрасывания таких доктрин и для преодоления всякого абсолютного дуализма (не говоря уже о плюрализме) недостаточно ограничиться принятием монизма, ибо любой монизм может оказаться эфемерным. Более того, любой монизм будет лишь адекватной или неадекватной альтернативой дуализму, не опровергая в принципе все возможные его разновидности. Чтобы достигнуть цели, требуется монистический критерий, который можно было бы использовать в каждом случае философской критики дуализма или плюрализма любой разновидности и оттенка. В согласии с традициями современной европейской мысли Мах рассматривал это как эпистемологическую проблему. Если рассмотреть в качестве простого примера репаящую проблему дуализма материи и разума, то сможем ли мы здесь построить модель реальности, которая бы не состояла исключительно из того или другого и в то же время не была бы композицией взаимоисключающих факторов? План Маха выглядел следующим образом: очевидность материального — вещи или события — обнаруживается наблюдением; то же самое можно сказать и об очевидности идеального. Таким образом, материальное и идеальное мы познаем в пределах нашего тела и благодаря ему: в обоих случаях это происходит с непосредственностью, не требующей вывода и не имеющей гласности. Но, отвлекаясь на мгнове-

ние от линии обсуждения, можно отметить, что наблюдательная очевидность материальных событий тождественна с таковой и для психических событий других сознаний: мы можем говорить на языке ощущений цветов, звуков, запахов; или на математическом языке пространств, времен, форм; или на вещественном языке тел, давлений, температур. Мах употребляет эти языки, часто перемежая их, но исходная его процедура состоит в переопределении любой научно мыслимой сущности с помощью разных альтернативных словарей. С этой точки зрения бессмысленно говорить о вещах, которые взаимодействуют с разумом и благодаря этому производят ощущения. «Не вещи (тела), а цвета, звуки, давления, пространства, времена (что мы обыкновенно называем ощущениями) суть настоящие элементы мира»¹. С этим миром имеет дело наука, и его исследование является пашей научной целью. «Вещь есть абстракция, название, символ для какого-нибудь комплекса элементов, изменения которого мы не принимаем во внимание»². Или: «Ощущения тоже не «символы вещей». Скорее «вещь» есть мыслимый символ для комплекса ощущений относительной устойчивости»³.

Мах использовал также и подход Фихте, направленный против кантовских вещей в себе — собственно позитивистская критика метафизической части его критической философии, — однако при этом он в равной мере резко выступил и против фихтевского «Я», то есть метафизического элемента, еще присутствовавшего в позитивизме Фихте⁴.

Чистый опыт является для Маха познавательной основой, очищенной, так сказать, от любой ссылки как на источник, так и на реципиент, или a fortiori от любой ссылки на причинное взаимодействие. Формулировки Маха в той мере, в какой они осторожны, в той же степени

¹ Э. Мах. Механика. Историко-критический очерк ее развития. СПб, 1909, стр. 404.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Я сошлюсь здесь на «Человеческую судьбу» Фихте, не желая входить в обсуждение различных этапов его философии. Даже в «Религии и философии в Германии» Гейне, интерпретирующей философию Фихте не в контексте «Я», а только через процессы мыслительной деятельности, содержится достаточно дуализма (элементов и мыслей), к которому Мах питал глубокое отвращение.

и явно позитивистские. Например, он описывает цвета, звуки, пространства, времена как «покуда конечные элементы»¹. Он, по-видимому, хотел провести различие между феноменологической базой подтверждения (что есть также феноменологическое представление «мира») и любого сорта догматической несомненностью в отношении фундаментальной природы мира. Мы, конечно, не уверены, что методология Маха допускает даже такое незначительное отступление в сторону онтологии, однако его намерения представляются достаточно ясными.

Столь же ясно, что реализации этих намерений мешал эмпирический подход Маха, ограничивающий познание познанием явлений. В отличие от его чисто рациональной реконструкции научных понятий оценка Махом самой их природы была биологической и исторической: он рассматривал понятия как свойства, произведение живой природы. Человек как живой организм может быть вещью, а вещи, по Маху, суть «мыслимые символы для комплексов ощущений относительной устойчивости». Или же: человек может быть мерой всех элементов, будучи их сопряженным противочленом. Но позвольте мне не останавливаться на этом слишком долго. Ибо в любом случае именно благодаря такому подходу, пионером которого был Мах, эпистемология преобразуется из философии в науку. Мах был психофизиком, и его влекло любое исследование пограничных вопросов физики и биологии. На него сильно повлияли эволюционизм и исследования древней и доисторической технологии. Науку и технологию в плане культуры он рассматривал как инструментальные и был согласен с современной ему биологической гипотезой о том, что познание есть одна из форм приспособления к окружающей среде. В то же время Мах был менее склонен к распространению своей позитивистской эпистемологии в область космического, нежели ранние эмпирики, такие, как, скажем, Бэкон или Юм. Его позитивизм был научной теорией о том, как и что делают ученые, занятые своей практической деятельностью, то есть когда они исследуют, размышляют, вычисляют, проверяют, опровергают, познают. В этом новом биоисторическом контексте теория науки Маха представляется по-

¹ Э. Мах. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. М., 1908, стр. 45.

вой и улучшенной версией бэконовского призыва к скромности (counsel of modesty) и предостережением против самонадеянности. Фактически он заключил, что наука не является попыткой понять мир как он есть сам по себе, но лишь попыткой описать мир таким, каким мы познаем его в опыте. Поэтому и эпистемология, чтобы стать наукой, не должна стремиться к пониманию феномена науки, но только к его описанию. В общем, понимание не должно претендовать на охват всей вселенной, оно может лишь помочь нам пройти наш космически локальный жизненный путь. Другими словами, сила разума не является космической, как у Бэкона, но локальной. Наша точка зрения на мир обеспечивается наукой, помимо которой у нас нет иных альтернативных способов познания, а поэтому не существует и космической перспективы, открывающей человеку более широкую сферу (чем та, которую открывает наука). Таким образом, феноменология Маха представляется практической позитивистской попыткой отыскать альтернативный вид объективности в рамках антропоцентрического подхода.

Антропоцентризм — это больше, чем субъективизм, и даже больше, чем интерсубъективность. Но он представляет собой нечто меньшее, чем завершенность или объективность в смысле окончательности или завершенности знания того, что есть (как это должны понимать Бэкон, Декарт и даже Гегель). Я назвал это безличностью, «имперсонализмом». Наконец, упомянем о новой интерпретации Махом законов и теорий в свете его новой идеи безличности, которые для него есть сжатое описание опыта. Могут возразить, что такая реинтерпретация не дает адекватного понимания ни референциального значения эволюционной гипотезы Дарвина, ни фактов и теоретических интерпретаций человеческой истории. А если это так, то ясно, что эпистемология Маха оказывается в ловушке тупика самоотнесения (self-reference). Фактически мы уже сталкивались с подобной ситуацией несколько раньше, когда спрашивали, не является ли Мах в конце концов дуалистом. И все же еще слишком рано делать такой вывод. Прежде имеет смысл посмотреть, как феноменология Маха решает проблемы повседневной науки.

Среди элементов (в смысле Маха) огромного потока наблюдаемых явлений человек, мыслящий рационально,

должен искать связи, корреляции с целью «охватить, посредственно или непосредственно, поток этих элементов»¹. С этой точки зрения все есть поток, но нет оснований говорить, что все есть *logos* или процесс. Ибо относительное постоянство, которое мы находим среди элементов, не указывает на то, что скрывается за ним самим. Также и наши лингвистические и математические обозначения таких постоянных, устойчивых корреляций не относятся к чему-то большему, чем наблюдаемые связи. Если являющееся связано, то мы должны тщательно проводить различие между фактом связи как таковым, и любой гипотезой относительно субстанции и формы, сущности и атрибута, материи и управляющего ею закона — то есть всем, что может быть придумано с целью объяснения наблюдаемой связи. По меньшей мере вначале, рассматривая корреляции среди своих элементов-ощущений, Мах следовал юмовскому представлению о причинности. Однако он вполне корректно избежал скептицизма Юма в отношении возможности какого-либо разумного базиса пауки. Ведь, по Маху, связи действительно существуют среди наблюдаемых явлений, ибо мы можем их видеть, но «то, что мы представляем себе позади явлений, существует *только* в нашем уме»². Какого рода существование имеется здесь в виду? Возникает подозрение, что Мах, возможно, хотел полностью разделить обычные восприятия и элементы, *чистые* ощущения и *просто* наблюдения. И действительно, он так и поступил — но только инструментально, а не таким же образом, как при объяснении существования (по меньшей мере кажущегося) научного объяснения. То, что мы «представляем себе позади явлений... имеет для нас только значение мнемонического приема или формулы, форма которой, будучи произвольной и безразличной, очень легко меняется с состоянием нашей культуры»³. Мах использует слово «будучи» только метафорически.

Любая формула, указывает Мах, а вместе с ней и так называемый закон природы — как бы тщательно она ни проверялась, подтверждалась и применялась — представ-

¹ Э. Мах. Популярно-научные очерки. СПб, 1909, стр. 167.

² Э. Мах. Принцип сохранения работы. История и корень его. СПб, 1909, стр. 49.

³ Там же.

ляет собой не большую ценность, нежели совокупность индивидуальных «фактов» (термин Маха), которые она описывает. Очевидно, формулы и законы удобны, а удобства они потому, что экономичны. Другими словами — в том плане, в каком Мах видит историю науки, — не существует объяснения ни того, почему элементы могут быть организованы столь удобно, ни того, почему законы и формулы работают. Мах как научный эпистемолог *просто* констатирует факт. С указанной трудностью, между прочим, сталкиваются все инструменталисты, ибо в их философии нет места ни для объяснения вообще, ни для объяснения научного развития в частности. Культурный релятивизм плюс формализм не могут объяснить феномен науки. И это было известно Маху.

В связи с подобной точкой зрения, разделяемой всеми инструменталистами и релятивистами, возникают следующие вопросы. Как должен Мах отнестись к столь обычному для теоретиков использованию гипотез? Следует ли реконструировать науку таким образом, чтобы исключить из нее все предположительное? Следует ли исключить вместе с тем все субмикроскопические сущности? Следует ли отвергнуть значение любых сущностей, выходящих за рамки феноменологически данного? Если да, то мы перестаем описывать что-либо, а начинаем выдвигать условия и оговорки. Однако Мах, глубоко знавший физические теории, едва ли бы мог игнорировать роль гипотез в науке или выдвигать какие-либо условия, в частности сводить физику только к индуктивному или только к абстрактному методу. Подобно тому как это делал Беллармин за три столетия до него, он не пытается ограничить свободную игру математического воображения¹. Все, что полезно, может быть использовано, однако значение идеальных сущностей и теоретических идей пуждается в анализе и эмпирической проверке. Мах писал: «Если гипотезы так выбраны, что предмет их никогда не может быть дан чувством, т. е. никогда не может быть проверен, как это есть, например, в механической молекулярной теории, то

¹ Ясное изложение и глубокую критику инструментализма см.: К. Р. Поппер. Three views concerning human knowledge — В: «Contemporary British philosophy». Ed. by H. D. Lewis. Allen and Unwin, L. 1956, p. 355—388; что перепечатано в: К. Р. Поппер. Conjectures and refutations. L., Routledge and Kegan Paul, and N. Y., Basic Books, 1963, p. 97—119.

исследователь сделал больше, чем от него требовала наука, цель которой — факты, и это большее вредно»¹.

Поэтому теория не всегда запрещается, хотя — вспомним его антиметафизику — *может* быть запрещена. Она должна быть проверяемой. Но когда? Ответа Мах не дает, а ведь известно, что иногда разрыв между созданным в акте теоретического воображения и актом экспериментальной его проверки существует в течение долгого периода времени. Однако, если анализ показывает, что теория, по выражению Маха, «никогда не может быть проверена», то ясно, что она неуместна и даже бессмысленна с точки зрения опыта. Или, мог бы сказать Мах, теория по крайней мере еще не является частью науки, если для нее неуместен весь мыслимый на сегодняшний день опыт. Мы, конечно, можем ошибиться в нашем анализе, можем потребовать проверку слишком рано — ведь узы эмпирической уместности в действительности весьма тонкая вещь. Например, Мах выдвинул из своего позитивистского фонда аргументы против атомно-молекулярной теории. Мы знаем, что он в течение долгого времени заблуждался, отвергая эту теорию, и в этом случае он должен был бы быть убежденным любым прямым или косвенным свидетельством теории с большей способностью к упорядочению элементов.

Подход Маха отчасти очевиден: теории, а с ними вместе и теоретические сущности играют роль коррелятивных функций. Вместе с тем остается неясным следующее: существуют ли связывающие гипотезы и гипотетические сущности в каком-либо смысле — хотя бы только в нашем уме? Безусловно, он не отрицает существование теоретических сущностей, как и любых других. Но он подчеркивает, что все существующее существует только в одном смысле, а именно как конструкция элементов. Мах не налагает специального требования на гипотезы, но не удивительно, что он анализирует их значение в терминах человеческого опыта.

В результате статус теоретического объяснения остается невыясненным. Если гипотеза имеет отношение (*relevant*) к опыту, она допускается. Но Мах добавляет:

«В теории совершенной всем деталям явлений должны

¹ Э. Мах. Принцип сохранения работы. История и корень его. СПб, 1909, стр. 39.

соответствовать детали гипотезы и все правила для этих гипотетических вещей должны быть и непосредственно применимы к явлению»¹.

Требование такой детализированной согласованности — слишком строгое требование, чтобы с ним можно было согласиться. Ибо, по критериям самого Маха, представляется достаточным потребовать, чтобы гипотезы формулировались в терминах, выводимых из математики и ощущенной посредством аналогии и продолжения, если уж не с помощью прямой абстракции. Они должны отбрасываться, если по отношению к ним неуместен весь мыслимый опыт, — любые другие гипотезы можно принять. И здесь мы все еще не выходим за рамки феноменологической концепции существования: допустимые гипотетические сущности и свойства, существование которых постулируется на основании принятых гипотез, существуют «только в нашем уме» (как значение, как конструкты); в то же время элементарные факты, которые объясняются этими гипотезами, конституируют несводимое, то, что есть в действительности. В итоге существование «в нашем уме» есть фикция. Здесь как раз кстати привести замечание Ницше: «Парменид сказал: «Нельзя мыслить того, чего нет»; мы находимся на другом конце и говорим: „То, что может мыслиться, должно быть непременно фикцией“»².

Но Мах защищает себя, и очень просто. Было бы слишком требовать концепцию существования от теории науки. Самое большее, что мы можем спросить: что есть научное объяснение? И в качестве ответа Мах предлагает свое наблюдение, что ученые объясняют с помощью сопряженной процедуры анализа и сведения.

«Естествознание должно разлагать более сложные факты на возможно меньшее число возможно более простых фактов. Это мы называем объяснением. Эти простейшие факты, к которым мы сводим более сложные, по существу своему остаются всегда непонятными, то есть неразложимыми далес...

Обыкновенно обманываются, когда думают, что свели

¹ Э. Мах. Принцип сохранения работы. История и корень его. СПб, 1909, стр. 39.

² Ф. Ницше. Воля к власти. Собр. соч., т. 9, М., 1910, стр. 251.

непонятное к понятному. Но понимание заключается именно в разложении. Сводят непонятное, непривычное к другим непонятым вещам, но привычным...»¹

«Какие факты считать за основные, на которых можно успокоиться, зависит от привычки, от истории»².

И вновь культурно обусловленная случайность эмпирической базы вынуждает Маха переступить границы его собственно позитивистской реконструкции! В отличие от Юма, сводившего причинный анализ к привычкам и традициям и затем оставлявшего меланхолию своих исследований ради пикантности повседневной жизни, Мах видел, что теория истории должна дополнять эпистемологию, а возможно, и завершать ее. Странно, но для Маха идеи естествознания, кажется, в конце концов должны следовать историческому опыту. Он здесь, так сказать, загрызает со схемой интерпретации Коллингвуда³. Однако следует заметить, что если Мах великолепно владел историей естественнонаучных идей, по крайней мере, как они развивались в рамках истории Европы, и так мало утруждал себя философским анализом исторического знания, то Коллингвуд, напротив, был крупным историком культуры, но слишком плохо знал физику. «Непонятные, но привычные вещи» Маха изменяются в ходе столетий, и историки науки и эпистемологии должны фиксировать и, осмелюсь сказать, объяснять эти изменения⁴. Если бы такое историческое значение было в распоряжении Маха, он смог бы предвидеть выбор среди альтернативных базисных множеств элементов. В рамках его анализа, однако, был возможен только ограниченный метавыбор: принять ли опытную базу среди «непонятных, но привычных вещей» повседневности нашей культуры или же выбрать ее на основе соглашения ученых или другого избранного круга лиц. Но, естественно, даже этот эпистемологический выбор Мах должен был сделать на прагматических основаниях; он считал такой подход признаком научного прогресса. И мы не должны забывать: Мах об-

¹ Э. Мах. Принцип сохранения работы. История и корень его. СПб, 1909, стр. 37.

² Там же, стр. 38.

³ R. G. Collingwood. The idea of nature. Oxford, Clarendon press, 1945.

⁴ См. также: R. S. Cohen. Causation in history. — In: «Physics, logic and history». Ed. by W. Courgrau, A. D. Breck. N. Y. — L., 1970.

рисовал идею выбора достаточно ясно для того, чтобы это могло поощрить молодого Эйнштейна попытаться создать множество радикально новых альтернатив.

III. Наука есть описание

«Объяснение есть не что иное, как сжатое описание». Этой безобидно звучащей фразой Мах открывает свою теорию науки. Наука описывает, устанавливая функциональные отношения для повторяющихся явлений. Повторение, как мы помним, есть изначальный факт. То же можно сказать и об анализе, и о математических формулировках. Закон природы — это стенографическая запись в математическом виде суммарной конъюнкции мирпадов его собственных проявлений и индивидуальных описаний. Все это кажется подозрительно простым. Почему? Да потому, что мы можем сразу же здесь спросить, а как же делаются предсказания. Ведь если наука — это только сжатое описание в математической форме, то в ней нет места для предсказаний.

Этот раздел мы посвятим попытке Маха представить науку предсказывающей — что он обязан был сделать как теоретик науки, — а также рассмотрим критику этой попытки и ответы на нее Маха. Как и можно было ожидать, первый шаг Маха состоял в дальнейшем анализе законов науки.

Законы, по Маху, связаны с предсказанием через условия «contingency», а именно: они определяют условия своей применимости. В целом их следует понимать как условные предписания, относящиеся к нашему опыту. Мах писал, что «законы природы суть правила, по которым необходимо происходят процессы в природе»¹. Наука — это не просто обширный, хотя и сжатый, отчет об опыте. Наука — нечто большее, чем такой отчет, ибо простирается на возможный опыт. Мах, правда, не уточняет, что значит «возможный опыт». Не видит он также и каких-либо заметных трудностей, связанных с использованием гипотетических утверждений и контрфактических кондиционалов. По его мнению, наука имеет смысл в своем фактическом применении, но не в спекуляциях по

¹ Э. Мах. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. М., 1909, стр. 447.

поводу того или иного предполагаемого применения. И все же его теория пауки выходит за рамки «науки как описания». Законы действуют и за границами данного опыта, они функционируют не только как описания, но также и как предписания для описаний. Мах подчеркивает: «... По происхождению своему «законы природы» суть ограничения, которые мы предписываем нашим ожиданиям по указаниям опыта»¹.

Итак, законы суть одновременно концентрированные и расширенные описания. И Мах был прав, утверждая, что сила науки заключается в этом эффекте концентрации. Но тем не менее сама концентрация едва ли описывает какой-либо опыт. Концентрация и расширение суть стержень доктрины Маха, и легко возникает впечатление, что Мах просто и четко фиксирует, что делает ученый, но не может объяснить причину его успеха.

Начнем еще раз сначала. «Объяснение — это есть не что иное, как сжатое описание». Вместо того чтобы спросить, как наука описывает, спросим, что она описывает. Мах отвечает: опыт. При этом мы должны согласиться — вместе с ним, — что опыт не является необходимо *прошлым* опытом (как это считали ранние эмпирики). Теперь вновь обратимся к вопросу об отношении между опытом и теорией, более внимательно и всесторонне относясь к тому, что Мах должен или не должен был рассматривать как опыт. Теоретические утверждения, по замыслу Маха, должны быть полностью дескриптивными по отношению к опыту: они должны анализироваться в терминах повторяемых индивидуальных опытов, в терминах повторяемых индивидуальных явлений; они суммируют утверждения о таких явлениях; они проверяются только утверждениями о явлениях; и они могут сообщаться только благодаря общепринятому пониманию утверждений о явлениях. Но поскольку эти теоретические утверждения тесно связаны со связными совокупностями опытов (cluster of experiences), постольку они не эквивалентны утверждениям о явлениях. Даже Мах, к тому же раньше других, осознал замечательное достоинство теории и науки в целом, а именно быть огромной *элиминацией* опыта. Не следует, конечно, заходить так далеко и утверж-

¹ Э. Мах. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. М., 1909, стр. 447.

дать, что истинная функция теории состоит в том, чтобы «заменить собой сам опыт и таким образом *избавить от необходимости* повторять его»¹. Возможно, эмпирику покажется кощунством говорить об опыте как о чем-то ненужном или несущественном. И здесь вновь пам может помешать обычная точка зрения на Маха как на традиционного эмпирика. Если ранние эмпирики бережно хранили опыт и пытались точно уложить его в законы, так что последние оказывались «не чем иным, как сжатым описанием» *прошлого* опыта, то для Маха законы суть рецепты получения индивидуальных дескриптивных утверждений. Научное образование ведет не к познанию прошлых фактов, но к познанию рецептов их производства. Мы имеем рецепты того, как, используя выражение Маха, «воспроизвести в мышлении все возможные» наблюдения связей. Наша аналогия с кухней вполне уместна здесь, ибо рецепты следует практиковать. Если их просто созерцают, то это требует работы воображения; но, если они практикуются, мы получаем результат. Так обстоит дело со всеми формулами, например: «Если мы заметим себе величину ускорения тяжести и примем во внимание установленный Галилеем закон падения тел, то мы имеем очень простую и сжатую формулу, при помощи которой мы можем воспроизводить в мыслях все возможные в природе случаи движения падающих тел. Такая формула, нимало не обременяя памяти, вполне заменяет собой пространную таблицу, которая с помощью этой формулы может быть без особого труда создана в любой момент»².

Научный закон для Маха — это инструмент для вычисления и, возможно, некоторым образом для спецификации индивидуальных состояний познаваемого на опыте мира. Его концепция философского анализа науки близка тем самым к тому, чтобы ее можно было рассматривать как запрограммированную быстродействующую вычислительную машину. Возможность с ее помощью получать таблицы коррелированных между собой фактов спасает мозг от необходимости решать громоздкую и непроизводительную задачу накопления первичной информации. И мы не удивляемся, когда читаем у Маха: «Если бы все отдельные факты, все отдельные явления были

¹ Э. Мах. Популярно-научные очерки. СПб, 1909, стр. 157.

² Там же.

непосредственно доступны, как мы этого требуем после того, как ознакомились с ними, наука никогда не возникла бы»¹. Следовательно, наука компенсирует недостатки человеческого тела как системы медлительных и слабочувствительных инструментов наблюдения, а также недостатки человеческого разума как системы ограниченной емкости и надежности.

Итак, сжатое описание опыта. Но что еще? Не удивительно, что наука, как ее описывает Мах, стремясь искать скорее описания, а не объяснения, не стремится к истине: она, конечно, дает истинные описания, ведь в конце концов эта мыслительная машина для того и построена. Но за описаниями она уже не ищет истинных их объяснений. Скорее, она ищет экономного (а не произвольного) описания. Этот момент следует подчеркнуть: экономия не есть произвол. Но что же такое «экономия» в точности? Мах предлагает различные формулировки меры экономии. В современной терминологии они выглядят так. Наука ищет простоты описания, потому что более простая из двух теорий оказывается более мощной в смысле информативности и предсказательности. Однако это не решает проблемы. Альтернативные теории, разумеется, можно оценить эмпирически в отношении предсказательной способности, и их можно оценить логически в отношении дескриптивной простоты. Но эти две оценки могут расходиться: Рейхенбах различал индуктивную и дескриптивную простоту². Мах этого не делает. Но если понятия не совпадают интенсивно, то, очевидно, нет необходимости и в их экстенсивном совпадении.

Возможно, это различие очень тонкое. Напомним, что теория науки, как и сама наука, у Маха является дескриптивной. И возможно, что экономия в операциях покажет неуместность различения Рейхенбаха.

Здесь, по-видимому, самое время остановиться на спорах по поводу атомизма. Во-первых, по Маху, эти споры должны разрешаться на основании его критерия жесткой антиметафизичности. Во-вторых, Мах был закаленным борцом против атомизма и при этом стоял на ошибочных

¹ Э. Мах. Принцип сохранения работы. История и корень его. СПб, 1909, стр. 36—37.

² H. Reichenbach. Elements of symbolic logic. N. Y., Macmillan, 1947; Theory of probability, 2nd ed. Berkeley and Los Angeles, 1949.

позициях. Было ли его упорное заблуждение следствием ложной теории или же оно было ложным следствием правильной теории?

Традиционная формулировка спора связана с вопросом: существуют ли такие вещи, как атомы? Если слово «вещь» понимается как обычно, тогда Мах не мог бы не возражать. Но он, разумеется, сказал бы «да», если бы «вещь» была махистской! Долгие колебания Маха от принятия к отвержению атомизма показывают, что для него существовал или должен был существовать вопрос: является ли атомизм полезной доктриной? Ответ, как мы знаем, является положительным для каждого конкретного случая принятия и использования этой доктрины. Однако, отпавляясь от этого, мы обычно спрашиваем, существуют ли атомы в действительности? Мах скажет: «Нет», поскольку они не участвуют в наблюдаемом опыте. Ведь реально существуют одни только элементы. Но в таком случае мы можем возразить Маху: должны ли атомы — для того чтобы существовать в действительности — участвовать в опыте *как атомы*? Ответы Маха на этот и аналогичные вопросы вполне последовательны в отношении соответствующей критики. Идея атомов выполняет полезную функцию наглядности для тех, кто требует такой наглядности, и Мах всегда признавал ее «эвристическую и дидактическую ценность». Но должна ли наука принять атомизм — это зависит не только от его эвристической, но и от экономической ценности. Поэтому на вопрос, должны ли мы, считая атомизм *научной* доктриной, принять, что атомы существуют в действительности, Мах отвечает отрицательно, поскольку для него в действительности существуют только чувственные, опытные элементы.

Следует подчеркнуть различие между эвристическим и экономичным, личным и безличным. Раз наглядное мышление уже больше не требуется современному мыслителю, то он должен «выделять существенное мысленное ядро, представляющее факты, и отбрасывать излишние сопровождающие представления»¹. Но тогда можно ответить «да» на вопрос, существуют ли атомы. Ибо для Маха фактуальное ядро содержится, конечно, в подлинном опыте,

¹ E. Mach. Die Principien der Wärmelehre. Leipzig, 1900, S. 430.

а не в десятилетних физических и химических диспутах. Мы можем спросить даже более резко: существуют ли теоретические сущности? И ответ Маха был бы тем же самым: поиск «фактуального ядра» и отказ от вводящих в заблуждение картинок и метафорических фикций. В рамках утилитарной теории науки Мах не нуждается больше ни в чем. И если Мах *догматически* сопротивлялся принятию независимого существования атомов, как с сожалением характеризовал его позицию Больцман, то, в конце концов, он был всего-навсего лишь последователен, если вспомнить о его критике таких кажущихся менее теоретическими понятий, как температура, масса, пространство. Что *существует* независимо в последних — и в объектах повседневной жизни, — может также существовать «независимо» в качестве атомов, но так или иначе выражается в виде коррелятивно-функциональных зависимостей явлений, познаваемых безлично. С этой точки зрения Мах расходился с атомизмом только по техническому вопросу экономии мышления.

Итак, наш пример — Мах и атомизм — не дает нам четкого ответа на интересующий нас вопрос: как точно измерить экономию? В чем точно заключается различие между экономией и простотой описания? Существует ли заметное различие между видами экономии, измеренными соответственно в терминах индуктивной и логической простоты? На эти вопросы нам необходимо ответить для того, чтобы иметь возможность судить, удалось ли Маху ввести предсказание в свою теорию науки, как он намеревался это сделать, или же нет.

Однако независимо от ответа на этот вопрос мы знаем по крайней мере суть его подхода: законы — это рецепты, инструменты, а предсказание является одной из их целей. По-видимому, мы можем отвергнуть такой подход из общих соображений, экономя на детальной аргументации. Ясно также, что общие рассуждения правдоподобны, даже убедительны, но они не являются вынужденными. И все же я хотел бы использовать их, ибо они будут полезны для детального обсуждения поставленных вопросов.

Допускает или отвергает Мах гипотезы? Ограничивая познавательные возможности науки тезисом, что она не дает объяснений, Мах, как мы убедились, рассматривал науку просто как отчет о фактах. Он скептически отно-

силы к предположениям, которые используются за пределами опыта, и этот скептицизм вел его также, по существу, к отвержению любых гипотез независимо от того, применяются они в рамках опыта или за его пределами. Нетрудно понять, что такой подход вызвал бурную критическую реакцию. «Реалисты» доказывали, что наука дает (частичное) объяснение явлений в рамках гипотез о сущностях и процессах, свойства которых включают взаимодействия с нашими приборами и органами чувств, но не необходимо исчерпываются этими взаимодействиями. Мах ответил на эту критику. Он корректно указал на исходную роль опыта и практики в возникновении научных исследований; далее, столь же корректно он подчеркнул конвенциональный статус многих понятий и отношений, входящих в научные теории; опять-таки столь же корректно он выделил абсолютно решающее значение утилитарности опыта (*utility-in-experience*) для построения основ оценки (подтверждения или опровержения). Однако Мах не привел убедительных доводов в пользу тезиса, что *очевидность* того, что нам известно, всегда тождественна со *значением* того, что мы знаем. «Восприимчивость действительно является *критерием* опыта, но не его *определением*», — писал через несколько лет один из критиков Маха¹.

Поскольку же Мах, с другой стороны, не признавал убедительности аргументов в пользу такого различия, диспут так и не был разрешен. Но самозащита Маха выходила за пределы тезиса голого утилитаризма. Он поддерживал свою точку зрения *теорией* полезности; и следует признать, что эта теория более утончена и даже более реалистична, чем ее представляют большинство критиков-реалистов. Мах мог быть реалистичным *в силу* его инструменталистского подхода, а не независимо от него. Ни значение, ни очевидность не имеют прямого отношения к инструментализму. Следовательно, рассматривая в качестве примера инструменталистскую точку зрения Маха на теорию, мы должны допустить, что наша предшествующая оценка его взглядов была в чем-то ошибочной. Если на махистский манер теории считаются инструментальными,

¹ Этим критиком был Г. Рейхенбах. См.: H. Reichenbach. Ziele und Wege der physikalischen Erkenntnis. — In: «Handbuch der Physik», Springer, Berlin, 1929, vol. IV, p. 16—24.

то их уже *нельзя* представлять как устройства, главная задача которых состоит в разъяснении, группировке, коррелировании, перегруппировке или еще в каких-либо иных способах *манипуляции* явлениями; не должны они рассматриваться и как логические машины, преобразующие наблюдаемые на входе и результаты измерений на выходе. Теории как инструменты не являются осмысленными; они не являются абстракциями осмысленных базисных (элементарных) утверждений — они суть четкие правила. Отсюда следует, что теории нельзя опровергнуть¹.

С этой точки зрения эпистемология Маха, по-видимому, терпит полный крах: его теория науки не является, как это было задумано, теорией познания, но практической социальной психологией поведения ученых в их *собственном качестве*. И, как таковая, теория Маха отправляется совсем по другому маршруту, по-видимому куда-то назад, что, по-моему, представляет значительный философский интерес. Отчасти это произошло случайно и под влиянием его друга, компетентного специалиста в области политической экономии с математическим образованием Э. Германа. Мах рано оказался под впечатлением успехов развития науки². По Маху, как мы видели, наука экономит мышление. Герман обращает его внимание на то, что проблема понимания науки во многом сходна с проблемой понимания развития и использования финансового капитала. И Мах высоко оценивает формулировку Германа: «Задача науки экономическая или хозяйственная»³. Но как оперировать с экономией? Как ее измерять, будь она рыночной или лабораторной? Мера, которая кажется правдоподобной, — это эффективность вложений, будь то расходы денег или расходы энер-

¹ См.: K. R. Popper. *Conjectures and refutations*. Routledge and Kegan Paul, L., 1963, p. 97—119. Дюлем развил инструментализм частичного значения или, как мы теперь говорим, инструментализм открытых структур; последователями Маха были Мориц Шлик и Стефан Тулмин.

² Обстоятельное обсуждение см. в: K. D. Heller. *Ernst Mach: Wegbereiter der modernen Physik*. Springer, Vienna and N. Y., 1964, p. 133—134.

³ Э. Мах. Принцип сохранения работы, стр. 65. Ср.: J. Agassi. *The confusion between science and technology in the standart philosophies of science*. — «Technology and culture», 1966, № 7, p. 348—366.

гии и мысли. Как велика прибыль на единицу вложений? С исторической точки зрения Маха, научное мышление эффективно потому, что оно помогает человеку гораздо успешнее приспособляться к окружающей среде, чем это могут сделать любые другие живые существа. Впрочем, нужды в сравнительных оценках нет.

Мысли могут или не могут приспособляться к фактам — в этом заключается для Маха научное содержание, «фактуальное ядро» традиционных философских дискуссий об истине как соответствии. Мысли могут или не могут приспособляться к другим мыслям — в этом заключается ядро традиционной точки зрения на истину как на согласованность мыслей между собой. Наблюдение есть мысль, приспособившаяся к факту; теория есть мысль, приспособившаяся к другим мыслям. Любое приспособление эффективно биологически. И здесь Мах обращается к биологической теории науки. Он рассматривает мышление как специфическую биологическую реакцию на иные биологические процессы, а именно как реакцию на ощущение. Принимая классическую биологическую модель XIX века, Мах верит, что ощущения человека освобождают реакцию, сопровождающуюся приспособлением идей к фактам. Будучи плодотворной, такая «жизнь мысли» оказывается инструментом биологического выживания.

Заметим, насколько изумительно выглядит это превращение эпистемологии в биологию именно в тот момент, когда мы уже привыкли к метаморфозам науки. Можно видеть, что Мах трансформирует физику в психологию ощущений, а последнюю в биологическую адаптацию: от физики через психологию к биологии. Но эти трансформации редукционистские, они не столько философские, сколько научные. И если окончательной теорией Маха является биологический монизм, то мы должны следующим образом переформулировать наши вопросы: помогают ли предсказания выживать? Помогают ли гипотезы предсказывать? Способна ли на это метафизика?

На эти вопросы ответить легко. Даже метафизика может оказаться полезной, если она эвристична (но только в этом случае)¹. Однако простота ответа в контексте

¹ Ср.: M. W a r t o f s k y. *Metaphysics as heuristic for science*. — In: «Boston studies in the philosophy of science», vol. 3. Ed. by R. S. Cohen, M. Wartofsky. D. Reidel, Dordrecht, Holland, and Humanities press, N. Y., 1967.

биологизма Маха вновь вызывает подозрение: не противоречит ли биологизм его теории элементов, его сенсуализму? Остановимся на этом вопросе подробнее.

Чтобы ответить на поставленный вопрос, мы попытаемся перевести сенсуализм Маха в его биологизм, и *наоборот*. Успешное приспособление к фактам понимается на практике как предвосхищение и предсказание фактов, то есть того, что должно происходить на опыте. Более того, плодотворное расширение фактуального окружения в ходе истории подразумевает добавочное требование, накладываемое на идеи: они должны преобразовываться в целях дальнейшего приспособления. Мах замечает: «...как важна способность приспособлять существующие идеи к новым наблюдениям»¹. Из понимания науки Махом вытекает диалектика старого и нового. Как мы помним, достоверность он приписывает не результатам научных исследований, а их (диалектическому) методу. В диалектике познание играет обе роли. Познание коррелированных явлений характерным образом ведет к ожиданиям, привычкам и предсказаниям как в повседневной жизни, так и в науке. И оно ведет также к предварительным мнениям (или мнениям, которые мы высказываем перед последующими проверками), а также к предубеждениям. Что должны мы делать со знанием как предубеждением? Точка зрения Маха — это интуитивная игра словами. Он подчеркивает, что как индивид, так и общество в целом не могут жить постоянными проверками: буквально практика предубеждений — это неотъемлемая часть жизни. Отсюда следует, что предубеждение в мышлении есть то же, что инстинкт в психологии. И Мах говорит: «Предубеждение играет в области интеллекта роль рефлекторного движения»². Далее — и здесь Мах предвосхищает скептицизм Сантаяны — сила предубеждений и иллюзии, связанное с ними, уязвимо со стороны дальнейшего критического приспособления мышления к новым фактам, а не со стороны простого их отвержения³. Не наука, а прак-

¹ Э. Мах. Популярно-научные очерки. СПб, 1909, стр. 182.

² Там же, стр. 183. См.: Le Darwinisme et l'idée d'adaptation. — В: R. Bouvier. La pensée d'Ernst Mach. Librairie au Velin D'Or. Paris, 1923, p. 94—106.

³ G. Santayana. Scepticism and animal faith. Scribner, N. Y., 1923.

тика, разрушающая омертвленные идеи, может преодолеть предубеждения.

Борьба идей за приспособление и выживание в истории была столь же суровой, как и борьба за выживание биологических видов. Идеи соперничают, некоторые из них оказываются гибкими, другие — окостеневшими. Лошадь (и здравый смысл — второе значение английского слова horse. — *Прим. перев.*) изменилась и выжила, динозавры же оказались не приспособленными к новым условиям и вымерли¹. Более того, борьба за выживание требует не только приспособления, но приспособления более эффективного, чем у соперников. Несомненно, Мах понимал, что наука — это весьма обдуманый и целенаправленный метод выбора путей приспособления к окружающим условиям, и в особенности приспособления нашего основного органа адаптации — мышления — к дальнейшим изменениям и новым опытам. Следовательно, наука не только разрушитель привычек и предубеждений, но также и их жертва. Она враждебна к любой вере в призраки. Наука развенчивает иллюзии и сеет разочарования, ибо в суждении Маха всяческие иллюзии являются чем-то фундаментально противоположным приспособлению. И вместе с тем даже в их ниспровержении Мах видит положительную роль иллюзий и предубеждений: «В борьбе... убеждения с предубеждением... растет наше познание»².

Такова наука с биологической точки зрения. Но что такое биология с точки зрения сенсуализма Маха? Эволюционизм — это целая теория; приспособление ради выживания — часть этой теории. Теория есть сжатое описание опыта. Опыт благодаря этому анализу преобразуется из эгоцентрического в безличный. Он не является с необходимостью *прошлым* опытом. Но как он может охватить все очевидно псевдоопытное? Как охватывается будущий опыт? Могут ли теории создаваться на основе гипотез, выдвигаемых методом проб и ошибок. Идеи, конечно, могут быть ложными, но как обстоит дело со сжатым описанием опыта? И вообще, можем ли мы объяснить

¹ Мах обсуждает эволюционное соперничество теорий и видов в главе «Скорость света» «Популярно-научных очерков». СПб., 1909, стр. 43—56.

² Э. Мах. Популярно-научные очерки. СПб., 1909, стр. 182.

приспособление идей? Признание соперничества идей свидетельствуют о широте подхода Маха, но в то же время его первоначальная программа теории науки довольно аскетична. Мах это сознает: «...«законы природы» суть ограничения, которые мы предписываем нашим ожиданиям по указаниям опыта... Вместо выражения «описание» я мог бы употребить здесь выражение «ограничение ожидания» для указания на биологическое значение законов природы»¹.

Таким образом, существуют два Маха. Первый видит важную роль гипотез — даже если они суть предубеждения. Второй предлагает элиминировать из науки все иллюзии и ложные претензии, быть начеку по отношению к метафизике. Причина, по которой Мах как антиметафизик не смущается тем, что наука вся буквально пропитана гипотезами, заключается в том, что по отношению к этой стороне науки Мах выступает в качестве эволюциониста.

IV. Единство наук

Итак, мы пришли к полному крушению: сенсуализм Маха узок, а его эволюционизм широк. Даже если бы это было его последним словом, то он уже стал бы интригующей личностью в науке и философии. Однако Мах не останавливается на этом. Может показаться странным, но я считаю, что Мах определенно должен был признавать экономическую роль тезиса единства науки. Объединить двух Махов — значит объединить две дисциплины. Это не будет примирением двух философий. Поэтому расхождение двух теорий науки у Маха таит угрозу для одного из наиболее излюбленных тезисов позитивистов как в коптовской, так и в махистской версиях единства науки. Если мы сможем отстоять концепцию и программу этого единства, то мы будем способны также защитить и точку зрения Маха. Но здесь мы обнаруживаем, что у Маха понятие «единство науки» не однозначно по своему значению и что — а это уже не так странно — такая двусмысленность, с одной стороны, ведет к известным натяжкам в маховском анализе, а с другой — к приятию реша-

¹ Э. Мах. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. М., 1909, стр. 447—448.

ющего и трансцендентного лекарства против этих натяжек, а именно ранней позитивистской метафизики.

Объединение различных отраслей знания — это не новая цель. Мыслители разных времен пытались рассматривать мир как целое, пытались устранить наблюдаемое сосуществование несводимых реальностей, которые ведь как-то совмещались с одним и тем же пространством, или временем, или телом, или разумом. Такие мыслители считали расхождение эпистемологически случайным, они не могли допустить, что оно носит онтологический характер, и это раздражающее раздвоение знания и веры вело к программе объединения наук. Вера откровенно спекулятивна¹, и все же она имеет для науки программное значение; будучи часто метафизической, она не является таковой с необходимостью. Действительно, поскольку главными мотивами научных исследований — независимо от того, являются эти мотивы инструменталистскими или когнитивными — оказываются поиски связей и регулярностей там, где, казалось бы, господствует хаос, то единство науки может формулироваться как научная гипотеза², и эта гипотеза может решающим образом обусловить тактику и стратегию различных дисциплин. Были предложены разные теории единства наук, и каждая из них совместима с философией Маха. Во-первых, можно предположить существование одной основной науки, к которой со временем будут сведены все другие и которая, по крайней мере в принципе, может описать (или объяснить) все явления. Это редукционизм, которому, к примеру, соответствует теория элементов Маха. Во-вторых, среди всех наук можно предположить фундаментальное единство методологии, совместимое с расхождениями в предмете исследования: в частности, могут быть идентичными процедуры обнаружения, коммуникации, подтверждения и измерения, хотя концептуальное сведение при этом невозможно. Это единство метода соответствует сенсуализму Маха. Наконец, может существовать общая значимая

¹ J. Agassi. Unity and diversity in science. — In: «Boston studies in the philosophy of science», vol. 4. Dordrecht — New York, 1969, p. 463.

² См. дискуссию между Паулем Оппенгеймом и Хилари Патнемом: Unity of science as a working hypothesis — In: «Minnesota studies in the philosophy of science», vol. 2. Ed. by H. Feigl et al. Univ. of Minnesota press, Minneapolis, 1958, p. 3—36.

теория различных наук, в рамках которой различие между ними выглядит вполне правдоподобным, и эта теория — как и само научное описание — объединяет в том смысле, в котором, например, эволюционизм Маха рассматривает различные дисциплины как различные способы приспособления к различным факторам окружающей среды. Эта теория — наука науки — имеет, естественно, свой собственный статус, как история, психология или логика, и она может порождать свои собственные проблемы.

Как участвует Мах во всех этих теориях? Мой ответ основывается на его высокой оценке нескольких наук, каждая из которых по-своему подходит к проблеме единства. Для Маха, как и для многих других ученых, было очевидно, что могут существовать альтернативные направления исследования одного и того же предмета. Это разумно и даже привычно: существует физика падающих тел, и она применима также к падающим организмам, но, кроме того, существуют химия и биология этих организмов, а возможны еще психология и социология и другие дисциплины. Если оказывается, что падающее тело не подчиняется закону свободного падения Галилея, тогда, возможно, правильное описание можно получить путем модификации понятия «свободный» на основе условий, изучаемых другими науками. Это не означает, скажем, что существа, обладающие психикой, могут нарушать физические законы, но они могут использовать эти законы в своих целях, например чтобы научиться летать.

Здесь теория Маха об отсутствии различий между эгоцентрическими и физическими явлениями внешне выглядит привлекательной. Мы можем переформулировать ее и сказать, что нет различий между психологической и физиологической точками зрения, причем старая точка зрения покрывает новую: явления как «ощущаемые» — а этот термин может применяться как в психологическом, так и физиологическом языке — группируются в целях удобства, поскольку нет методологического критерия, прямо указывающего на возможность несовпадения традиционных эгоцентрических и традиционных физических (субъективных и объективных) явлений. Но вместо того чтобы исследовать эту возможность, Мах разрабатывает нейтральную интерпретирующую картину, называя эти опытные явления «нейтральными элементами». Экспли-

дитное единство всех типов явлений он получает как следствие фундаментальной доктрины опыта. Однако он не претендует на какую-либо решающую победу в философии. Можно ведь сказать, что достигнутое единство столь незначительно, столь минимально, что фундаментальные вопросы научного и философского понимания так и остались без ответа. Я имею в виду, в частности, вопрос о том, так ли устроен мир, что редукционизм — любой редукционизм — истинен. Однако достижение Маха немного более существенно. Общепринятый опытный базис, интерпретированный, возможно, редукционистски, как состоящий из элементов, — это нечто большее, чем просто примитивная исходная точка теории научного познания; это также — напомним об эволюционизме Маха — основание для эмпирических доктрин подтверждения или опровержения всех познавательных утверждений и отвержения непознавательных утверждений. Следовательно, программа Маха по очищению науки не есть, как многие считают, священная и сама себя оправдывающая задача борьбы против проникновения в науку ереси; она не есть сциентизм. Скорее, это программа, имманентная научному развитию, как таковому. Мах не пуждается и не настаивает на редукции различных научных дисциплин к простому и общепринятому содержанию однородных ощущений, но он настаивает на существовании общепринятых критериев опыта. Принимая тезис о всеобщности человеческого опыта, он выдвигает поразительную гипотезу, что любой опыт может быть в принципе понят как состоящий из элементарных простых единиц. Если эта гипотеза принята, то есть принято, что существует описание, которое очевидно в различных случаях исследования опыта, то можно обратиться к решению извечной и более сложной задачи, а именно объяснению того, как знание действительно сложных существей и процессов может быть переведено в знание элементарных опытных данных.

Исходя из своей гипотезы, Мах предложил язык, пригодный для всех наук. Этот язык должен осуществить программу сведения к элементарным опытным данным в той мере, в которой это возможно. Эта программа заключается в формализации синтаксических процедур, причем (денотативные или теоретические) предложения о сущностях и процессах могут заменяться предложениями

об элементах¹. Главное здесь то, что элементы задаются или воспринимаются условно. Они воспринимаются как опыт, они его создают. Их появление нельзя объяснить как необходимое или, более общо, как рациональное. Ссылаться на элементы как на «ощущения» рискованно. Почему? В силу субъективистских, личностных и, очевидно, частных ассоциаций, порождаемых этим термином, а также в силу того, что программа Маха ведет его от элементов реальности и знания к общественной (public), безличной концепции мира. Концепция элементов у Маха вызывает провокационный вопрос: эквивалентна ли эта концепция какой-либо доктрине атомистического опыта, атомистических ощущений, атомистических сущностей, атомистических фактов или атомистических предложений, а именно миру логического атомизма? Не является ли Мах махистом, скажем, в смысле расселовской работы «Наше познание внешнего мира»?² Если это так, то не попадает ли Мах, как противник химического атомизма, в смешное положение? В действительности, однако, Мах не предлагает ничего большего, кроме как некую пробную теорию природы элементов независимо от подходов Юма или Рассела, признававших окончательный атомистический и несводимый статус элементов. Он не утверждает, что опыт непременно должен быть атомистическим, или непрерывным, или диалектически изменяющимся. Он не устанавливает основ знания любой его разновидности. Положение об окончательном характере чувственных данных он рассматривает как нуждающееся в дальнейших эмпирических исследованиях. Но в то время как это положение еще под вопросом, эмпирическое единство наук уже установлено.

Моя интерпретация Маха, безусловно, отличается от расселовской. Какая из них правильная? Может что-нибудь характерное в концепции элементов Маха послужить арбитром для выбора интерпретации? Независимо от того, что в обычном языке элементы не являются ни идеальными, ни физическими, они могут быть предметом логического и математического анализа, который, однако,

¹ R. von Mises. *Positivism: a study in human understanding*. Harvard univ. press, Cambridge, Mass., 1951, ch. 7—8.

² B. Russell. *Our knowledge of the external world*, N. Y., 1960.

также не отвечает на вопрос об их природе. Какой бы научный и философский статус логики и математики мы ни имели в виду, элементы в рамках концепции Маха, во всяком случае, не более произвольны и не менее реальны, чем законы и сущности физики и биологии или а fortiori психологии. Следовательно, позитивизм Маха столь же мало (или столь же много) противоречит логическому реализму, как и натурализму¹. А если это так, то ясно, что логический реализм Маха расходится с эпистемологическим и редукционистским сенсуализмом Рассела.

Итак, мы сталкиваемся с феноменологией незавершенного типа, с феноменологией, открытой для различных интерпретаций различных ее аспектов. Мах предлагает нам сводку предписаний для научного изучения элементов, которые он выводит из своих исторических и эмпирических исследований как обобщение, так сказать, того, что делают ученые. К правилу экономии мышления он добавляет свою наиболее важную концепцию научного исследования: «Итак, мы можем выставить руководящей основой принцип для исследования ощущений, который мы назовем *принципом полного параллелизма психического и физического*. Согласно основному нашему воззрению, отрицающему существование пропасти между обеими областями (психическим и физическим), этот принцип почти сам собою разумеется, но он может быть установлен и без помощи этого основного воззрения как принцип эвристический...»² Это не означает простого однозначного соответствия между каждой физической и каждой психической сущностью, добавляет Мах, указывая, что в существовании такого взаимного соответствия обычно верят; не означает это также и двойственную теорию, типа теорий Юма, Спинозы или даже Фехнера. Более того, элементы не являются ни психическими, ни физическими; это только по привычке мы группируем их таким образом. Тем не менее, исходя из наиболее интересных и наиболее подробно рассмотренных Махом примеров, мы можем заключить, что он причинно соотносит психологические ощущения с сопровождающими их

¹ R. B. Perry. Present philosophical tendencies, N. Y., 1912. p. 78—79.

² Э. Мах. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. М., 1908, стр. 68.

физиологическими (то есть физическими) условиями и процессами и даже, более того, как настоящий редукционист или даже как материалист, он высоко ставит «чисто физиологическую психологию как идеал»¹. Но в то же время он замечает: «...мне все же казалось бы несправедливым совершенно пренебрегать так называемой «интроспективной» психологией, так как для вывода заключения об основных фактах самонаблюдение является не только самым важным, но во многих случаях и единственным средством»². Мах намекает на то, что является предметом его предпочтения: физическое описание более точно, более детерминировано, тогда как психологическое описание смутно, более фрагментарно. Фактически психический опыт для Маха детерминируется психологическими обстоятельствами, которые — по крайней мере с точки зрения современного научного знания — слишком сложны для понимания и никак не зависят от того, достигли ли мы идеала совершенной описательной науки. «...В наших представлениях оживает всегда лишь очень незначительная часть следов, оставленных физическими процессами»³, — пишет Мах. В этих «представлениях» мы вместе с Махом переживаем опыт; но как ученые мы можем производить на основании неопытной фундаментальной роли представлений физический и физиологический факт «из изолированного своего состояния»⁴. Физическое и физиологическое мы вводим в нашу психическую жизнь как решающий элемент опытной реальности, а в рамках науки воспринимаем его как действительно физический и физиологический, то есть как научно и описательно коррелированный с потоком опытных данных. Корреляция эта двойная: систематическая связь с другими физическими и физиологическими фактами (элементами) и все более возрастающая по степени ясности корреляция с психологическими, или идеальными, событиями. Чтобы понять это, проведем аналогию: детерминизм, характерный для попытки Фрейда объяснить осознанный опыт с помощью бессознательного, очень напоминает детерми-

¹ Э. Мах. Анализ ощущений и отношений физического к психическому. М., 1908, стр. 277 (примечание).

² Там же, стр. 277.

³ Там же.

⁴ Там же, стр. 278.

низм, присущий физическому и физиологическому у Маха¹. Аналогия, между прочим, неслучайна: Фрейд тщательно изучал Маха. «Психология есть вспомогательная наука физики. Обе эти области знания взаимно поддерживают друг друга и только в связи друг с другом образуют полную, совершенную науку», — пишет Мах². И Фрейд, конечно, согласен с ним.

Перспективы такого единства изменяются со временем. Единство науки не было реализовано во времена Маха, не достигнуто оно и сегодня. Благожелательное отношение Маха к теории единства науки объясняется его оптимизмом. Напомним, что для Маха теория не является наглядной. Она не нуждается в аналогиях с макроскопическими наблюдениями. Мах-феноменолог противоречиво, но тщательно вынашивает правильную теорию. Он не устанавливает каких-либо ограничений на возможные схемы концептуализации и не удваивает эмпирическую область и духе Декарта³. Однако движению за единство науки не удалось обогатить науку в той мере, в какой на это надеялся Мах, хотя его наследники действовали во многом по его предписаниям, исследуя общепринятые методы проверки, общие цели, общие прагматические возможности, социальную функцию разрушения иллюзий, принципы взаимной поддержки и энциклопедической интеграции. Помимо этого, большие надежды возлагались на собственно маховское единство описания. Но и эти надежды не оправдали себя. Мах часто подчеркивал, что мышление ученого не находится где-то вне природы. Ученый вместе с его идеями — это часть природы. Естественный мир не расколот, но един. А это гораздо больше, чем простой физикализм.

Остается ответить на еще один — онтологический — вопрос: как Мах представлял себе интеграцию мыслей и вещей?

¹ S. Freud to W. Fliess, June 12, 1900. — In: «The origins of psychoanalysis: letters to Wilhelm Fliess, drafts and notes: 1887—1902», Ed. by M. Bonaparte et al. N. Y., Basic Books, 1954, p. 322. Ср.: T. Szasz. Mach and psychoanalysis. — «J. nervous and mental disease», 1960, vol. 130, p. 6—15.

² Э. Мах. Анализ ощущений, стр. 278.

³ См. работы О. Нейрата, способствовавшие развитию движения за единство науки, в журналах: «Erkenntnis», «Revue de synthese», «Philosophy of science» и др.

V. Человеческий дух

Мах писал: «Высшая философия естествознания именно в том и заключается, чтобы *вынести* незавершенное мировоззрение и предпочесть его мировоззрению, с виду завершенному, по недостаточному»¹. Мах был позитивистом и историком. И в этих качествах он внес свой вклад в описание мотивов и динамики науки. Позитивизм и история увязываются у него с помощью инструментализма. Однако инструментализм Маха не завершен (или не завершена его формулировка) в двух отношениях.

Во-первых, инструментализм, и особенно инструментализм Маха, критиковал уже в 1900 г. Гуссерль за иррациональность². Гуссерль спросил, можно ли дескриптивный принцип экономии мышления рассматривать в качестве рационального основания структуры научного познания. Этот принцип не в состоянии дать базис для рационального объяснения, которое Гуссерль и другие связывали с законами математики и аксиоматизированной физики. Как произвольное телеологическое утверждение, данный принцип не является ни необходимым, ни объясняющим, ни рациональным. Мах ответил с обезоруживающей, но и настораживающей скромностью: «...создание общих теорий для меня задача *трудная*...»³. Он сказал, что его цель — только обратить внимание на несколько отдельных явлений в процедуре научного исследования: приспособление идей друг к другу, мысленные эксперименты, непрерывность мышления и т. п. И он добавил, что было бы весьма полезно построить науку как эволюционное явление в контексте биологической природы, в котором «*логическое мышление предстает как идеальный предельный случай*»⁴. Несомненно, он допускал и хотел, чтобы существовала возможность чисто логического анализа науки. Однако: «Если бы даже логический анализ всех наук был уже делом завершенным, биологически-психологическое исследование их развития все еще оставалось бы для меня потребностью...»⁵. И здесь он с юмором добавил, что ничто «не исключало бы того, чтобы это послед-

¹ Э. Мах. Механика. СПб, 1909, стр. 390.

² E. Husserl. Logische Untersuchungen, 1900.

³ Э. Мах. Механика, стр. 414.

⁴ Там же, стр. 415.

⁵ Там же.

нее исследование было подвержено опять-таки логическому анализу»¹, коварно имея в виду, что здесь опять возникнет необходимость в историко-психологических исследованиях самого логического анализа. Тем не менее возражение было выдвинуто: простота и экономия мышления суть телеологические или регулятивные принципы, не «оправдываемые» разумом, подразумеваемые опытом только в рамках практических исследований. И здесь Мах мог только согласиться. Он мог настаивать лишь на том, что каждый беспристрастный наблюдатель должен сознавать, что его подход описывает науку в действии.

Но в чем это действие заключается? В том, чтобы исследовать факты, элементы и тем самым помогать людям выживать? Или, если позволит честолюбие, в том, чтобы изменять, модифицировать, перестраивать и даже вновь создавать окружающий мир. Много позднее Гуссерль² наряду с другими исследователями смотрел на науку пессимистически как на сверхинструмент, построенный для реализации обширного проекта преобразования нашего мира с помощью механизмов и в механизм. Мах не мог возразить; в социологии он был оптимистом, совершенно не подготовленным к варварству XX столетия. Мах считал науку частью программы просвещения и улучшения жизни в рамках мира данного опыта. Если наука выходит за рамки приспособления и конструирует новое окружение, создает мир нового опыта, то инструментализм должен быть подчинен более глубокой, более общей теории. Здесь Мах безмолвствует.

Инструментализм основывается на догматической теории полезного выбора. Эта теория догматична по той причине, что, для того чтобы ей быть недогматичной, предписания — или рекомендации, или описания принятых рекомендаций — сами по себе должны быть помещены в контекст обсуждения их альтернатив. Мах не обсуждал такой контекст, но ввиду действительной произвольности инструменталистской теории он был вынужден расширить, а в конце концов и изменить свою теорию науки. Наука расширяет область разработок любого

¹ Э. Мах. Механика, стр. 415.

² Ср.: Н. Marcuse. On science and phenomenology; A. Gurwitsch. Comment on the paper by Н. Marcuse. — In: «Boston studies in the philosophy of science», vol. 2. N. Y., Humanities press, 1965, p. 279—290 and 291—306.

исследователя далеко за границы его личных ощущений и мыслей; она расширяет возможности человеческого духа, развивая *обладание* пониманием. Научное мышление «создает себе собственные свои цели, стремится удовлетворить самого себя, устранить *умственное стеснение*»¹. Рожденная в силу необходимости доисторической практикой, которую, как мы знаем, Мах тщательно исследовал, наука развивается и становится фактором истории; она освобождает нас и защищает нас. Эти освобождение и защита обеспечиваются особой, созидающей функцией мышления. В мир разобщенных элементов — или это просто так кажется наивному позитивизму — мы привносим определенное произвольное единство. И все же, считает Мах, элементы не являются взаимно несовместимыми, формирующимися хаотически, независимыми. Не ссылаясь на какую-либо теорию разума, мы тем не менее должны согласиться с афоризмом психоаналитика Ференци: «Органы чувств разделяют мир на элементы, разум восстанавливает его»².

Можем ли мы рассматривать рост науки биологически, как развитие нового органа, разума, и в то же время психологически понять функционирование развитого разума через его происхождение? Прежде всего здесь мы, конечно, должны спросить: какое происхождение имеется в виду? Родовое или индивидуальное? Мах ответит, что это не имеет значения, ибо их развитие одинаково. Он считает, что ранняя история науки соответствовала спонтанной механической реакции младенца на окружение. Мах даже использовал своего сына Людвига для проверки этого предположения. Техника исследования Маха не сводилась к непосредственному наблюдению. Она представляла собой попытку восстановить воспоминания детства, которые обнаруживают, как писал Мах в своей последней работе, «мощные, неугасимые динамические чувственные данные, внезапно приближающие нас к инстинктивным началам всех таких изобретений, какими являются инструменты, оружие и машины»³. И позднее, касаясь до-

¹ Э. Мах. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. М., 1909, стр. 10. См. также: E. M e y e r s o n. Identity and reality, N. Y., — L., 1930, p. 42.

² S. F e r e n c z i. Final contributions to the problems and methods of psychoanalysis. L., 1955, p. 192.

³ E. M a c h. Kultur und Mechanik. Stuttgart, 1915.

исторической технологии, он отмечал: «Если мы, однако, *задумываемся или мечтаем* об этих предметах давно миновавших времен, то, подобно иллюзии, в нас просыпаются воспоминания о древнем опыте и старых ощущениях, и, погружаясь в наш детский мир ощущений, мы легко предчувствуем и ожидаем многообразия путей развития и средств открытия тех изобретений»¹. Такое высказывание могло бы принадлежать и Фрейд: ведь здесь речь идет и о дрящейся реальности и об эффективности ощущений, которые уже не ощущаются ни непосредственно, ни в памяти, но подавляются²; здесь подразумевается, что роль сновидений и фантазии заключается в том, чтобы вести нас в ту область мира опыта, которая недоступна публичному наблюдению и непосредственному самоанализу; здесь, наконец, имеется в виду исследование культуры истории через психологию личности. Приведем в этой связи еще одно замечание Маха: «Вполне возможно, что неосознанные ощущения и понимание коренятся в пашей памяти или в памяти наших предков»³.

Ференши, пожалуй самый крупный философ из всех терапевтов-психоаналитиков, приветствовал эти рассуждения Маха, выдвинув идею комплексного исследования генезиса научной деятельности психологами, физиками и другими специалистами⁴. Он, хотя и вежливо, критиковал

¹ E. M a c h. Kultur und Mechanik. Stuttgart, 1915.

² Мах писал: «...замечательный факт, что идея, так сказать, *продолжает жить и действовать вне сознания*. Для объяснения этого явления можно было бы использовать отличные эксперименты со спящими В. Роберта (W. R o b e r t. Hamburg, Seipell, 1886). Роберт наблюдал, что ночью восстанавливаются в виде сновидений ряды ассоциаций, парушенные днем».

«Представляется также вполне вероятным, что *однажды созданные идеи продолжают свою жизнь, даже если они и не присутствуют больше в сознании*. Это особенно касается случая, когда идеи, появившись в сознании, препятствуют освобождению ассоциированных с ними идей, представлений, движений и т. п. При этом они функционируют, по всей видимости, как некоторый вид зрада... В определенных отношениях сходные явления описываются врачами Брейером и Фрейдом в их книге об истерии». (E. M a c h. Die Principien der Wärmlehre. Leipzig, Verlag von J. A. Barth, 1900, S. 443—444).

³ E. M a c h Kultur und Mechanik. Stuttgart, 1915.

⁴ S. F e r e n c z i. Concerning the psychogenesis of mechanism. — «Imago», 1919, vol. 5, p. 394; The psychogenesis of mechanism. — «Imago», 1920, vol. 6, p. 384. См. также перевод этих работ Яном Сатти: J. S u t t i e. Further contributions to the theory and technique of psychoanalysis L., 1926, p. 383—396.

Маха за недостаточное понимание роли либидо в научных и технических открытиях, но соглашался с ним в вопросах приспособления к реальности, которое является другим (помимо либидо) мотивом научных и технических открытий. Другими словами, согласно Ференши, есть два источника развития (включая и развитие науки): приспособление и либидо, реальность и удовольствие. Мах же признавал только приспособление, считая либидо его инструментом. Кто из них прав — это эмпирический вопрос. Приспособление к реальности, согласно психоаналитикам, «эгоистично» и должно быть связано с рациональностью и интеллектом¹. Для Маха же, напротив, приспособление к реальности не эгоистично, оно вовсе не ведет к какому-либо «эго», несмотря на всю свою рациональность. Ференши не заметил, насколько существенна психоаналитическая гипотеза в понимании Маха для его логики науки. Здесь в иной форме биологизма (которая столь же эволюционна) Мах, видимо, обнаружил причину возникновения объективного «эго», характерный опыт которого является связанным целым и обладает детерминистической структурой — структурой механизма. Если теория нейтральных элементов когда-либо и освободится от эгоцентрических наслоений сепсуализма и от метафизики материальных и независимых вещей в себе, то она сможет это сделать только благодаря анализу человеческого духа как определенно эгоистичного и объективно независимого. Обилие вопросов, которые здесь возникают, могли внушить опасение Маху, — ведь жизнь его подходила к концу, но не только поэтому, а главным образом потому, что он продвинул дескриптивно-инструменталистскую точку зрения на науку настолько далеко, насколько это вообще возможно сделать.

Но Мах имел запасной выход в лице классического позитивизма, психоанализа, мистицизма. Вот отрывки из его вступительной речи 1883 г. в качестве ректора Пражского университета. Они разъясняют точку зрения Маха:

«Наши мысли не составляют всей жизни. Они только кратковременный свет, освещающий пути воли»².

¹ S. Freud. *Collected papers*, vol. 2, L., 1950, p. 45—50.

² Э. Мах. Популярно-научные очерки. СПб, 1909, стр. 183.

«Итак, превращение мыслей, составляющее предмет нашей темы, есть часть общего развития жизни, приспособление к более широкому кругу действия»¹.

«Действие нашей руки достигает гораздо дальше (непосредственного), не проходит для нас бесследно ничего важного... Стоит нам только оглянуться вокруг нас, стоит обратить внимание только на то, что читает современный человек, чтобы убедиться, в какой мере влияет на нас жизнь других людей, их радости и горе, их счастье и несчастье»².

«Здесь оказываются несостоятельными с их мелким масштабом, основанным на настроении, обе эгоистические системы, как оптимизм, так и пессимизм. Мы чувствуем, что в постоянно сменяющемся содержании нашего сознания хранятся истинные жемчужины нашего бытия и что личность есть только как бы безразличная символическая нить, па которую они нанизываются»³.

Напомним, что элементы Маха пейтральны. Одни и те же элементы в одной и той же или в другой формулировке создают и внешний мир, и мир моего «Я». Более того, следует подчеркнуть, что одни и те же элементы создают различные «Я». Для Маха крайне необходимо выйти за рамки идеи фундаментальной частности индивидуального эго: «Насколько мало я считаю красный или зеленый цвет принадлежащим некоторому определенному телу, столь же мало я, стоя на изложенной здесь точке зрения, могу усматривать существенную разницу между моими ощущениями и ощущениями другого»⁴. И тотчас же он добавляет: «Одни и те же элементы находятся в связи между собой во многих пунктах, в нашем Я»⁵. Шредингер писал в том же духе, идя вслед за Махом, «что совместно разделяемые (shared) мысли... в действительности есть общие (in common) мысли»⁶. Шредингер стремился представить личность как являющуюся (или становящуюся?) аспектом большего единства. Благодаря Шопенгау-

¹ Э. Мах. Популярно-научные очерки. СПб, 1909, стр. 183.

² Там же, стр. 183—184.

³ Там же стр. 184.

⁴ Э. Мах. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. М., 1908, стр. 292.

⁵ Там же.

⁶ E. Schrödinger. My view of the world. Cambridge Univ. press, 1964, p. 17.

эру, Упанишадам, буддизму тема такого трансцендентного единства способствовала постепенному исчезновению интеллектуальных и личностных проблем индивидуального сознания. За несколько месяцев до создания волновой механики Шредингер написал два предложения, которые, насколько я знаю, могли бы принадлежать перу Маха: «Внешний мир и сознание суть одно и то же, поскольку оба состоят из тех же самых исходных элементов. Но в таком случае едва ли стоит употреблять разные формы выражения,— говорим ли мы о существенной общности этих элементов для всех индивидов, утверждая, что существует только *один* внешний мир, или предполагаем, что существует только *одно* сознание»¹.

Итак, вместе с этой прозрачной множественностью амбивалентности (есть мы все одно единое или же нет? внутреннее или внешнее?) мы усматриваем решение, на котором настаивал Мах. Его описательная наука науки в конце концов обладает философией. Наука освобождает мир действия; она также спасает личность. Можно ли совместить инструменталистскую теорию освобождения и трансцендентную концепцию спасения? В чем состоит идея спасения для Маха? Можно ли описать это спасение? Можно ли его вообразить? Это спасение обуславливается безличностной природой элементов, которые в конце концов имеют старую метафизическую родословную, так как они не индивидуальны, а есть универсалии в ощущениях. Итак, по Маху, наука привносит в мир единство, отрицая истинное существование индивидов. Мах расширяет опыт человеческого духа, отвергая любую возможность существования духа, кроме символической. Он возвеличивает человека, редукционистски растворяя его в мире, в котором не существует ни возвеличения, ни униженности. Мах настаивает на историческом развитии человека (познания человека, его способностей, практики, удовлетворения желаний), утверждая извечное существование мира, являющегося как бы в неизменном потоке элементов. Если дескриптивная интерпретация Маха корректна, то наука в конечном счете должна отказаться от своих собственных достижений.

¹ E. Schrödinger. My view of the world. Cambridge Univ. press, 1964, p. 37.

Решение проблемы, которое предлагает Мах, нам, однако, не требуется. Впрочем, и ему тоже. Это только точка зрения — и я использую это слово с уничижительным оттенком. И эта точка зрения, увы! — робка, регрессивна и метафизична. Робка она потому, что не может быть совмещенной с возможностью индивидуальной жизни, а именно возникновением и развитием раскрепощенной, подлинно свободной личности. Регрессивна она постольку, поскольку ищет идеальную реальность, обращаясь к истокам психо- и биогенеза и далее к эпохе пробуждения жизни в ложе океана до возникновения индивидуальных организмов. Метафизична она в силу того, что порождает глубокое ощущение безмятежной растворенности в необъятном мире, «океаническое ощущение» мистической религии. Это ощущение возникает независимо от критериев познания или практических проверок, что и характерно для всего мистического¹. Но этого быть не должно. Жизнь индивидуальна, а наука — свойство человеческой жизни. Мах знает такую науку, но его точка зрения на человеческий дух, хотя и не оставляет места для смерти, делает это ценой отрицания самой жизни. Таким образом, Мах возвращает гуманизм к его доисторической стадии, или к стадии безжизненности.

¹ См.: В. Russell. *Mysticism and logic*. L., 1918, p. 1—32.

эру, Упанишадам, буддизму тема такого трансцендентного единства способствовала постепенному исчезновению интеллектуальных и личностных проблем индивидуального сознания. За несколько месяцев до создания волновой механики Шредингер написал два предложения, которые, насколько я знаю, могли бы принадлежать перу Маха: «Внешний мир и сознание суть одно и то же, поскольку оба состоят из тех же самых исходных элементов. Но в таком случае едва ли стоит употреблять разные формы выражения,— говорим ли мы о существенной общности этих элементов для всех индивидов, утверждая, что существует только *один* внешний мир, или предполагаем, что существует только *одно* сознание»¹.

Итак, вместе с этой прозрачной множественностью амбивалентности (есть мы все одно единое или же нет? внутреннее или внешнее?) мы усматриваем решение, на котором настаивал Мах. Его описательная наука науки в конце концов обладает философией. Наука освобождает мир действия; она также спасает личность. Можно ли совместить инструменталистскую теорию освобождения и трансцендентную концепцию спасения? В чем состоит идея спасения для Маха? Можно ли описать это спасение? Можно ли его вообразить? Это спасение обуславливается безличностной природой элементов, которые в конце концов имеют старую метафизическую родословную, так как они не индивидуальны, а есть универсалии в ощущениях. Итак, по Маху, наука привносит в мир единство, отрицая истинное существование индивидов. Мах расширяет опыт человеческого духа, отвергая любую возможность существования духа, кроме символической. Он возвеличивает человека, редуccionистски растворяя его в мире, в котором не существует ни возвеличения, ни униженности. Мах настаивает на историческом развитии чел. века (познания человека, его способностей, практики, удовлетворения желаний), утверждая извечное существование мира, являющегося как бы в неизменном потоке элементов. Если дескриптивная интерпретация Маха корректна, то наука в конечном счете должна отказаться от своих собственных достижений.

¹ E. Schrödinger. My view of the world. Cambridge Univ. press, 1964, p. 37.

Решение проблемы, которое предлагает Мах, нам, однако, не требуется. Впрочем, и ему тоже. Это только точка зрения — и я использую это слово с уничижительным оттенком. И эта точка зрения, увы! — робка, регрессивна и метафизична. Робка она потому, что не может быть совмещенной с возможностью индивидуальной жизни, а именно возникновением и развитием раскрепощенной, подлинно свободной личности. Регрессивна она постольку, поскольку ищет идеальную реальность, обращаясь к истокам психо- и биогенеза и далее к эпохе пробуждения жизни в лоне океана до возникновения индивидуальных организмов. Метафизична она в силу того, что порождает глубокое ощущение безмятежной растворенности в необъятном мире, «океаническое ощущение» мистической религии. Это ощущение возникает независимо от критериев познания или практических проверок, что и характерно для всего мистического¹. Но этого быть не должно. Жизнь индивидуальна, а наука — свойство человеческой жизни. Мах знает такую науку, но его точка зрения на человеческий дух, хотя и не оставляет места для смерти, делает это ценой отрицания самой жизни. Таким образом, Мах возвращает гуманизм к его доисторической стадии, или к стадии безжизненности.

¹ См.: В. Russell. *Mysticism and logic*. L., 1918, p. 1—32.

ЭПИЛОГ К БЕРКЛИ*

Рой Вуд Селларс

В словаре «эпилог» определяется как заключительная часть литературного произведения, и это определение вполне подходит в качестве заголовка нашей статьи. Я намереваюсь в ней дать очень краткий комментарий развития философии после Беркли. Немного остановлюсь я и на философии наших дней. *Становление человеческого познания* на базе восприятия, по моему глубокому убеждению, чрезвычайно важная философская проблема. В первую треть нашего столетия масса энергии была потрачена на ее разработку, однако в своей оценке результатов философы значительно расходятся. Так, Джон Дьюи дает негативную оценку затраченным усилиям. Профессор Г. Шнейдер приводит следующее характерное высказывание Дьюи: «Мы не решили проблемы, мы обошли ее». Но, если память меня не подводит, Дьюи занялся гносеологическими вопросами уже после того, как неореалисты и критические реалисты завершили свою полемку. Он критиковал обе точки зрения, придерживаясь своей логики исследования. В другом месте я доказывал, что и Дьюи и Вудбридж оказались в тупике, пытаюсь решить проблему статуса ощущений, которые, по всей видимости, должны быть локализованы в мозгу. Если ощущения оказываются конечным объектом познания, то возникает вопрос, каким образом получается знание о внешнем мире? Их попытка выбраться из тупика состояла в том,

* Из книги R. W. Sellars. *Lending a Hand to Hylas: A Restructuring of Berkeley's Famous Three Dialogues*, Ann Arbor, Edwards, 1968, p. 92—102. (О философских взглядах Р. В. Селларса см. также А. С. Богомолов. *Буржуазная философия США XX века*. М., 1974, стр. 205—217).

чтобы отбросить эти сущности и сразу начать с внешнего мира.

Мне кажется, этот подход не столько решает вопрос, сколько ставит новый. Что такое сознание? Дьюи никогда не мог четко ответить на этот вопрос. Фактически он придерживался взглядов одной из форм бихевиоризма. Я со своей стороны полагаю, что этот вопрос заслуживает внимания. Причем при его рассмотрении нам необходим новый подход, который бы подчеркивал роль сенсорных факторов в рамках направленного отнесения к объекту (reference). Эти факторы действуют в направленном акте в качестве информативных. Известно, что в жизни животных сенсорные факторы выполняют направляющую и ориентирующую роль. На это обратил внимание еще Беркли. На уровне человека к этому необходимо добавить еще и их использование в качестве источника информации о познаваемом объекте. Отсюда и возникает трактовка эмпирических фактов как относящихся к познаваемому объекту. Основой таких фактов следует считать данные наших органов чувств. А это значит, что ощущения выполняют роль указателей объектов. Они не рассматриваются как конечные сущности, объекты познания, каковыми они были для Беркли и Юма, и функционируют в более широком контексте. На помощь познанию приходят уже язык и понятия.

Мы твердо убеждены, что человеческое познание — громадное достижение человека. Вне сомнения, оно имело весьма скромное начало. По нашему мнению, его развитие шло на основе направленной реакции, что возвращает нас к проблеме жизни животных и к функции органов чувств. Основная системная единица здесь — это сенсорно-моторная реакция. Человек обладает отсроченными реакциями и использует свои ощущения для распознавания и классификации окружающей среды. Ощущения весьма подходили для решения таких задач. Безусловно, здесь играли роль и умственные способности. Так появилось человеческое познание.

Позвольте мне указать на некоторые изменения в характере анализа, вызванные данным подходом. Обычно говорят о *содержании* восприятия как о чем-то противоположном объекту восприятия. Предшествующая точка зрения считала содержанием восприятия только ощущения и образы. Сейчас, как я полагаю, такое понимание

содержания восприятий изменилось и они трактуются как материал, используемый в определенных операциях при восприятии объектов. К этому еще надо добавить развитие концепций о воспринимаемом объекте. Содержание восприятия перестает быть чем-то третьим, находящимся между познающим и объектом познания, оно становится инструментом познания.

Я теперь вернусь назад к Беркли, Юму, Риду, Канту и другим с тем, чтобы показать, почему и как они «опоздали на поезд». При всей выдающейся силе их умов им не удалось полностью (от входа до выхода) понять механизм восприятия.

Во взглядах Беркли отражалось господствующее в то время мнение о материи как инертной, лишенной внутренних движений массе, которая получает движущие импульсы извне, наподобие бильярдного шара. Беркли, кроме этого, придерживался взгляда на ощущения как конечный объект познания. Недавно во время посещения колледжа св. Троицы в Дублине, где находится одна из ранних работ Беркли, я узнал от профессора Фурлонга, что на Беркли оказали большое влияние Мальбранш и Локк. И я думаю, это действительно можно увидеть из его теории появления идей в человеческом разуме.

Результатом взгляда на материю как на нечто полностью инертное явилось отрицание Беркли роли материи в чувственном восприятии. Дух признавался в качестве действующей причины, парадигмой которой служил волевой акт. В нашей теории все наоборот, мы подчеркиваем роль энергии. Слабым местом Локка, которое унаследовал и Беркли, было учение о субстрате как носителе присущих ему качеств. Я думаю, мы идем от фактических данных о предметах к категориальным понятиям о них. Предмет, находящийся в поле зрения, можно познать как красный, круглый и так далее. В этом познании отсутствует окончательность, и оно служит лишь отправной эмпирической точкой. И мы можем заключить, что краснота есть коррелят со светом, отраженным от предмета и попадающим в наши глаза. Правильно интерпретированные различные виды познания не противоречат друг другу.

В наше время благодаря достижениям науки оказалось возможным создать различные датчики для получения информации, которую не могут дать нам органы чувств. Недавние полеты космических аппаратов к Вене-

ре есть свидетельство этому. Датчики — это приборы, собирающие информацию и передающие ее по радио на землю. На земле эти данные расшифровываются. Расшифровка полученных данных помогает нам определить, скажем, температуру на поверхности Венеры. Эволюция развивала наши органы чувств для приспособления к окружению и в конечном итоге для его познания. Одна из задач философии состоит как раз в том, чтобы попытаться это понять, и, я думаю, они заслуживают серьезного к себе отношения. Само собой разумеется, что философия здесь должна быть готова сотрудничать с наукой, сделавшей в последнее время очень многое в области изучения нервных рецепторов. В то же время я думаю, что философия может внести и свой самостоятельный вклад в эту проблему, критикуя некоторые традиционные положения эпистемологии.

Перейдем теперь к Юму. Он, можно сказать, был продолжателем взглядов Беркли и Локка, считая чувственные впечатления и образы чем-то конечным, а не, как я уже отмечал, информативными. Можно сказать, что даже Кант не делает этого перехода. Его вещь-в-себе никак не проявляется в чувственном многообразии. Многие находят у Юма черты агностицизма. Разум и материальный мир могут обладать «окончательными, первичными качествами», однако последние находятся за пределами человеческого познания. Если это так, то мнение Юма схоже с мнением Гассенди, родоначальника современного атомизма. Юм всячески подчеркивал значимость своего сенсуализма. Он жил в период эдинбургского Просвещения, и ему уже не нужно было оттачивать топор религиозной веры. И поэтому, занимаясь исследованием религиозных космических верований, он мог делать это совершенно объективно. Юма больше всего беспокоила проблема чувственной основы «Я» — субъекта познания. Вместе с «Я» у Беркли появляется высшая духовная причина и воление. У Юма причина становится привычным ожиданием.

Критический реалист не может согласиться с подобной редукцией категорий. С его точки зрения, они нуждаются в анализе, однако в своей основе они служат надежным средством познания мира. Подобно времени и пространству, категории нуждаются в усовершенствовании и объяснении.

Проблемой Юма занимался Дж. Э. Мур, но он не смог решить задачу соотнесения чувственных данных и вещей. Это было сделано мною с помощью функционального подхода. Б. Рассел почти не делал попыток разобраться в данной проблеме и переключился на логические построения. Мне приходилось беседовать с ним, и я думаю, что у него главное — это восприятия как элементы, а не процесс восприятия в целом. Мой референциальный подход для него был совершенно чужд. И это привело меня к мысли о сомнительной компетенции логиков в проблемах эпистемологии. Имен я называть не буду.

Обратимся теперь к Томасу Риду. Я симпатизирую его отказу от понимания идей как первичных объектов. Но для меня осталось неясным, исследовал ли он проблему восприятия в моем духе. Он вполне справедливо подчеркивал роль языка и здравого смысла, однако слишком поспешно отступил назад к интуиции. Умственные действия, как он утверждал, включают три фактора: ум, выполняющий действие, объект действия, постигаемый интуитивно без посредства промежуточного «третьего лица», и само действие. В схеме Рида, насколько можно видеть, тоже нет ничего похожего на мой анализ содержания восприятия как сенсорного материала вместе с его познавательным использованием в контексте соотнесения с объектом. Рид апеллировал к языку в духе анализа «обыденного языка», но он не понял сложности природы. Я сам колебался между интроспективной традицией и бихевиоризмом Уотсона. Ни то, ни другое, казалось, не обладало адекватной эпистемологией. Традиция интроспекции делала упор, как Рассел, на восприятия как элементы, а не на восприятие как процесс в целом. Как перейти от интроспекции к связи с внешним миром? Бихевиоризм Уотсона занимался наблюдением над поведением крыс и других млекопитающих, но не касался природы самого наблюдения. Это не столь удивительно. Для чего это нужно? Ведь все другие науки делают то же самое. Как преодолеть барьер между интроспекцией и бихевиоризмом? По моему мнению, здесь может помочь хорошая эпистемологическая теория. Но даже без такой теории я согласен с гештальтпсихологией, что традиционная интроспекция игнорирует организацию ощущений и влияние окружения, а поэтому имеет склонность быть редуktивной.

Как философу мне хотелось бы подчеркнуть роль перцептивного опыта и его категорий, но все это представляет интерес для меня в развитии.

Джон Стюарт Милль выступил с критикой Рида и Гамильтона. Но ему самому, как мне кажется, не удалось дойти до внешнего мира. Материю он свел к возможности ощущений. В философии имеется множество тупиков, и это свидетельствует о наличии больших трудностей. Разработка проблем эпистемологии, возможно, упростит многое; и различные методы анализа удастся согласовать между собой. Последователи Рида долго спорили между собой. Как указывает Джеймс Уорд в своей работе «Натурализм и агностицизм», один из таких споров происходил вокруг тезиса, видим ли мы солнце само по себе или только явление солнца. Моя точка зрения состоит в том, что мы видим в референциальном смысле солнце, используя явление для его познания. Думается, с этого и надо начинать. Я высоко ценю энергию и способности, проявленные логическим позитивизмом, экзистенциализмом и даже прагматизмом. Многие понятия ими правильно, однако на верной ли основе они стоят?

На этом мы расстанемся с Ридом и пойдем дальше. Во Франции Кондильяк отождествлял познание с комплексами ощущений. Этот философ был очень изобретателен в попытках показать, как мы приходим к идеям о внешнем мире. Юм тоже работал над этой проблемой. Мы видим, что и Беркли осознавал ее значение. Как два человека приходят к мнению, что они видят одну и ту же вещь? Исходя из схемы, в которой восприятие ориентировано извне, эта проблема не кажется трудной. Частично она получила свое разрешение в теории бихевиоризма и частично в теории коммуникации. Джемс приводил пример со свечой. Когда она гасится, воспринимаемый нами свет исчезает. Но это гораздо легче объясняется на основе референциальной точки зрения на восприятие. У Беркли все это значительно сложнее, поскольку для него различные виды ощущений выступают как первичные объекты восприятия. Здравый смысл Аристотеля нам здесь не понадобится. Все дело в том, что контекст восприятия референциален и в этом контексте ощущения занимают подчиненное положение. Восприятие сопровождается, естественно, указанием на что-либо. Поскольку

Мур делает чувственные данные конечными объектами познания, то не удивительно, что он столкнулся с большими трудностями в своем доказательстве существования внешнего мира.

Переходя к рассмотрению этой проблемы философами Соединенных Штатов, мы находим там Джона Дьюи, интересного мыслителя, занимающего переходную позицию. Кант и Гегель уже давно были известны, когда на философской арене появился так называемый англо-американский идеализм. Кант живо интересовался наукой своего времени, которая в основном была пьютоновской. Тем не менее его нельзя считать физическим реалистом. Признавая чувственное многообразие, он не оценил его познавательной функции. Соединив его с априорными формами, такими, как пространство, время, причинность, субстанция, он пришел к феноменальной конструкции мира. В этом он исходил, я полагаю, из своей неадекватной точки зрения на процесс восприятия и предпосылки о самопротиворечивости физического мира. Это, как он думал, было им показано в «Трансцендентальной диалектике». Современная логика и математика опровергли его аргументацию. Однако она сыграла немаловажную роль в последующем появлении романтического идеализма. Фихте отправной точкой своей философии считал «Я», а Гегель разработал логико-историческую диалектику, где почти ничего не говорится о материальном мире. Следует напомнить, однако, что химия тогда была в самом зачаточном состоянии, а биологии, как таковой, просто не существовало. Методологически говоря, гегельянство отвергло вещь-в-себе Канта, считая ее бессмысленной, находящейся вне сферы мышления. Вещь-в-себе Канта есть лишь реверанс в сторону реализма. Но Кант оставил нам и такие термины, как опыт и мышление. Не удивительно, что эпистемология была принижена и в лучшем случае сводилась к субъект-объектному отношению.

За пределами официальной философии можно было услышать протесты, здесь можно назвать, например, Дидро, ряд ученых-естественников, пытавшихся начать флирт с идеей возрождения материализма. Однако подобные протесты категорически отвергались официальной философией. Против этой философии выступил Фейербах, чем он способствовал появлению диалектического материализма, получившего свое развитие у Маркса и Энгельса.

Труды Фейербаха были изучены совсем недавно и в основном в связи с развитием марксизма....

А теперь вернемся к Соединенным Штатам и Джону Дьюи. Дьюи весьма логичным образом пришел к экспериментализму, инструментализму и бихевиоризму. Как уже отмечалось, идеалистические учения всячески принижали эпистемологию, используя ее лишь как некое отражение их взглядов. Не удивительно, что группа молодых реалистов и критических реалистов выступила против этого. Дьюи пришел сюда, так сказать, со стороны и увидел слабость обоих. Анализируя критический реализм, Дьюи основное внимание уделил доктрине «сущностей» Сантаяны и Дрейка. Насколько мне известно, он не был хорошо знаком с моим анализом проблемы восприятия. Поэтому я мог оценить по достоинству его замечание, сказанное им профессору Шнейдеру, и в то же время не принимать его серьезно сам. Шнейдер, как мне кажется, никогда не понимал моих усилий разработать новую разновидность прямого референциального реализма, где ощущениям отводится информационная роль, что сводит на нет положения презентализма и репрезентализма. Шнейдеру показалось, что ничего нового здесь не предлагается.

Последующее поколение американских философов ориентировалось главным образом на Европу. Имелись некоторые признаки оживления интереса к критическому реализму. Если бы спросили, почему я начал заниматься эпистемологией, я бы ответил — из-за заинтересованности наукой. Я никак не мог понять, каким образом наука может быть связана с идеализмом. Роль связующего звена здесь отводилась восприятию.

Подобно Желтой реке, философия часто меняет свое русло. В ряде случаев это делается путем смещения акцентов, а иногда посредством нового подхода к проблемам. И все это в дополнение еще осложнено возникающими побочными течениями. За свою жизнь... я изучил прагматизм, бергсопианство, новые формы реализма, идеи эмерджентной эволюции, аналитическую философию, логический позитивизм, Витгенштейна, Уайтхеда, экзистенциализм, философию обыденного языка и марксизм. Из этого следует, что нужно соблюдать равновесие и вырабатывать в себе чувство первоочередности проблем. В этом эпилоге я очерчиваю свое философское развитие в том виде, как я его вижу сейчас, оглядываясь назад в прошлое.

До сих пор особое внимание я уделял эпистемологии. Но хочется сюда добавить и онтологию.

В конечном итоге Беркли был не материалист, и он воевал как с деизмом, так и с материализмом. Один из его тезисов состоял в утверждении, что существование неотделимо от воспринимаемости. Я выступал против этого положения. Беркли подчеркивал также несостоятельность формулы Локка. Что из себя представляет этот непознаваемый субстрат — носитель первичных качеств? И может ли инертная материя объяснить идеи и воления!

Мнение о том, что материя инертна, безусловно, относится к определенной эпохе. Сейчас упор делается на дипамизм и энергию. Солнечная энергия совершает работу, является источником жизни на Земле. Знаменитая формула Эйнштейна — энергия равна произведению массы на C в квадрате, где C — скорость света, — признана всеми.

Давайте посмотрим, что мы знаем и каковы наши знания о материальных предметах и составляющих их частях. Я доказывал невозможность интуитивного проникновения в материальные вещи. Однако эта иллюзия еще поддерживается презентативным, или пассивным, реализмом. Мы можем обнаружить вещи и узнать о них с помощью данных наблюдений. Различные операции дают нам относящиеся к ним факты. В науке это разнообразные виды зондирования вещей, частиц и процессов с целью получения знаний о них. В более широком плане все это можно представить как задавание вопросов и получение соответствующих ответов. Ответы могут представлять собой данные о структуре и поведении. Именно так мы получаем знания об атомах, молекулах, электронах, позитронах и т. д. В настоящее время имеется сложная аппаратура для расщепления атомного ядра. Последняя по принципу своего действия аналогична микроскопу. С помощью всего этого мы узнаем лишь фактические данные об изучаемых частицах. Нельзя найти некий окольный путь и обойти информативные данные, так чтобы чисто интуитивным путем прийти к пониманию природы молекулярных предметов или частиц. Материя и есть то, что ведет себя именно таким образом и обладает такого рода структурой. Когда химики синтезируют сложные молекулы, они строят соответствующие модели для составляющих эти молекулы атомов и получают те же самые свойства их поведения, какими обладает первоначальная

субстанция. Я вспоминаю, как профессор Сидней Хук однажды вызываяще задал мне вопрос: «Что такое материя?» Он, по всей видимости, понимал материю как концептуальную конструктивную величину, проявляющуюся в том, что он называл опытом. Думаю, что аналогичные идеи развивал и Уайтхед. Я не отрицаю, что те наши мысли, которые можно считать проверенными, являются концептуальными. Но я считаю, что, будучи доказанными, они являются концепциями, говорящими о чем-то, указывающими на что-то, а также накопленной информацией. История атомизма очень длинная, сначала она носила спекулятивный характер, указывая на состояние предметов, например, истираемость камней, высыхаемость одежды и т. д. Далее Бойль разработал корпускулярную гипотезу с большим количеством доказательств, которое значительно возросло после работ Дальтона в химии. В наш век радиоактивности и атомной бомбы почти никто не сомневается в существовании атомов. Одним из последних таких скептиков был Эрнст Мах, но его скептицизм объясняется в значительной степени его эпистемологией, построенной на элементах ощущений. Здесь следует отметить, что, когда Ленин защищал материализм, он доказывал, что наука начинается с материальных вещей, которые отражаются в наших ощущениях. Его противники до настоящего времени утверждают, что в познании мы начинаем с ощущений. Но читатель, по-видимому, помнит, что я рассматривал материальные вещи как непосредственные объекты восприятия, а ощущения, возникающие у воспринимающего лица, как источник информации о них. Это значит, что ощущения не конечный объект познания, а выполняют лишь функциональную роль в нем.

Учение Локка о *субстрате*, справедливо критиковавшееся Беркли, уже не выглядит столь естественно. Имеется материальная вещь, известная нам на основе полученных о ней данных. С точки зрения познания мы не будем ближе к познаваемому предмету, не имея фактических данных о нем, хотя мы можем иметь с ним дело, манипулировать с ним, расчленять его на части и т. п. Но, исходя из фактов и проверенных теорий, мы можем узнать гораздо больше о материи и энергии.

Беркли был выдающимся философом, и поэтому я здесь рассматривал его. Моя критика картезианского

дуализма строилась в другом плане. В своей первой книге «Критический реализм» я утверждал, что сфера сознания охватывает и события и функции мозга. Я был польщен, узнав, что Вудбридж Райли обратил внимание на это положение в своей истории американской философии. Насколько нам известно, никто этого не сделал до него. Все это привело меня к двустороннему подходу к проблеме тождественности сознания и состояния мозга¹. Я доказывал, что они разделяются в деятельности мозга. Я никогда не был эпифеноменалистом.

В споре с Беркли на моей стороне достижения науки, и одними из крупнейших являются достижения молекулярной биологии. Последние подтверждают мою теорию эмерджентности и уровней в природе. По-видимому, ДНК и РНК функционируют с помощью кодов. Это новый вид причинности, который следует добавить к обратной связи и к гомеостазису. Я довольно рано обратил внимание на важность организации в природе. Мои рассуждения были в духе тезиса гештальтпсихологии о том, что природа сама себя создает, человек же создает машины. Кёллер называет это динамичной точкой зрения. Он подчеркнул роль сенсорной организации, следующей за стимулированием. Насколько нам удалось установить, последняя работа по рецепторам глазной сетчатки, выполненная лауреатами Нобелевской премии доктором Георгом Вальдом и доктором Хартлайном, подтверждает это. Эпистемология, как я ее понимаю, начинается с исследований на уровне утверждений, касающихся восприятий, которые соотносятся с внешним миром. Как, к примеру, это дерево, на которое я сейчас смотрю и о котором я сейчас сужу. Познание возникает в рамках определенного контекста. Витгенштейн делал упор на факты, но он рассматривал их несколько по-другому, не так, как я. На мой взгляд, он придавал фактам больший онтологический статус. Однако я не считаю себя большим знатоком данного вопроса.

Вышеизложенное подводит нас к эмерджентному, или эволюционному, материализму. Это не редуктивный материализм. В некотором смысле его кульминационная точ-

¹ Подробнее об этом см. А. С. Богомолов. Буржуазная философия США XX века. М., 1974, стр. 209, а также А. М. Каримский. Философия американского натурализма. М., 1972, стр. 70—76.

ка, насколько нам известно, находится в человеке. Философия должна работать в самом тесном сотрудничестве с различными отраслями науки для того, чтобы понимать те или иные конкретные ситуации. Можно понять имматериализм и теизм Беркли. Для него, епископа, это естественно. В поздних работах Беркли обнаруживаются платоновские идеи, так же, как, например, у Уайтхеда в наше время. В платонизме мне представляется приемлемым лишь его учение о словах и понятиях и их познавательной роли. Здесь мы смещаемся на уровень последних работ о функционировании мозга и его лингвистических центров. Профессор Уилфрид Селларс связывает мышление со словесным выражением: «Научиться использовать символы в соответствии с правилами — одна из основных особенностей формирования понятий». Язык — социальное достижение, хотя его происхождение не совсем ясно. Проблемам языка, логики и психологии языка сейчас уделяется большое внимание. В результате этих исследований появляется новый вид эмпиризма, который можно считать продолжением критического реализма. Следует всячески поощрять его разработку. Двигаясь к завершению этого эпилога, я сделаю еще несколько замечаний о прошлом и настоящем философии. В 1916 г., опубликовав свою книгу «Критический реализм», я послал один ее экземпляр известному британскому философу-идеалисту Брэдли. Он был столь любезен, что прочитал ее и написал мне о своем впечатлении от книги. По его мнению, реализм заслуживает одобрения, для него лишь не было ясно, каким образом мы, реалисты, можем выйти за пределы явлений. Сам он пытался указать, каким образом явления могут быть логически организованы на основе все более увеличивающейся степени их связности или целостности. По-видимому, этим же занимается профессор Блэншард. Отчасти все это есть возврат к Беркли. Безусловно, Кант и Гегель многое добавили к данной проблеме. Но моей целью было показать, что явления отнесенно используются в познании. Моя точка зрения на категории менее скептична, чем у Брэдли. Последние имеют познавательную ценность и нуждаются в дальнейшем развитии.

Несколько лет назад в Англии вышла книга под названием «Революция в философии». В этой книге в основном трактуются логические проблемы реляциониз-

ма. Эпистемологии не уделяется заметного внимания. В силу того, что в книге не нашлось места для рассмотрения проблемы природы восприятия, я не могу рассматривать эту книгу как нечто революционное. На самом деле — это топтание на месте. Поэтому я вернусь к более фундаментальным вещам.

Я уже говорил о феноменализме и логическом позитивизме. Их основной недостаток — пренебрежение к эпистемологии. Представители этих философских направлений весьма искусно извлекали выводы из своих предпосылок, сделав определенный вклад в технологический арсенал философии. Они полностью исключили из анализа идею трансцендентности как лишнюю какого-либо смысла. Я, с другой стороны, связываю трансцендентность с 1) отнесенностью и 2) использованием чувственной информации для получения фактов об объектах. Безусловно, наша трансцендентность носит земной характер и не имеет ничего общего с потусторонними сферами. И все же это трансцендентность. Она дает основу для онтологии и, если угодно, для метафизики.

Я отдал должное прагматизму в лице Дьюи и Сиднея Хука, рассмотрев доктрину реализма первого и статус материи второго. Американский прагматизм набит идеями прагматизма. Мне иногда кажется, что он проходит три четверти расстояния на пути решения проблем, а затем бросает ее, так и не выяснив ее окончательно. Если бы я не был ограничен размером эпиллога, я бы проиллюстрировал, что имею в виду.

В заключение я хочу сказать несколько слов об экзистенциализме. У экзистенциализма нет четкой теории эпистемологии или онтологии. Я не против того, что они уделяют внимание переживанию страха. Я сам иногда ощущаю себя в этом состоянии. Я также солидарен с положением, что люди не должны рассматриваться как вещи. Проблема человека исключительно важная проблема. Назовите это, если хотите, философской антропологией, раздумьем о человеческой жизни.

Но мои возражения против экзистенциализма носят более глубокий характер. Экзистенциалисты строят свою теорию на философии Канта и Гуссерля. Они с подозрительностью относятся к эмпиризму, натурализму и эволюционизму. У них прослеживается отчетливый субъективистский элемент. Возьмите, например, Гуссерля,

одного из родоначальников этой философии. С помощью своего метода «редукции» он приходит к понятию индивидуального сознания. Внешние объекты в его теории сводятся к неким чувственным полюсам. Тем самым Гуссерль движется к картезианской форме идеализма. Анализ в духе реализма, который я очертил выше, совершенно чужд ему. Те же предпосылки и у Сартра. Спор между идеализмом и реализмом им игнорируется. Материальные предметы становятся у него, так же как и у логических позитивистов, явлениями. Реалистический материализм им, следовательно, отвергается. Он рассматривает себя наедине с «бытием-в-себе», инертным и пассивным и активным «для-себя-бытием». Никакого объяснения этому противопоставлению не дается. В действительности у Сартра заметен ярко выраженный солипсизм. Но конечно же, Сартр — видный писатель, в его книгах много говорится о свободе и правах человека.

У Ясперса мы находим попытку подойти к трансцендентности и богу, протиснувшись между субъект-объектным отношением Канта. Так или иначе, смысл мира у него лежит вне самого мира, в Абсолюте, являясь объектом веры, но не познания. Ясперс — прекрасный и способный человек, но он не имеет никаких точек соприкосновения с аналитической философией, а это было бы очень плодотворно. Я не вижу большой разницы между Хайдеггером и Марселем. Первый много занимается онтологией, но ищет контакта с ней с помощью полупоэтической интуиции. Он отвергает теорию соответствия истины и надеется путем словесных упражнений раскрыть истины, опираясь на идеи ранней древнегреческой философии. Хайдеггер поражает силой своего творчества, но маршрут его движения вряд ли известен ему самому. Марсель занят выяснением разницы между проблемами и таинствами, бросая вызов науке и научному взгляду на мир, однако философская основа его воззрений не ясна.

Наконец, несколько слов о Пауле Тиллихе, теологическом экзистенциалисте, столь популярном в Соединенных Штатах. Основой его теории, как и у Ясперса, служит кантовство с трансцендентностью бога, но бога не антропоморфного, а бога как самого Бытия. Что касается меня, то я не могу найти оснований для подобной проекции. Эта проблема обсуждалась мною в другом месте и была названа «американской философией изнутри».

Что бросается в глаза, так это раздельность, изолированность философских традиций. Между ними едва ли существуют внутренняя связь и взаимное понимание. Но надо надеяться, что это временное явление. Моя разновидность материализма выделяет в качестве главного теорию уровней, эмерджентность познания, оценочность и мораль.

На этом позвольте мне закончить эпилог к знаменитому «Диалогу» Беркли. Оглянувшись назад на развитие философии за последние шестьдесят лет, мне стало ясно, что американская философия, достигнув своего совершенства, отклонилась от европейской традиции в своей открытости для объяснения. Европа, конечно, этого не заметила, и здесь я вижу те особые условия, которые должны благоприятствовать решающим сдвигам в узловых, критических пунктах современной философии.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Рон Хиришбайн

«...Ни один евнух не льстит более низким образом своему повелителю и не старается возбудить более гнусными средствами его притупившуюся способность к наслаждениям, чтобы снискать себе его милость, чем это делает евнух промышленности, производитель, старающийся хитростью выудить для себя серебряные гроши, выманить золотую птицу из кармана своего христиански возлюбленного ближнего (каждый продукт является приманкой, при помощи которой хотят выманить у другого человека его сущность — его деньги; каждая действительная или возможная потребность оказывается слабостью, которая притянет муху к смазанной клеем палочке... Каждая нужда есть повод подойти с любезнейшим видом к своему ближнему и сказать ему: милый друг, я дам тебе то, что тебе нужно, но ты знаешь *conditio sine qua non* *... какими чернилами тебе придется подписать со мной договор; я надуваю тебя, доставляя тебе наслаждение), — для этой цели промышленный евнух приспособливается к извращеннейшим фантазиям потребителя, берет на себя роль сводника между ним и его потребностью, возбуждает в нем болезненные вожделения, подстерегает каждую его слабость, чтобы затем потребовать себе мзду за эту любезность»¹.

Карл Маркс

Десятилетиями присваивая значительную долю труда и ресурсов всего мира, современный капитализм создал промышленную систему, способную производить огромное количество различных товаров, а это в свою очередь

* Непременное, обязательное условие (*лат.*).

¹ К. Маркс. Экономическо-философские рукописи 1844 года. (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 42, стр. 129).

обострило проблему рынков сбыта. Без неограниченного расширения как производства, так и потребления прибыли падают, занятость сокращается, число потребителей уменьшается, что создает грозные предпосылки депрессии¹. Поэтому не удивительно, что в период снижения потребления (спад 1958 г.) президент Эйзенхауэр призвал соотечественников прийти на помощь экономике своей страны и увеличить потребление.

Однако потребление в рамках капиталистической экономики — вещь слишком важная, чтобы ставить его в зависимость от патриотического рвения американцев. Так как многие поставляемые на рынок продукты производства служат удовлетворению легкомысленных прихотей и не являются товарами первой жизненной необходимости, рекламные призывы, указывающие те или иные их достоинства, редко бывают убедительными. Одно из направлений современной социальной критики недавно вновь открыло истину, которую Маркс видел более ста лет назад, а именно: капитализм должен манипулировать человеческой психологией таким образом, чтобы навязать потребителю наиболее выгодные для себя товары. Имея возможности, которые могли бы поразить воображение любого монарха, индустрию досуга и развлечений, капитализм использует в своих целях малейшие особенности в психологии личности, не только учитывая уже имеющиеся желания и запросы, но и порождая новые. Современный капитализм создает потребности в товарах с такой интенсивностью, что принудительное потребление может рассматриваться как одна из его отличительных черт.

Естественное желание общаться с людьми превратилось в потребность окружать себя неодушевленными предметами потребления, потребность, ставшую для большинства американцев второй натурой. В культуре, где простота и умеренность считались когда-то достоинствами, их место заняло принудительное потребление, которое теперь рассматривается как высшая добродетель и благо². Люди теперь полностью отождествляются с их имуществом, по существу личность стала продолжением своей собственности. Как это возможно?

¹ См.: Д. Ж. К. Гэлбрейт. Новое индустриальное общество. М., 1969, особенно гл. XV.

² Там же.

Дело в том, что одной из движущих сил, которая приводит в действие весь механизм принудительного потребления, является не что иное, как сексуальность — фактор, который во многом определяет человеческое поведение. Этой точки зрения придерживаются многие социальные критики, хотя относительно природы и механизмов эксплуатации существуют и иные мнения. По-видимому, противоречие здесь в значительной мере имеет место вследствие удивительного сочетания сексуального подавления и сексуальной вседозволенности, столь характерных для современной америкапской культуры.

В то время как на одной странице газеты благочестивый обозреватель превозносит достоинства целомудрия, на следующей странице жизнерадостная реклама пробуждает совсем пецеломудренные желания. Сексуальное образование в школах вызывает жаркую полемику, в то время как непристойные объяснения по телевизору (которые могут быть восприняты гораздо серьезнее, чем то, что преподносится в школе) считаются совершенно естественными. Одним словом, сексуальное считается неприличным, но одновременно рынок наводняется информацией сексуального характера.

Как следует понимать это очевидное противоречие? Некоторые либералы доказывают, что рост вседозволенности является признаком социального прогресса, в то время как подавление сексуальности — это просто атавизм, наследие менее просвещенных эпох. Некоторые же радикалы утверждают, что одновременное существование подавления полового влечения и вседозволенности — это внутреннее противоречие, присущее американской культуре, которое подрывает установленный порядок. Однако марксистский анализ с учетом взглядов Фрейда показывает, что никакого противоречия вовсе не существует. Исследовав базис капитализма, Маркс вскрыл многие кажущиеся противоречия в его надстройке. Я считаю, что видимое противоречие между подавлением полового влечения и вседозволенностью можно разрешить, исходя из понимания одного из основных принципов капиталистической экономики, так называемого закона спроса и предложения.

Все настоящие капиталисты понимают коммерческую ценность уменьшения предложения в случае возрастания спроса. Отношение между подавленным и вседозволен-

ностью может быть понято как последовательность во времени, где подавление сексуальности в годы формирования личности означает подавление ее потенциального предложения в то время, как в зрелом возрасте вседозволенность увеличивает спрос на удовлетворение сексуальных потребностей. Подобное сочетание подавления и дозволенности обеспечивает огромные возможности в области капиталистической эксплуатации сексуальности.

Без подавления полового влечения люди оставались бы невосприимчивыми к сексуальным призывам, которыми так изобилует реклама, поскольку трудно разжигать желания, которые уже удовлетворены — угодить, поднося воду, можно только тому, кто жаждет.

Но если существует *только* подавление полового влечения, то не используются широкие возможности эксплуатировать разного рода невротические состояния. Сексуальная дозволенность эксплуатирует как раз те психические аномалии, которые были вызваны ее подавлением.

Мы попытаемся далее выявить и проанализировать диалектическую связь между подавлением и дозволенностью, которая дает возможность в огромной степени эксплуатировать сексуальную сферу человеческой жизни ради торговой выгоды. Некоторые аспекты этой связи капиталистическая система использует сознательно, так сказать, в запланированном порядке, другие — стихийно и, возможно, даже неосознанно. Но, как это отмечал еще Карл Маркс, многие из стихийных и еще не познанных следствий капитализма могут иногда способствовать упрочению и расширению этой системы.

* * *

Существуют широкие *потенциальные* возможности для гармоничного удовлетворения полового влечения. Даже в задавленной тяжелым трудом жизни эта сфера человеческого существования все еще может принадлежать человеку. Хотя, как указывал Карл Маркс, при капитализме большая часть человеческого существования подчинена необходимости (выполнению отчужденного труда), все же люди свободны по крайней мере в выполнении некоторых своих основных биологических функций, таких, как сексуальное удовлетворение. Быть может, здесь Маркс несколько недооценил ту степень господства над

человеческой личностью, какой может достичь развитый капитализм. Как саркастически заметил социолог Филипп Слейтер, одним из величайших достижений развитого капитализма является искусственное ограничение сексуальной удовлетворенности¹. Как же можно ограничить сексуальную удовлетворенность, когда в этой сфере существует огромная потребность, и эта потребность потенциально могла бы быть удовлетворена полностью. Рассуждая абстрактно, допустимо предположить, что этого можно было бы попытаться достигнуть применением навязанных извне законов. Однако такие законы были бы малоэффективны, потому что:

1. Их трудно проводить в жизнь;
2. Они могут вызвать оппозицию всей системе, так как основаны на откровенном подавлении и запугивании, а ставка на страх перед наказанием — это не самый эффективный метод социального управления.

Вопреки мнению многих либералов отказ от попыток провести в жизнь подобные законы еще не означает, что исчезает подавление сексуальности, оно становится лишь более утонченным и даже более эффективным.

Маркс указал на одну из самых отвратительных черт капитализма, когда отметил, что этот строй заставляет людей подавлять самих себя посредством внушения им ложного самосознания. Такое самосознание принуждает людей вести себя как бы иррационально, то есть их поведение полностью противоположно их истинным человеческим целям и потребностям. Это разрушает личность, но выгодно правящей элите.

Один из компонентов ложного самосознания внушается человеку еще в очень раннем возрасте в виде определенной системы моральных норм. Эти нормы кажутся столь незыблемыми, что человек часто убежден в их автономной детерминации, в их несомненной полезности и абсолютной естественности для всех людей и во все времена. Однако в действительности все обстоит совершенно иначе, и вот почему я называю эти нормы ложной совестью.

Личность, усвоившая эти нормы, подавляет себя, жестко ограничивая уровень своей сексуальной удовлетворенности. Законы, принуждающие извне, наказывают

¹ P. Slater. The Pursuit of Loneliness. Boston, 1970, ch. II.

лишь того, кто попался с поличным, по совести всеведуща: всякий раз, когда человек помышляет переступить ее границы, он испытывает в виде наказания утрызения совести. Искаженные моральные нормы и ценности человека в капиталистическом мире осуждают удовлетворение истинных потребностей и поощряют удовлетворение потребностей фальсифицированных, искусственно созданных. Как с сокрушением отмечал Фрейд: «В современной цивилизованной жизни больше нет места простой естественной любви между двумя человеческими существами»¹.

Однако ложное самосознание не сводится лишь к системе запретов, оно сублимирует запретные устремления, преобразуя их в поведение, которое устраивает правящий класс.

Если, к примеру, в данной системе культуры высоко ценится преданность религии, то сексуальные устремления могут сублимироваться в фанатическую преданность церкви. В наши дни монахи римской католической церкви все еще принимают участие в церемонии своего «бракосочетания» с Иисусом Христом. Однако современный капитализм нельзя заподозрить в уважении к бесплотным ценностям религии. Если мы исследуем *практику* капитализма, то обнаружим, что его *summit bonum* (высшее благо) воплощается в том, что Маркс определил как товарный фетишизм — всепоглощающая страсть к неодушевленным товарам. Жажда общения с людьми при капитализме заменяется жаждой обладания вещами. Иными словами, естественная потребность общаться с живыми существами трансформировалась в стремление обладать неодушевленными предметами. Некоторые люди в столь сильной степени являются жертвами такого деформированного самосознания, что заявляют, что именно любовь к вещам приносит им подлинное наслаждение. Маркс тем не менее знал, что у людей существуют естественные потребности, которые не могут быть удовлетворены на товарном рынке, например такие, как эротические взаимоотношения полов. Он говорил: «Непосредственным, естественным, необходимым отношением человека к человеку является *отношение мужчины к женщине*... На основании этого отношения можно, следовательно, судить о степени общей культуры человека. Из характера этого

¹ S. Freud. Civilization and Its Discontents. N. Y., 1961, p. 42.

отношения видно, в какой мере человек стал для себя родовым существом, стал для себя человеком и мыслит себя таковым. Отношение мужчины к женщине есть естественнейшее отношение человека к человеку... Из характера этого отношения явствует также, в какой мере потребность человека стала человеческой потребностью, т. е. в какой мере другой человек в качестве человека стал для него потребностью, в какой мере сам он в своем индивидуальнейшем бытии, является вместе с тем общественным существом»¹.

Современные марксисты вовсе не выступают за полную отмену всех ограничений в сексуальной сфере, поскольку определенный их минимум необходим для социальной гармонии и прогресса. Необходимо ликвидировать лишь избыточное подавление, то есть то добавочное угнетение, которое необходимо для сохранения и упрочения развитого капитализма. Это подавление в условиях искусственно создаваемых потребностей, заставляющее человека подменять удовлетворение своего естественного полового влечения эрзац-удовлетворением.

Маркс понимал, что социальные институты утверждают не только особую идеологию, но и предъявляют определенные требования к человеческой деятельности. Исследуя факторы, формирующие сознание, особенно важно обратить внимание на эти требования, поскольку человек определяется характером деятельности, в которую он вовлечен, а вовсе не проповедями, которые ему преподносят. По существу, все стороны жизни американского общества пронизаны лишенной всякого гуманного содержания идеей безжалостной конкуренции, борьбы, в которой побеждает более сильный, и это не может не наложить свой отпечаток на самые интимные сферы человеческого существования. Ценностная ориентация членов общества, которая выше всего ставит успех в этой борьбе, а критерием его — степень власти над людьми и количество материальных предметов, которые потребляет индивид, — такая ориентация не оставляет никакого места для гармоничного удовлетворения подлинно человеческих половых потребностей. Это было очевидно для Маркса, когда он обвинял капитализм в омертвлении плоти, превращении ее в бездушный механизм и в принесении людей в жертву

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 42, стр. 115—116.

безжалостной конкуренции, превращающей их во врагов — механизмы, борющиеся во имя механических же целей.

Взрослый американец живет в эмоциональной пустыне, он лишен возможности удовлетворять многие свои природные психологические потребности. Капиталистическая система эксплуатации интимной жизни человека состоит, как уже выше говорилось, из системы мер, направленных, с одной стороны, на подавление полового влечения человека, которое дополняется, с другой стороны, самой раздуваемой рекламой вседозволенности секса на товарном рынке сбыта.

Капиталист, конечно, не ограничивается тем, что извлекает прибыль, эксплуатируя невротические сексуальные реакции людей, напротив, он стремится их усилить и спровоцировать новые. Такова античеловеческая логика капиталистического рынка, диктуемая его целями.

В нашем случае возможности эксплуатации подавленных влечений чрезвычайно расширяются вследствие того, что реклама вседозволенности интенсифицирует спрос на соответствующую продукцию. Стимулированная капиталистической системой неврологическая реактивность взрослого американца в свою очередь способствовала наводнению рынка товарами американского образа жизни (благами цивилизации) и американского образа смерти (средствами вооружения).

Следует подчеркнуть, что возбуждающая эротические чувства реклама обращена к естественным сексуальным желаниям. На телевизионном экране и на страницах журналов потребителю постоянно делаются предложения от лица привлекательных мужчин и женщин.

Потребителю предлагается почти неограниченное количество товаров. Для предпринимателя главная проблема состоит в том, чтобы завлечь потребителя и внушить ему желание иметь именно данную вещь. Следовательно, предприниматель должен сделать свой товар более привлекательным, чем другие предметы, предложенные для продажи. Как это сделать? Эта задача решается путем придания товарам соблазнительного вида с помощью внутренней и внешней их сексуализации. В первом случае товар сам имеет неосознаваемую сексуальную притягательность, во втором — товар рассматривается, сознательно или бессознательно, как средство удовлетворения

скрытых влечений. Возможно, что утверждение о сексуализации товаров выглядит преувеличенным. Если эта гипотеза покажется далекой от истины, может быть, следует рассмотреть «роман Америки с автомобилем».

Автомобиль служит подходящим примером не только потому, что он является одним из важнейших продуктов американской экономики, но и потому, что методы продажи автомобилей служат образцом для других отраслей промышленности. Уже давно стало очевидным, что распространители автомобилей вызывают отнюдь не только к практическим потребностям. Людям внушают желание иметь фантастическую машину в 4000 фунтов весом, мощностью 400 л. с., а не простое обычное средство транспорта. Автомобиль — это продолжение тела, так как он предназначен компенсировать физическую ограниченность тела. Но он также и продолжение личности, поскольку потребителя заставили поверить, что автомобиль может также компенсировать и психологические несовершенства.

Автомобиль компенсирует эти несовершенства и ограничения, давая потребителю взамен чувство полноценности, которое вследствие самоподавления в течение нескольких лет, а также вследствие социальных условий иначе оказывается ему полностью недоступным. Названия и эпитеты, даваемые автомобилю, обнаруживают сексуальность связанных с ними характеристик.

Автомобили часто носят названия животных, считающихся образцом мужественности. Этот зверинец включает ягуаров, кугуаров, мустангов и т. п. Эпитеты, используемые в рекламе, должны вызывать идеализированный образ мужчины и женщины: смелый, мощный, надежный, сильный или мягкий, гладкий, шелковый и искрящийся.

Различные психологические исследования показывают, что даже такие товары, как автомобиль, отождествляются с сексуальным символом. Машина может бессознательно идентифицироваться с мужским или женским образом или даже с частью анатомического строения мужчины или женщины.

Возможно, что такого рода фрейдистское толкование покажется несколько экстравагантным, но тем не менее исследования культа автомобиля демонстрируют наличие целой субкультуры, осью которой является автомобиль как объект самого нежного ухаживания и ласки. Не уди-

вительно, что безвоззвратные станции обещают автомобилям «нежный, любовный уход».

Автомобиль не составляет исключения, подобной внутренней сексуализации подверглись и другие предметы потребления.

Многие авторы реклам обещают, что покупка данного изделия станет средством реализации сексуальных желаний. С недавних времен такие обещания стали более бесстыдными и менее закамouflированными. Туалетные принадлежности, такие, как мыло, зубная паста и шампунь, при продаже редко рекламируются с их практической стороны. Авторы реклам во все более крикливой манере утверждают, что отсутствие сексуального успеха имеет причиной существование непризнаваемых и щекотливых проблем, которые могут быть решены только с помощью данного товара.

Если вся торговая реклама основывается на использовании в своих целях невротических реакций, то вполне ясно, что в интересах корпораций лишь непрерывно провоцировать и эксплуатировать их. Конечно, если бы потребители поступали рационально, то они восставали бы против столь бесстыдных и изощренных методов эксплуатации. Но как известно многим исследователям в области экономики, рациональность — это не главное качество американского потребителя. Стремящийся к чему-либо потребитель трансформирует свое стремление неотъемлемым от его личности образом — он покупает больше товаров. (Все наркоманы, например, убеждены, что им поможет только увеличенная доза.)

Наконец, любопытно взглянуть на массовую рекламу средств вооружения. Военно-промышленный комплекс также не мог оставить неиспользованными в своих целях широкие возможности, открываемые эксплуатацией подавленных человеческих влечений, всей сферы человеческого подсознания. Не надо богатого фрейдистского воображения, чтобы увидеть, что военной технике придава внутренняя сексуальная значимость. Недаром американским ракетам нашли имена, обобрав весь пантеон греческих богов. Приверженцы «холодной войны» предупреждают о необходимости защищать родину-мать — Америку. Только ракета «Сейфгард» может защитить государство от иностранного вторжения. Подавление и бесконечные компромиссы лишают представителя так называемого

«молчаливого большинства» уверенности в себе, зато в качестве компенсации ему внушается мысль, что он может поразить любое чужое государство ракетами своей страны.

Если бы американцы были мужественны и уверены в себе, они не очень бы стремились к обладанию средствами разрушения, обеспечивающими их создателям высокие прибыли. Огромные денежные средства, истраченные в гонке вооружений периода «холодной войны», не заменяют мужества и целеустремленности нации — это лучше всего видно в сравнении с Вьетнамом. Истратив после второй мировой войны триллионы долларов на военную промышленность, Америка стала более уязвимой для нападения, чем когда-либо ранее.

Иррациональность политики военно-промышленного комплекса все еще недостаточно осознана гражданами США, и еще многие из них полагают, что только увеличение количества средств разрушения обеспечивает Америке мужество и уверенность в себе.

В заключение отметим, что, хотя ряд тезисов этой статьи может показаться спекулятивным, это не снимает проблемы исследования тех утонченно жестоких способов манипулирования человеческой личностью, к которым прибегает современный капитализм с целью укрепить свой социальный строй.

Что, однако, не спекулятивно, так это патологическая товаромания, столь свойственная современному капитализму. Характеризуя европейских поселенцев в Северной Америке, проникательный американский абориген — вождь по имени Сидящий Бык — сказал: «Страсть к обладанию — это их болезнь».

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЧЕРНОКОЖИХ

Уолтер Х. Коппелмэн

Бытует сомнение в том, что белые люди в состоянии полностью понять литературу чернокожих писателей. *Априорная* предпосылка, согласно которой существует некая изначально данная общечеловеческая природа, делающая общение между людьми как возможным, так и необходимым, может оказаться ошибочной. Что же касается предположения о том, что с помощью литературы люди преодолевают свою ограниченность и входят в сферу универсальных условий бытия человека, то оно может быть еще более ошибочным, несмотря на широкое распространение этого мнения. Писатели, будь то черные или белые, обычно не признают этих ограничений вследствие общего философского предположения, что достижение универсальных условий бытия человека как человека вполне возможно. Цель настоящей статьи заключается в попытке показать или по меньшей мере объяснить альтернативный диалектический взгляд, согласно которому истина является всегда частичной и динамичной. С этой точки зрения я рассмотрю некоторых известных чернокожих писателей нашего времени, таких, как Райт, Эллисон, Малькольм Икс и Леруа Джонс, с целью попытаться доказать тезис, что важность литературы не в абстрактном человеческом универсализме, а скорее в освещении конкретного и особенного в их диалектической противоположности к некоторым другим особенностям и в выдвижении идей, касающихся способов разрешения конфликта.

I

Человек является социальным существом, но это не означает, что все люди имеют одну и ту же социальную сущность. Социальная сущность человека зависит от

комплексной тотальности его социальных отношений, и эти отношения не являются по необходимости результатом его собственных усилий. Чернокожий человек является ярким примером этого.

Чернокожий человек вступает в современный мир со своей специфической историей, на которой лежит печать колонизации и порабощения. Будучи физически оторванным от своей африканской родины и лишенный своей культуры, своей семьи, религии, способности принимать решения, касающиеся своей собственной работы и даже своей жизни, чернокожий человек вступает в наш современный мир, в значительной мере лишенный тех атрибутов жизни, которые белые люди рассматривают в качестве основных для человечества. Гегель понял, что включает в себя этот тип исторической ситуации. В своей «Феноменологии духа» он писал, что, когда существует отношение между господином и рабом, мы имеем два обоюдно независимых существования, которые не только независимы, но и противостоят одно другому. Мы имеем в первую очередь чистое самосознание для себя и сознание не для себя, «а для другого (сознания), т. е. оно есть в качестве *сущего* сознания или сознания в виде *вещности*»¹.

Жизнь в состоянии зависимости имеет по меньшей мере двойное следствие для зависимого или раба. С одной стороны, он должен быть вовлеченным в смертельную борьбу со своим поработителем. Гегель пишет об этом так: «Отношение обоих самосознаний, следовательно, определено таким образом, что они *подтверждают* самих себя и друг друга в борьбе не на жизнь, а на смерть. Они должны вступить в эту борьбу, ибо достоверность себя самих, состоящую в том, чтобы быть *для себя*, они должны возвысить до истины в другом и в себе самих. И только риском жизнью подтверждается свобода, подтверждается, что для самосознания не *бытие*, не то, как оно *непосредственно* выступает, не его погруженность в простор жизни есть сущность... Индивид, который не рисковал жизнью, может быть, конечно, признан *личностью*, но истины этой признанности как некоторого самостоятельного самосознания он не достиг. Каждое должно в такой же мере идти на смерть другого, в какой оно рис-

¹ Гегель. Феноменология духа. Сочинения, т. IV, М., 1959, стр. 103.

кует своей жизнью, ибо другое для него не имеет большего значения, чем оно само; его сущность проявляется для него как нечто другое, оно — вовне себя; оно должно снять свое вовне-себябытие»¹.

Гегель также дал нам основу для понимания другого важного явления, заключающегося в том, что раб фактически начинает рассматривать себя как вещь и рассматривает себя так, как смотрит на него господин. В нашей собственной культуре даже чернокожий человек приходит к убеждению в том, что есть что-то объективно низшее в том, что он является черным. Чернокожий человек желает невозможного; он желает стать белым. Он действительно поработан до тех пор, пока не придет к пониманию причины своей подчиненности, которая заключается не в цвете его кожи, а в его собственном принятии этой подчиненности. Гегель писал об этом: «На первых порах для рабства господин есть сущность; следовательно, *самостоятельное для себя сущее сознание* есть для него истина, которая, однако, *для него еще не существует в нем*. Но на деле оно имеет эту истину чистой негативности и *для-себя-бытия в себе самом*, ибо оно эту сущность испытало на себе. А именно это сознание испытывало страх не по тому или иному поводу, не в тот или иной момент, а за все свое существо, ибо оно ощущало страх смерти, абсолютного господина»².

Сознание раба не является его собственным. Он живет и мыслит так, как ему повелевает господин. Раб не только не свободен; он является всего лишь вещью, которой манипулируют ради прихотей господина. Границы его умственного кругозора являются границами, навязанными ему извне и изнутри. Его глубочайшее желание состоит в том, чтобы нравиться господину. Он рассматривает свободу как всецело зависящую от его господина. Он верит, что его господин действительно свободен, поскольку он не в состоянии понять, что его господин поработан в той степени, в какой он верит, будто его подлинная свобода состоит в предпосылке быть господином. Так, белый человек в нашем обществе настаивает на своем превосходстве и превосходстве белых. Белый прав как для господина,

¹ Гегель. Феноменология духа. Сочинения, т. IV, М., 1959, стр. 101—102.

² Гегель. Феноменология духа. Сочинения, т. IV, М., 1959, стр. 104—105.

так и для раба, и оба порабощены этим предрассудком. Решение не может быть в уравнивании черного человека с белым; необходима ликвидация такого положения дел, которое породило данные отношения. Институт, называемый расизмом, может быть отменен не трансформацией сознания, а такой социальной трансформацией, которая по самой своей сути исключит возможность порабощения одной группы людей со стороны любой другой группы.

Следует подчеркнуть, что только посредством диалектического анализа проблемы мы можем понять природу предрассудков, их разновидности и найти ее решение. В данном случае было бы фундаментальной ошибкой заранее связать себя абстрактной предпосылкой, что все личности равны и что мы можем устранить все несправедливости посредством простого принятия соответствующих законов, объявляющих всех людей равными, после чего они в действительности станут равными. Рассуждая диалектически демократ есть одновременно и лучший друг, и наихудший враг угнетенной личности. Он является другом, поскольку он действительно желает, чтобы со всеми людьми обращались одинаково, и может даже верить, что они равны. Однако, настаивая на равенстве, он зачастую упускает из виду условия, при которых это равенство возможно, и лишает угнетенную группу средств, с помощью которых она могла бы достичь своей собственной человечности. Ведь угнетенная группа имеет свою собственную историю, свою собственную культуру и, как таковая, свою собственную индивидуальность. Демократ вынужден отрицать уникальность угнетенной группы из-за своей абстрактной, априорной предпосылки равенства и отказа признать то, что наиболее очевидно, — приращенность угнетенной группы. Мы, по сути дела, создаем препятствия группе на пути ее освобождения, если не раскрываем ей истину о ее положении.

Настоящий чернокожий писатель должен гордиться своим уходящим в глубь веков культурным наследием. Черный человек становится наихудшим врагом себе в той мере, в какой он принимает точку зрения белого человека на черного.

Создав класс рабов, белый склонен забывать, что он этим актом создал также совершенно новый язык. Когда черный человек говорит на своем языке, общается с людьми своего народа, то белый человек не может его

понять. Фанон говорит, что «черный человек имеет два измерения. Одно — со своими приятелями и другое — с белым человеком»¹. Черный человек ведет себя совершенно различно с белым человеком и с черным человеком. То, что это саморазделение является прямым результатом колониального господства, — это несомненно для Фанона. Он утверждает, что все это фактически хорошо известно, но дело заключается в том, чтобы не только знать, но и изменить положение вещей.

II

Литература является формой использования языка. Поэтому для того, чтобы понять литературу, необходимо понять культурную динамику языка. Многие чернокожие писатели относятся ныне к Соединенным Штатам как к родине, а к черному сообществу — как к колонии. Но что в точности означает подобное заявление? На этот вопрос я бы ответил, что неважно, насколько подобное утверждение верно в буквальном отношении, но важно то, что подобные обвинения вскрывают, как глубоко отчужден черный человек от белого сообщества. Колонизированный индивид знает, что он является собственностью, что его институты, его семья и его душа — вне его контроля. Иными словами, все это означает, что «каждый колонизированный народ, то есть каждый народ, у которого уничтожена его пзначальная самобытность и который принижен внушенным ему комплексом неполноценности, сталкивается лицом к лицу с языком цивилизованной нации, то есть с культурой отечества»².

Мы, по существу, советуем черному человеку: говори на нашем языке, припримай наши стандарты, нашу одежду, нашу религию, наш комплекс экономических отношений, стыдись своего диалекта, образа жизни, своего прошлого. Мы завоевали тебя, и поэтому ты ничего не стоишь. Затем происходит нечто удивительное. Язык и культура класса рабовладельцев кажутся путем к спасению. Черный человек изучает литературу, науку и профессии белого человека. Если белый человек говорит, что терпение, стойкость, образование, бережливость и трудолюбие есть путь

¹ Frantz Fanon. *Black Skin, White Masks*, p. 17.

² F. Fanon. *Op. cit.*, p. 18.

к освобождению, то черный человек пытается следовать этим путем.

Однако ему не потребовалось слишком много времени для понимания того, что этот путь является для него иллюзорным выходом. Если Платон и Гегель могли чем-то быть полезными для белого студента, то черный очень скоро понимает, что подобный подход к языку и культуре имеет весьма малое отношение к его проблемам. Однако противоположность выступает как прищипа. Так, белый студент может серьезно изучать аргументы Аристотеля в защиту рабства, если даже он в итоге приходит к их опровержению. Его преподаватель также рассматривает их серьезно, поскольку эти аргументы являются частью их культурного наследия. Для черного человека все это похоже на то, как если бы дьявола воспринимали всерьез, но белый студент уверен, что он прикоснулся к мудрости веков. Он, разумеется, прав, с той, однако, оговоркой, что это история белых, которую он склонен приписывать всему человечеству. В сочинениях белых обычно обращается внимание на факты деградации черного человека, причем вся вина за это возлагается на него самого. Он ленивый, отсталый, близок в джунглям, неспособный к высоко усложненному, абстрактному размышлению, которое отличает «цивилизацию». Белый человек поэтому не только пытается навязать свой язык и культуру бедному невежественному черному человеку, но и одновременно всячески подчеркивает его умственную неполноценность. В результате черный пользуется языком белых только в их присутствии в той мере, в какой это необходимо для его выживания, говорит на совершенно другом языке среди своих соплеменников. Фанон вспоминает соответствующий пример из фольклора его собственного народа, черных туземцев Мартиники. Черный юноша уехал учиться во Францию и возвратился домой. Он отвечал только по-французски и зачастую не понимал языка креолов. По каким-то причинам он вообще забыл, какова жизнь в колонии. Увидев сельскохозяйственное орудие, он спросил своего отца: «Скажи мне, как называется этот аппарат?» Вместо ответа отец бросил орудие на ноги юноши, и память у него сразу же восстановилась. Прекрасная терапия, замечает по этому поводу Фанон.

Наиболее общей иллюстрацией к сказанному может служить та манера, в какой большинство белых людей

обычно говорит с черными. Речь становится более аккуратной. Синтаксис — более простым. Используемые слова являются теми словами белого человека, которые он обычно использует в общении с ребенком. Причина этого весьма проста. Белые люди думают о черных людях как о детях. Вы, разумеется, вправе отрицать, что принадлежите к подобному типу белой личности. Я отвечу, что, если вы даже лично не являетесь таковым, для многих белых людей такая манера общения является достаточно типичной. Так, черные адвокаты постоянно сообщают, как белые судьи говорят с ними в самой снисходительной манере, как будто бы они не в состоянии понимать самые наипростейшие юридические процедуры и правила.

Наиболее распространенным фактом юридической практики в США является то, что показаниям черных свидетелей очень редко верят и что большинство черных людей пытается иметь белого адвоката, хорошо зная, что даже самый неквалифицированный белый адвокат имеет лучшие шансы отстоять интересы своего подзащитного, чем, скажем, окончивший Гарвард черный адвокат. Можно утверждать, что обстоятельства изменяются к лучшему, но это аргумент белого человека. В недавно выпущенной книге под названием «Черная ярость», авторами которой являются два чернокожих психиатра, доказываемается, что происходит как раз совершенно противоположное. Фактом является, что, хотя истэблшмент утверждает, будто обстоятельства улучшаются, порождая тем самым искры надежды у черных людей, на деле можно видеть, как растет число разочарованных и озлобленных чернокожих, ибо разрекламированные обещания, как правило, остаются лишь обещаниями¹.

Возвращаясь к социолингвистической аргументации, отметим, что в американской литературе мы буквально на каждой странице можем встретиться со следующим типичным образцом общения черного и белого. Чернокожий человек в поезде обращается к белому соседу: «Извините, сэр, Вы не скажете мне, где находится вагон-ресторан?» Ответ должен быть, наиболее вероятно, таким: «Конечно, приятель. Откроешь дверь, увидишь коридор,

¹ William H. Grier and Price M. Cobbs. Black Rage. New York, 1968.

пройдешь прямо по нему, пройдешь один вагон, второй вагон, третий вагон и придешь».

Разговор в такой манере является стереотипной социопсихологической необходимостью для белого человека, живущего в разобщенном обществе. Он увековечивает состояние конфликта, поскольку белый человек в своем ответе, помимо обычной информации, сообщает черному, что, используя вежливый язык образованного белого, тот пошел весьма далеко, и вместе с тем он впрыскивает черному человеку ярость и ненависть. Конечно, ничто не обязывает белого человека знать об этой ярости, поскольку он живет в своем мире, к которому должен приспособливаться черный, хотя, конечно, немногие черные люди фактически приспособляются к нему. Но для подавляющего большинства черных людей проблема приспособления, вне сомнения, является практическим вопросом, и все большее их число не склонно рассматривать его как оправданное хоть сколько-нибудь морально или идеологически. Мир черных, который создали белые, является теперь их подлинным собственным миром, и это может быть подтверждено указанием на их собственных лидеров, их литературу, их собственную культуру и их внутреннее развитие и динамику. Именно этой фазы диалектического процесса нашего времени мы касаемся в данной статье. Первый вывод, который должен быть здесь сделан, состоит в том, что черный человек имеет право сказать «нет» тем, кто пытается сформулировать его определение. Если потребуется какое-либо определение, то черный человек сформулирует его сам. Вторая вещь, которую мы должны признать, состоит в том, что, согласно глубокому замечанию Фанона, «говорить на том или ином языке — значит принимать тот или иной мир». Черный человек, в определенной мере принужденный жить в белом мире, будет говорить языком белых, но одновременно развивается язык черных для черных. Свидетельством тому служит тот факт, что в настоящее время имеется подлинная негритянская литература. Это открытие для некоторых белых служит источником самого настоящего потрясения, даже шока. Ведь литература является высшей формой культуры, а они никогда даже не предполагали, что черные культурны вообще.

В этой части я хочу выступить против тезиса широко читаемой книги белого автора Роберта А. Бони, называемой «Негритянский роман в Америке», в которой утверждается, что нет никакой литературы черных, что чернокожие писатели, если они действительно писатели высшего класса, должны просто оцениваться как личности безотносительно к цвету их кожи. Этот тезис имеет свои привлекательные стороны хотя бы потому, что здесь признается, что негры могут писать так же хорошо, как и белые, но я все же полагаю, что в конечном счете этот тезис является наивным и до известной степени имеет привкус расизма. В адрес негритянских писателей часто делались критические замечания в том смысле, что, мол, хотя они и пытались выразить важные проблемы, однако их произведения не являются литературой, потому что они носят слишком местный и специфический характер. По каким-то соображениям произведение, отражающее жизнь и переживания отдельного народа и затрагивающее его специфические проблемы, исключается из каталога литературы. Литература, предполагается, относится к чему-то такому, что выходит за рамки всего частного и особенного. Конечно, подобная критика очень редко направляется в адрес белых писателей, которые упоминаются в стандартных курсах американской литературы, таких, как, например, Сэмюэл Сьювелл, Сара Кембл Найт, Майкл Уингсуортс и Бен Франклин. Ближе к истине здесь было бы сказать, что в данном случае мы сталкиваемся с ограниченностью восприятия читателя, а не писателя. Когда белый читатель читает отрывок произведения американского писателя, он не ожидает, что то, что он прочтет об Америке, будет радикально отличаться от прочно сложившихся у него представлений, особенно это справедливо в отношении зрительных образов.

Вероятно, следующий мысленный эксперимент сможет несколько заострить это утверждение. Если мы закроем глаза и попытаемся быстро представить себе группу из 100 американцев и если почти все из них окажутся белыми, я утверждаю, что личность с такими образами живет в нереальном мире, даже если эти образы отражают повседневные условия ее жизни. Дело в том, что

когда белая личность читает книгу о чернокожих индивидах, обычаи и ценности которых по-видимому отличаются от ее собственных, и если при этом она не освободилась от почти автоматической привычки ассоциировать эти различия с неполноценностью всего негритянского, то она будет склонна отвергнуть литературное произведение как странное, неинтересное, ограниченное, хотя ограниченность в данном случае присуща ей самой¹.

Другой тип критики, направленной против литературы черных, пытается отрицать ее как литературу на том основании, что она слишком много внимания уделяет социальному протесту в отдельные исторические периоды и по этой причине не в состоянии выдержать длительное испытание временем. Виднейший чернокожий писатель Ральф Эллисон опроверг это утверждение: «Я не признаю никаких границ между искусством и протестом. «Записки из подполья» Достоевского являются среди множества других произведений протестом против узкого рационализма девятнадцатого века; «Дон Кихот», «Судьба человека», «Царь Эдип», «Процесс» — все они выражают протест, они протестуют даже против ограниченности самой человеческой жизни. Если социальный протест является антитезой искусству, то тогда что делать с Гойей, Диккенсом и Твенем? А ведь сколько жалоб можно услышать по адресу так называемого «романа протеста», особенно когда авторы — негры»².

Хотя я основное внимание уделяю негритянской литературе двадцатого века и еще более специально останавливаюсь на нескольких видных негритянских романистах, уместно заметить, что имеется длительная традиция искусства черных в этой области, — традиция, которая восходит к революционному периоду. Начальным пунктом в двадцатом веке здесь является великолепная классическая работа У. Дюбуа «Душа черного народа». Эта книга дала первый толчок концепции расовой самобытности, которая была в резком контрасте с прежними интеграционалистскими темами некоторых чернокожих писателей. В повести Жаана Тумера «Трость», опубликованной в 1923

¹ Я полностью уяснил это, ознакомившись с неопубликованным докладом Дж. Ноувера «Традиции негритянской литературы в США», который был произнесен в виде лекции в городском колледже Сан-Диего 24 апреля 1968 г.

² Ralf Ellison. *Shadow and Act*. New York, 1964, p. 169.

году, тема самобытности соединилась с темой расовой гордости. Эта книга примечательна во многих отношениях. Например, в ней были использованы импрессионистская и почти сюрреалистическая техника повествования, для нее характерен экспериментальный подход к художественному творчеству. Она являет собой важный пример литературы черных, ибо ее язык и образы — это язык и образы чернокожих людей. В книге нет попыток доказательства того, что черные такие же люди, как и белые. Это попросту предполагается, как предполагается и то, что читатель будет заинтересован описанием жизни, настроений, чувств черпого народа.

Тумер едва ли был уникальным в этом отношении. Тогда же такие негритянские писатели, как Клод Маккей, Каунти Каллен и Ленгстон Хьюз, создавали произведения, проникнутые гордостью за самобытность черного сообщества, выдвинув коренные вопросы нашего времени на уровень политических и художественных дискуссий.

Две темы преобладали в литературе этих писателей. Они отвергли средний класс и приняли свою чернокожесть как отправной пункт своего творчества. «Второй вопрос — что значит быть черным? — был глубоко исследован Клодом Маккеем. Сознвая тот факт, что он, вероятно, создает новый стереотип, который вызовет порицание со стороны белого человека, Маккей пошел дальше в своем анализе. Каков облик главного героя романа Маккея «Домой, в Гарлем», опубликованного в 1928 году? Джейк является прежде всего хорошим человеком. Все его побуждения обращены к жизни, хотя он видит вокруг себя нищету и смерть. Его непосредственные поступки никому не причиняют зла, цель — принести радость другим. Он является человеком, у которого внутренние импульсы и мысли полностью соответствуют его внешним действиям. Он верит, что приносить радость людям должно быть человеческим благом. Что Маккей сознательно описывает, вероятно, в первый раз в американской литературе — так это городского индивида, который еще не является самоотчужденным.

Если мы, однако, попытаемся взглянуть на главного героя этой книги глазами белой личности, то тот же самый человек, возможно, будет выглядеть необразованным, беспомощным, безответственным, а не сердечным, веселым, понимающим, добрым — вообще, просто хорошим челове-

ком. Пока мы не примем как факт, что имеется два мира — белых и черных, — мы не сможем дать правдоподобного объяснения подобных расхождений в перспективе и паличия различных систем ценностей. Юмор не отделим от мироощущения черного сообщества, каким бы ни было трагичным его существование. Еврейская литература являет собой другой пример этого явления. Ленгстон Хьюз внес это трагическое чувство юмора в негритянскую литературу в своих рассказах о Джессе Б. Симпле, которые были опубликованы в тридцатые и сороковые годы в «Чикаго дефендер».

Биггер Томас, персонаж, созданный Ричардом Райтом в его «Туземном сыне» (бестселлере 1940 года), является, по мнению автора этой статьи, действительно ярким примером того, как невозможно для члена угнетенного меньшинства не быть predeterminedным во всех своих действиях и побуждениях. Он находится в постоянной борьбе с самим собой, с членами своей семьи, со своими друзьями, так же как и с миром белых. Социальное угнетение имеет в качестве одного из своих важных следствий дегуманизацию подавляющего большинства членов как угнетенного, так и угнетающего классов. У Биггера накопилась жгучая ненависть, которая фактически находится вне его контроля. Его возможности выбора предельно ограничены из-за цвета его кожи, что он должен или прятаться от действительности или прибегать к насилию. Он никогда не может забыть о том, что он негр, и никто, с кем он встречался на своем жизненном пути, не позволял ему забыть про это. Это особенно верно в отношении белых людей с хорошими намерениями. Богатые благонамеренные Дэйлтоны уверены, что они чем-то помогают Биггеру, предоставляя ему работу, однако читатель видит всю глубину его унижения и понимает, что нет ничего иррационального в том, что Биггер предпочел иную альтернативу — заниматься мелким воровством. Основной вывод, который делает здесь Райт, состоит в том, что добрые белые могут позволить негру несколько продвинуться в этом обществе — но только на их условиях. Однако если черный человек не распоряжается своей судьбой, то тогда он действительно ничего не теряет, прибегая к силе. То, что Биггер должен в конце умереть за свои преступления, как они были определены обществом белых, означает не больше чем сказать, что жизнь негра в обществе «превос-

ходства белых» (в котором черные подвергаются сегрегации как низшие по отношению к белым) напоминает жизнь заживо похороненного человека.

Можно ли предложить здесь какое-либо решение? Мы прежде всего должны понять, что возможности того, кем человек может стать, ограничены с самого начала тем, в каком обществе он родился. То, что случилось с Биггером, могло предположительно случиться в любом обществе, но более вероятно должно было случиться именно в том специфическом обществе, в котором он находился. Мы обязаны приложить усилия для создания такого общества, в котором больше не существовало бы никаких ограничений для выбора, возможности развития личности или группы из-за цвета кожи. Пока черный человек не будет иметь права влиять на природу этого общества, никакое решение невозможно.

Самоопределение является очень трудным делом для человека, в котором еще только начинает пробуждаться сознание своего «Я». Ральф Эллисон в своей книге, «Человек-невидимка» предлагает нам более разнообразный и более психологически утонченный, чем у Райта, взгляд на то, что значит быть черным человеком. Он прилагает значительные усилия, чтобы исследовать сознательный и бессознательный механизм поведения своего героя. Однако мне представляется, что и у Эллисона и Райта поставлены те же самые вопросы. Черный человек стремится быть человеческим, добрым, творческим так же, как и самоуверенным, но всюду, куда бы он ни обратился, он обнаруживает, что он нигде не является самостоятельной личностью, но кто-то определяет, кем он должен быть. Он оказывается лишь символом или фишкой в некой игре, которую не он придумал и в которой никому нет дела до его личности. Фактически Эллисон, по-видимому, говорит, что на уровне социальной реальности черный человек вообще не является личностью. Это и есть невидимость.

Эллисон не удовлетворен этой ситуацией и не верит, что эта ситуация безнадежна. Он начинает с предпосылки, что в конце концов каждый человек невидим для себя, если он предпочитает видимость, и эта экзистенциалистская интуиция может быть отправным пунктом. Он также уверен, что даже невидимость имеет определенные преимущества как основа для организации и разрушения. «Человек-невидимка» не является книгой, которую легко

классифицировать, и вообще пытаться это сделать означало бы, по-видимому, оказать плохую услугу Эллисону как художнику. Белым он как бы говорит, что они не понимают, что черные являются людьми со своими мечтами, стремлениями, — людьми, отвечающими своими действиями на действия со стороны белых. Черным он как бы говорит, что, хотя они знают, что белые распоряжаются их судьбой, они все же мало сделали в своей личной и политической жизни для утверждения своей индивидуальности. Черные, если можно так выразиться, могут себя неплохо чувствовать, принимая невидимость, навязываемую им.

Мнение Эллисона о том, что произведение Райта является слишком социологическим, по всей видимости, не столь важно, чем согласие обоих писателей в том, что чернокожий писатель имеет уникальные проблемы, уникальный исходный пункт, уникальную возможность исследовать социальную и индивидуальную реальность своего собственного народа.

В интервью по поводу проблем художественного творчества, опубликованном в 1955 году, три года спустя после публикации «Человека-невидимки», Эллисон подчеркнул, что его книга может быть понята только с точки зрения негритянского фольклора. Вот его собственные слова: «...Имеются определенные темы, символы и образы, основанные на фольклорном материале. Например, имеется среди негров старая поговорка: если вы черный, стойте сзади; если вы коричневый, кружитесь поблизости; если вы белый — вы правы¹. Имеется шутка, в которой негры говорят о себе, что они настолько черные, что не могут быть видимы в темноте. В моей книге этот вид вещей слит со значениями, которые чернота и свет имели в западной мифологии: зло и добро, невежество и знание и т. д. В моем романе развитие рассказчика идет от черноты к свету: то есть от невежества к просвещению, от невидимости к видимости. Он оставляет Юг и едет на Север; это, как вы можете заметить, читая негритянские народные сказки, обычно путь к свободе, движение вверх»².

Что мы должны заметить здесь — это отношение Эллисона к свободе. Негритянский писатель всегда касается этой темы. Его жизнь и поэтому его искусство связаны с

¹ По-английски поговорка дана в рифмах: блэк — бэк, браун — эраунд, уайт — райт. — *Прим. перев.*

² R. Ellison, Op. cit., note II, p. 173—174.

отсутствием свободы, и многочисленные проявления этого отсутствия свободы наблюдаются в жизни его народа. Возьмем, например, отрывок «Драка» в его романе, где Эллисон показывает черных юношей, которые с завязанными глазами выпущены бить друг друга для увеселения белых зрителей. Эллисон знает, что это является неотъемлемой частью тех стереотипов поведения, которые неосознанно принимают и черные и белые, но для него это нечто большее. «Это ритуал для сохранения кастовых линий, удержания табу...» Более важно то, что этот эпизод, цель которого — показать, что должны негры научиться видеть, не является чем-то вымышленным, такие стереотипы уже существовали в обществе. Писатель выносит на первый план сознания то, что уже существует в обществе в форме ритуала. Эллисон говорил, что отказ участвовать в определенных ритуалах уже означает революционизировать в некоторой степени себя и общество. Если белый человек обращается к черному как к «бою» («парню») и черный человек говорит: «Извините, но я не ваш бой», то здесь расизм атакуется в его социолингвистических основах и поступать так — значит понимать диалектические противоречия, коренящиеся в социальной жизни.

Разумеется, существует значительно больше материала для диалектического анализа, чем тот, который был нами здесь приведен. Любая подлинная интерпретация должна быть аутентичной как к внутреннему конфликту личности или группы, так и к отношению этой личности или группы к «другим». В случае с Биггером Томасом мы ясно видим обе стороны проблемы, и я полагаю, что анализ Райта является в этом отношении весьма глубоким. Биггер находится в конфликте с религией и родовой культурой своего народа. Он понимает, что они стоят на его пути и тормозят развитие его народа, поскольку именно их использовали белые, поработав негров. Являясь типично бунтующей личностью, он видит мало чего позитивного в традициях своего народа, хотя мы, конечно, как внешние наблюдатели понимаем, что даже гнетущие традиции могут служить определенной опорой в борьбе.

Биггер бунтует, и, хотя он знает, что ему не нравится, он не видит для себя никакой перспективы. Его гибель неизбежна как по этой причине, так и по причине того, что он нарушил правила, навязанные извне. С другой

стороны, Биггер находится в конфликте с белой группой, поскольку ему ничего не остается, как попытаться усвоить структуру ценностей этой группы. Он хочет денег, положения, легкой жизни и уступчивых белых женщин. Однако, как это хорошо показывает Райт, все это не для него, и его попытка приводит к разрушению целостности личности Биггера. Сексуальный аспект расовых отношений, и особенно иррациональное опасение части белых мужчин, что их женщины будут взяты черными мужчинами, миф о половой силе черных и тот факт, что многие черные мужчины стремятся к белым женщинам, рассматривая это как средство избежать деградации, — все это широко комментировалось. Здесь я должен только добавить, что значение секса как товара в общей товарной культуре еще не получило должного освещения. Опасения сообщества белых относительно половых отношений между расами является, по существу, отражением весьма неудовлетворительных отношений между полами в сообществе белых, эта проблема не может быть решена до тех пор, пока женщины будут рассматриваться только как объекты секса и символы статуса в мире белых. Все это является еще одним доказательством общего тезиса о том, что проблема черных в нашей культуре является главным образом проблемой белых, — проблемой, порожденной нездоровой экономической и социальной (а также и нездоровыми психологическими отношениями) основой белого сообщества.

IV

Ясный ответ Биггеру Томасу, в каком направлении ему надо идти, был дан Малькольмом Икс. В своей автобиографии и других своих сочинениях, в своей жизни, так же как и в смерти, он показал путь черному народу. Его ответы были не для белых. Он твердо придерживался одной единственной цели — достижения свободы своего народа, и он использовал для этого все доступные и недоступные средства. Малькольм Икс понял, что черный национализм — основной лозунг. Черные были колонизованы белыми, и они должны быть готовы к борьбе за свое освобождение, используя все необходимые для этого средства. Это внушает страх белым, но какой колонизатор не

был напуган, когда замечал, что туземцы беспокойны. Малькольм разработал риторику освобождения. Мы помним урок Фанона о том, что создать язык — значит создать культуру. Слова являются мощным оружием. В течение столетий они использовались для угнетения, а теперь Малькольм будет использовать их, чтобы помочь освобождению. Мы приведем несколько его лозунгов, которые воодушевляют черных людей: «Свобода или смерть!», «Как можете вы благодарить человека за то, что он дал вам то, что уже было вашим?», «Никто не даст вам свободу. Вы — человек и берите ее!»¹

Главной причиной влияния Малькольма явилось простое и бескомпромиссное выражение им требований его народа, направленных в защиту интересов большей его части.

Вторая причина состоит в его глубоком понимании условий жизни своего народа, основанном на его собственном опыте, обогащенном глубокими размышлениями и анализом различных альтернатив. Он всерьез принимал возможность создания черной нации внутри Соединенных Штатов. Эта возможность была для него необходимым отправным пунктом, поскольку она выглядела как адекватный ответ на полнейшее культурное и языковое, как и экономическое и социальное, отчуждение его народа. То, что он пришел к отказу от этого решения, составляет часть его гения. Он был человеком, постоянно растущим, испытывающим и мобилизующим себя по мере продвижения вперед.

Третья причина успеха Малькольма заключается в его решительном отвержении расизма. Первой естественной реакцией угнетенной группы является ненависть к угнетателю. Малькольм признает, что белый человек не должен рассматриваться как вечный носитель и источник зла (взгляд, с которого он начинал как «мусульманин»), он пришел к выводу, что необходимо ликвидировать само общество, делающее возможным существование расизма и основанное на погоне за прибылью. Он пришел к заключению, что понятие «угнетающая нация» не равно понятию «белый человек». Увидев перспективу, он подошел ближе к пониманию значения общей социальной револю-

¹ Malkolm X speaks. Selected Speeches and Statements edited with Prefatory Notes by Geogre Breitman. New York, 1966, p. 34—39; 31, 33.

ции как части того, что необходимо для освобождения его народа. Он не был уже просто другим, очередным черным экстремистом или воинствующим черным, он стал чем-то гораздо более опасным.

Четвертый аспект понимания деятельности Малькольма связан с перенесением им внутренней борьбы его народа на международную арену и активное сотрудничество с африканскими лидерами, которые возглавили успешные освободительные революции в своих странах. Отношения между черными американцами и черными африканцами тем самым поднялись на более высокий уровень, чем гордость за общую культуру, родство и родную землю. Черный американец ныне мог идентифицировать себя с чем-то более значительным, чего у него не было раньше. Он может идентифицировать себя с современной политической властью. Именно существование «третьего мира», которого не было для поколения Биггера Томаса, дало освободительному движению черных основы и традиции, которые, как я доказывал ранее, являются необходимой предпосылкой для значительных фундаментальных изменений.

Следующей важной идеей Малькольма было его утверждение, что борьба должна вестись и основываться на требованиях самых бедных и наиболее угнетенных слоев его народа. Его отказ от черного среднего класса, глубокая любовь к наиболее униженным из его народа и твердая уверенность в том, что борьба должна идти на улицах черного гетто, — все это говорит о его недоверии к либерализму. Малькольм также учил, что причиной того, почему черные живут ничуть не лучше, чем пятьдесят лет назад, является ошибочная линия в руководстве негритянским движением, в наличии лидеров, которые не желают и не в состоянии вести и возглавить борьбу за коренное изменение общества.

Последней значительной фигурой, к которой я должен обратиться, является Леруа Джонс. Его голос громко звучит в наиболее экспрессивной литературе разделенного мира, в котором мы живем. Леруа Джонс выступает с требованием предоставить негритянскому населению право контроля над землей, на которой он живет, будучи загнанными в гетто трущоб больших городов Америки. Он отрицает, что он расист, и я принимаю его отрицание. Он обращается к своим товарищам, чернокожим художни-

кам, а не к белым людям, когда он заявляет: «Роль чернокожего художника состоит в том, чтобы помогать разрушить Америку, которую он знает. Его роль состоит в том, чтобы описать и тщательно изображать природу общества и самого себя в этом обществе так, чтобы другие люди были взволнованы точностью его изображения и если они черные, то становились бы сильнее в своем волнении, видели свою собственную силу и слабость; если же они белые люди, то дрожали бы, проклинали и сходили с ума, поскольку они пропитаны грязью своего зла. Чернокожий художник должен извлекать из своей души верный образ мира.

Он должен использовать этот образ для объединения своих братьев и сестер в общем понимании природы мира (и природы Америки) и природы человеческой души»¹.

Заключение

Я попытался в этой статье посредством сочетания философского и литературного анализа продемонстрировать, что, только используя диалектический метод анализа конкретных антагонизмов жизни и их социологических и психологических следствий, белые читатели могут понять литературу черных.

Диалектический метод дает нам возможность увидеть, что для литературы в разделенном обществе имеются две аудитории, совершенно отличным друг от друга образом воспринимающих смысл и значение литературных образов. Единственным решением этой дихотомии является неразделенное общество, превосходящее то разделенное общество, которое породило эту проблему. Путь к преодолению этой разделенности не будет открыт до тех пор, пока белый человек не осознает необходимости видеть в черных людях людей, а не объекты для манипуляции. Однако белый человек не воспримет этого тезиса, если он не осознает всей своей ответственности за решение данной проблемы, а это в свою очередь станет возможным, когда черные и белые станут действовать сообща во имя радикального изменения общества, которое делает возможным сведение человеческого достоинства на уровень товарного обмена.

¹ Le Roi Jones. Home. New York, 1966, p. 251—252.

К СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГАММЫ

Р. Э. Дэйл

Музыкальной гамме для своего зарождения потребовалось около двух миллионов лет. Сто тысяч лет приходится на период ее, так сказать, латентного развития, вызревания. Около 6 тысяч лет она находилась в детском, юношеском, зрелом и пожилом возрасте, и последние сто лет она умирает. Для большей части современной музыки гамма не является необходимостью и заменена другими структурами или, у некоторых представителей авангардной музыки — аструктурами или даже антиструктурами. Настоящая работа представляет собой попытку развить в самой общей форме методологию для анализа отношений между музыкальными структурами звукоряда и их социоэкономическими матрицами с целью вскрыть значение и подоплеку этого «кризиса гаммы» в наше время.

Гамма — это палитра для мелодической композиции. Именно систематика ограничила тональное пространство утверждением отношений 1:2 (октава) как подлинных. Внутри этого октавного пространства гамма определяет: 1) количество нот в системе, 2) их относительную высоту, отсюда отношения интервалов, и 3) функцию каждой ноты. У неупорядоченной музыки отсутствует хотя бы один из перечисленных признаков.

На определенных стадиях эволюции звукоряда одна нота действует в качестве организующего центра. Мы будем называть такие звукоряды *центрическими*. Хотя история образования гаммы являет собой, по-видимому, сменяющие друг друга центрические и ацентрические тенденции, ее движение все же отличается от движения маят-

ника. Аналогичным образом Яссер¹ прослеживает развитие гаммы с древнейших времен как утверждающийся арифметический континуум последовательности используемых нот. Однако было бы явной числовой магией пытаться наделять эти серии свойствами внутренней и неизбежной логики, как это делает Яссер. Наше последующее изложение представляет собой альтернативу подобным *априорным* взглядам: мы предполагали дать очерк истории звукоряда в его динамической взаимосвязи с общественными изменениями.

I

Досистемность. Отсутствие системы: звуковая сигнализация в эпоху появления человека

Человек отличается от всех других живых существ социальным характером своего бытия. Это значит, что он зависит от обучающей и планирующей кооперации индивидов в группе. Недифференцированный характер ранних форм человеческой кооперации в культурах бродячих стаи австралопитеков и *Homo erectus* выражался в относительно неразвитых формах общения. Мы полагаем, например, что, прежде чем музыка и язык развили свои собственные отдельные формы, они имели общего единого предка: звуковую сигнализацию, главная социальная функция которой заключалась в том, чтобы сделать возможным сотрудничество людей в обеспечивающей их жизнь охотничьей и прочей деятельности.

Звуковая сигнализация, возможно, выражалась точно так же, как современное детское общение, посредством прямых синэстетических соответствий между опытом и сигнализирующим сознанием. Мы не можем говорить, однако, в данном случае о музыке, а только о музыкальной гамме. Единственная первоначальная структурная дифференциация, которая может быть здесь установлена, — это не явная двухполюсность типа зов — отклик.

¹ J. Yasser. A Theory of Evolving Tonality. N. Y. The American Library of Musicology, 1932.

В общем для нижнепалеолитической жизни и музыки были характерны такие черты, как: недифференцированность, неструктурированность, непосредственность, интуитивность и подражательность.

Первая систематика: дитональная ацентричность и развитие самосознания

Переход от бродячих стай к первым родовым культурам (к неандертальцам) определил биокультурную эволюцию первых видов, которые действовали на лоне природы с сознанием своих действий. «Я» отделился от «не-Я» как первичная *дихотомия* на заре человеческого сознания. Более конкретно дихотомия была выражена в половом разделении труда, поскольку охота на крупных животных стала преобладающей экономической деятельностью и особой сферой мужщины, тогда как последующее развитие процесса социализации удлинит период человеческого детства и усилило материнскую роль женщины.

Дитонализм был, по-видимому, типичным музыкальным выражением этой эпохи дихотомического человеческого сознания¹. Об этом свидетельствуют и данные, относящиеся к неопалеолитическим культурам, таких, например, народностей, как ведды, ифалуки, фуэджийцы, молукко, бушмены, патагонцы, лаппы и эскимосы².

¹ С точки зрения музыки прародитель дитонализма уходит в глубь веков более чем на миллион лет к структурам типа зов — отклик австралопитеков. Функционально дитонализм является, по-видимому, первой формой магической структуры заклинания души в палеолитических церемониалах. В плане культуры он, по-видимому, являлся тональным обрамлением дихотомии между речью как логикой и первоначальной наукой и музыкой как эмоцией и первоначальным искусством. В то же время дитонализм противоречит своей собственной роли как антитезы речи и логике, являясь тональной *систематикой*. Эта внутренняя самопротиворечивая природа музыки дожила до наших дней. Только очень ранние беспорядочные напевы примитивных людей и современная алсаторная музыка не выражают этого внутренне противоречивого характера музыки.

² См.: Curt Sachs. The Wellsprings of Music., p. 24, 59, 60, 62, 125, а также: M. Schneider. Primitive Music. — In: Ancient and Oriental Music, New Oxford History.

Многочисленные примеры *двухтоновой* музыки раскрывают большое разнообразие интервалов между двумя тонами. Здесь возникает вопрос о том, имеется ли какое-то значение в отдельных случаях интервалов, выражаемых в каждом данном двухтоновом образце. Сознательный выбор тех или иных интервалов должен подразумевать наличие квантификации как в жизни, так и в мысли. Такое развитие, однако, было единичным, отсутствующим до прихода цивилизации¹. Мы полагаем, следовательно, что размер интервала в двухтоновом случае был, по-видимому, синэстетическим выражением родового отношения к природе. Например, «геологические условия обитания, плоские или гористые, широко открытые или замкнутые, и иногда даже его климат»² могут быть ответственны за отдельные предпочитаемые интервалы между тонами.

**Досистемная
центричность:
трехтоновость
и шаманизм
как выражение единства**

Развитие охотничьих сообществ людей донеолитического периода привело к половому разделению труда и обнаружило недостаточность индивидуального усвоения социального целого. При этих условиях одно лицо осталось за пределами специализированной экономической деятельности, с тем чтобы играть своего рода центростремительную и интегрирующую роль в племенных отношениях, служить связующим звеном между двумя специализированными группами внутри племени, а также между племенем и природой. Речь идет о племенном шамане или знахаре. Эта новая центростремительная функция стремилась выразить себя интуитивным введением *третьего* тона в исполнение церемониальной музыки в которой шаману отводилась ведущая роль.

¹ Отношение между квантификацией и цивилизацией обсуждается нами позже в разделе: «Первые гаммы: ацентричная пентатоника в древних водных цивилизациях».

² Curt Sachs, op. cit., p. 62.

Итак, первобытный человек, до того как у него развилось более абстрактное мышление, интуитивно конкретизировал свои социальные условия и этим путем усваивал их. Этот тезис согласуется с исследованиями Закса, который полагает, что музыкальная центричность имеет свои источники в «двушаговых слоях», то есть в трехтоновых песнях. Он приводит примеры из центральной Новой Гвинеи¹, а также лаппов² и кашубов³.

Особой формой выражения единства двух тонов через третий явилось использование связки (лигатуры). В первобытной музыке Индии, например, два первичных элемента, пазванных *удатта* и *анудатта*, соединялись посредством их связки, называемой *сварита*.

Эта трехтоновая система представляет вторую эпоху мелодической организации, но, однако, еще не составляет гамму (даже с учетом того, что здесь, по-видимому, имеется дифференциация функций, включая тональную центричность), поскольку она является скорее открытой, чем закрытой (т. е. содержащей октаву) системой. Кроме того — и это более существенно, — гамма представляет собой рационализацию мелодии, но тритональная музыка развивается скорее интуитивно, чем посредством теории или сознания.

Конкатенация и тотемизм в палеолитические времена

Успешное использование агротехники в течение длительного периода приводило, при благоприятных условиях, к 1) росту населения, 2) растущей специализации труда, 3) примитивному торговому обмену. Обмен между первобытными племенами давал дальнейший толчок для увеличения количества и типов трудовой деятельности. Например, земледелие, охота, война и обмен обычно становились связанными между собой агглютинативными подразделениями внутри целостного племени или между

¹ Ibid., p. 171.

² Ibid., p. 168.

³ Ibid., p. 174.

племенами. Связь между племенами стала выражаться в развитых отношениях родов, семей и фратрий, регулируемых системой тотемов и табу. Словесная агглютинация возникла как типичное структурное средство превращения речи в язык. Музыка также развивала агглютинативные формы соединением трех, четырех, пяти и более соответствующих интервалов. Эти цепи, часто называемые также конкатенациями, встречаются среди наиболее дифференцированных первобытных социальных организаций.

II

Системность: возникновение гаммы и цивилизации

Аффикс как бифокальный прелюд к тотемической культуре и западной цивилизации

Аффикс есть дополнительный тон с вспомогательной функцией. Как мы полагаем, аффикс мог возникнуть под влиянием двух очень различных социальных условий. Одно из них есть переход к конкатенации. Еще до периода полного развития дополнительной специализированной деятельности, о которой мы уже упоминали выше, такая деятельность вполне могла существовать как нечто побочное, причем становящаяся последовательность фаз такой, например, деятельности, как земледелие, могла найти свое интуитивное выражение в добавлении *третьего* тона, не имеющего, однако, полного статуса. Дополнительный тон мог впервые появиться как «супрафикс» (выше верхнего тона) или как «инфрафикс» (ниже нижнего тона) и в более поздние времена утвердился с полным статусом конкатенации. Примеры аффиксов в качестве до- или полуконкатенации можно найти в музыке цейлонских веддов, колумбийских индейцев утитото, бучков с Соломоновых островов, среди аборигенов западной и северной Новой Гвинеи, африканских баконго, индейцев беллакула и индейцев екуана Бразилии.

В противоположность этому второе условие возникновения аффикса связано с развитием иерархических общественных систем. Переход в Древней Греции от племенной жизни к цивилизации сопровождался распадом общинных и эгалитарных отношений и введением рабства. Средством навязывания новых несправедливых отношений, которые стали характерной чертой всех сторон социальной и экономической жизни, стало принуждение. Культурные феномены стали приобретать иерархические формы. Агглютинативный язык, например, становился флективным, устанавливающим иерархию слов посредством грамматики.

Можно думать, что аффикс был, по-видимому, наиболее ранней формой иерархизированного музыкального выражения. Впервые один тон получил *постоянный* подчиненный статус в отношении к другим тонам. Как таковой, он может рассматриваться как прародитель всех центрально-организованных гамм, которые устанавливают преобладание одного тона.

Первые гаммы: ацентричная пентатоника в древних иригационных цивилизациях

Разница между племенной жизнью и цивилизацией заключается в таком развитии экономической деятельности, которая производит прибавочный продукт сверх непосредственных нужд потребления. Первые общества, достигшие этого уровня, сложились в долинах рек, где было возможно создание систем искусственного орошения, а следовательно, и высокая продуктивность земледелия. Координация такой сложной экономической деятельности требовала как абстрактного, так и конкретного освоения понятия целого и его частей: рационализация и вычисление становились предпосылкой жизнедеятельности людей.

Рационализация музыки есть функция рационализации общества и, следовательно, встречается там и тогда, где и когда развивается цивилизация. Гамма есть первая рационализация тонов. Как таковая, она характеризует-

ся органическим единством, предсказуемостью количеств частей в целом и определенном соотношении частей. Целое образуется установлением отношения 1:2, замыкающим музыкальное пространство по двум причинам. 1) это отношение представляет самое близкое отношение в обертоновых рядах, следовательно, обеспечивает акустически более тесную близость между двумя тонами, чем между двумя другими, и 2) это расстояние приблизительно определяет ненапряженную границу для естественно-го человеческого голоса.

Вычисление в музыке начинается с числа *пять*. Все ранние цивилизации развивали пентатоническую¹ гамму: Китай, Месопотамия, Египет, Индия, Крит, так же как общества во всей Западной и Центральной Азии, Африке, Северной, Центральной и Южной Америке и Европе².

Число пять не было только «музыкальным» числом. Согласно древним китайцам, например, вся вселенная была разделена на пять частей: имелось пять небесных тел, пять элементов, пять направлений, пять чувств, пять органов тела и т. д. Почему пять?

Путь от интуиции к вычислениям не мог быть легким. Ясно, что здесь должна была появиться потребность в достаточно доступной конкретизации счета, и здесь человеческое тело дало универсальную пятипальцевую систему.

Древние цивилизации в долинах рек вначале развивались как гигантские общинные, эгалитарные общества в противоположность раннему периоду западной цивилизации в Греции, которая началась как конкурентное хозяйство, основанное на рабском труде. Заметим, что мелодии в пентатонных гаммах этих древних цивилизаций в противоположность ладовым гаммам классической Греции могли начинаться и кончаться любым тоном и все тона имели более или менее одинаковое значение³.

¹ Названную Яссером «инфратональностью».

² Можно заметить совпадение между первыми местонахождениями возделываемых растений и сферой пентатоники. Ср.: *Benese Szabolcsi. A History of Melody. New York, 1965, p. 6* (карта Н. Вавилова) и p. 22 (карта Szabolcsy).

³ См.: *Scabolcsi, op. cit., p. 37.*

Тетрахордная центричность и развитие частных эмоций и собственности в гомеровской Греции

Развитие частной собственности в Древней Греции постепенно разрушало прежнее единство личности и общества и общинное сознание племенного человека. Разрыв между индивидом и общностью выразился в виде феномена отчуждения и самоотчуждения, породив замкнутые в себе эмоции поэтов, которые «искали одиночества, чтобы дать свободный выход своим мыслям и чувствам»¹.

В древней музыке типичным способом придания мелодии эмоциональной окраски было украшение ее четвертью тона. Курт Закс предположил, что древнейшие греческие тетрахорды вышли из трех главных пентатоник (то есть ноты А, F, E из пентатоники А, F, E, D, C) рассечением полутонов (E-F) с четвертьютоновым украшением и устранением D и C. Получившиеся *четыре* ноты образовали *энгармоническую* модуляцию, которая, согласно Аристоксену (хотя в одном пункте он противоречит себе из-за своих собственных предрассудков, мешавших ему полностью принимать факты), есть древнейший греческий тетрахорд. Эта эмоционализация гаммы хронологически и феноменологически соответствует переходу от эпической к лирической поэзии², философскому «открытию» души³ и превращению языка и мышления в отчужденные формы⁴.

¹ Bruno Snell. *Poetry and Society*. Indiana Univ. Press, 1961. Об эстетических взглядах древних греков см. также мою статью «Будущее музыки. Исследование эволюции форм». — «*Journal of Aesthetics and Art criticism*», XXVI, 4, 1968.

² Op. cit.

³ См.: Alban Winspear. *The Genesis of Platos Thought*. N. Y., 1940, p. 63.

⁴ См.: Bruno Snell. *The Discovery of Mind*. Harv. Univ. Press, 1953.

От эмоциональной асимметрии к статике после гомеровских времен

В гомеровские времена рабами становились лишь чужеземцы. В седьмом и шестом веках до н. э. постепенное порабощение и увеличивающаяся эксплуатация когда-то свободных граждан вынудили аристократию искать доводы, которые могли бы оправдать их привилегированное положение и доказать независимость имеющегося порядка вещей. В шестом веке задолженность, грозящая рабством, достигла такой величины, что Афинам угрожал бунт, и Солон обнародовал свою программу «нового курса». Борьба между правящими и угнетенными отразилась в общественном сознании того времени в виде противопоставления эмоциональности «закону и порядку». Пифагор со всей ясностью раскрыл свои пристрастия, когда сказал, что «чувство — ненадежный вожатый; число не может обмануть». В данном случае он выступил в роли идеолога, выразившего точку зрения аристократии, в соответствии с которой он устанавливал математические основания и точные методы для измерения гаммы. Эпгармоническая модуляция, выражая эмоциональные переживания угнетенных, продолжала петься народом в его фольклорной музыке, тогда как аристократия искала более статичных и контролируемых форм. Они были найдены вначале в хроматической гамме (А, Ыб, F, E), а в пятом веке до н. э. в симметрии диатонической гаммы (А, У, F, E). Во времена Аристоксена, в четвертом веке до н. э., теоретики и исполнители из аристократии допускали только диатоническую гамму.

Древняя гептатонная ладовая центричность в VII в. до н. э.

Терпандр в VII в. до н. э. ввел 7-тоновую гамму, добавив два связанных тетра хорда. Соединение двух тетра хордов — это процесс, который до некоторой степени подобен описанному ранее образованию примитивных конкатенаций. Развитие греческого полиса и более широкой и слож-

ной социальной структуры нашло свое выражение также и в расширенном тональном словаре. Рационализация жизни ведет здесь, как и на Востоке, к органической, замкнутой и ограничивающейся октавой системе.

В противоположность, однако, асимметрии пентатонной гаммы 7-тоновая *диатоническая* гамма греков обладает симметрией в двух главных направлениях: 1) в соединении двух тетрахордов одной и той же структуры и 2) в упомянутом ранее превращении эмоциональной, энгармонической, в «стабильную», диатоническую, гамму. Тем самым внутренняя структура самого тетрахорда стала менее динамичной.

Великая совершенная система «золотого века»

В пятом веке до н. э. повторились все несправедливости шестого, причем в более резкой форме. Для неразрешимых проблем консервативные философы предлагают идеалистические решения. «Государство» Платона было идеальным для тех, кто жаждал нового порядка, в смысле установления полного контроля и «стабильности», который на самом деле был не чем иным, как идеализацией старого.

«Великая совершенная система» была выражением в гамме этого идеала. Снова система была расширена (теперь до 15 тонов) повторением основных семи и добавлением *прослаббаноменос*, 15-го тона, но в отличие от афинского общества она не была перенапряжена.

Это была «совершенная» система, построенная вокруг одного неменяющегося главного тона, названного *mese*.

В пятом веке *энгармоническая* и *хроматическая* гаммы не только преданы забвению, существуя лишь как воспоминания о древней, больше не исполняемой музыке, но и различные *диатонические* гаммы уступили власти дорийского лада. Более поздний сдвиг к *mese kata dynamis*, или «подвижному центру», был не изменением гаммы, но только транспонировкой дорийской октавы. Итак, «великая совершенная система» обеспечила тот уровень стандарта, контроля и статичности, которые вместе с платоновской философией снесли как раз то «золотое яйцо», которого не смог в реальности произвести «золотой век» Греции.

Путь к тональности:

I. Гексахордная система Гвидо как подпорка старому и прелюдия нового

Средние века были переходным периодом. Борьба между старым и новым принимала разные формы. Социальные, экономические и культурные предписания феодализма постепенно входили в противоречие с общественным развитием, становясь чем-то все более механическим для тех, кто принуждался усваивать их, требуя для этого создания своего рода системы «узелков на память». Гексахордная гамма Гвидо XI века не была новой гаммой, но остроумным запоминающим устройством, распознающим высоту тоновых конфигураций, которые больше не были естественным музыкальным выражением жизни тех членов хора, которые должны были заучивать их.

Не являясь новой гаммой, гексахордная система служила переходной формой в двух смыслах: 1) она дала технику для сдвига тонального центра, 2) серии *ut-re-mi-fa-sol-la*, которые Гвидо вывел из гимна св. Иоанна, определяют интервальные отношения для первых шести тонов нашего *главного* лада (ионийского и миксолидийского ладов во времена Гвидо). В обоих случаях гексахорд представляет начальную стадию в развитии тональности. Само же это развитие стало возможным вследствие того, что социальные предпосылки тональности существовали в зародыше в IX, X и XI веках и были связаны с образованием городов, а также с зарождением системы свободного труда ремесленников в Северной Европе.

Путь к тональности:

II. Доминант-финальные отношения как выражение целенаправленного движения

В IX веке н. э. начался усиленный уход из «перенаселенных» феодальных поместий. В Европе постепенно образуются города. Ремесленное мастерство, накопленное в поместьях, нашло свое применение в условиях новой

социальной динамики, характеризуемой высоким уровнем обмена и роста. Новые индивиды могли воспринимать и воспринимали социальные и экономические перемены как процессы направленного движения к достижимым целям. Завершение процесса было следствием активности самого процесса, и именно эта конечная цель оправдывала и в конечном счете определяла само движение.

Как раз в IX веке н. э. в *Musika Enchiridis* мы находим первое свидетельство возникновения новой концепции финальной ноты как детерминанты лада всей пьесы. Это была новая идея, поскольку *финалы*, которые определяли ключевые центры, были совершенно неизвестны в древнегреческой теории. Вторая нота, доминанта или тенор, которая действует как стержневая повторная нота, образует противоположность *финалу*, так что движение к финалу может быть определено как направленное и целевое. Все другие тона дают два вида движения: 1) украшающее движение, которое удлиняет и характеризует сам процесс, и 2) направленное движение к назначенной точке: *финал*¹.

Гептатонная тройственная ацентричность: XVI в., Возрождение, хроматизм как радикализм

Шестнадцатое столетие было ареной битвы между новыми силами капитализма и старым феодальным строем, который упорно не желал сходить со сцены еще долгий период времени после того, как история выдвинула лучшие альтернативы. Феодальная власть продолжала сопротивляться капитализму как экономической системе, сопротивляться протестантизму как религиозному сознанию капитализма, Коперниковой науке как его интеллектуальному выражению и сопротивляться хроматической музыке как его эмоциональному содержанию. Окегем, Гомберт и Палестрина подчинялись требованиям церкви в сфере тональности, тогда как Дюфаи, Жоскин, Гезуальдо и позд-

¹ Идеи Генриха Шенкера о мелодической функции применимы ко всем мелодиям с того момента в музыкальной истории до XX в., когда атональность развилась в новую форму.

ний Фрескобальди исследовали новые тональные миры. В Нидерландах инквизиция принудила хроматизм в музыке уйти в подполье. Его сторонники вынуждены были использовать «невинную» нотацию, применяя в то же время тайный хроматический код для действительного исполнения¹.

Противодействие церкви хроматизму, выразившееся в весьма разных формах, можно рассматривать как следствие осознания тройной угрозы: 1) хроматизм представлял чувственность, светскость и, следовательно, не был обязательно связан с религиозным содержанием, 2) хроматизм выражал сферу весьма подвижной и изменчивой гармонии, он представлял новую зарождающуюся тональность, являющуюся вызовом авторитету канонической церковной тональности, 3) ослабляя строго ладовые пути, хроматизм выражал тональную неустойчивость, которая была, по существу, открытым и радикальным комментарием нестабильности, беспорядка и неуверенности, вызванных, с одной стороны, распадом старого экономического уклада, растерянностью и замешательством феодалов, а с другой — беспощадностью новых экономических сил.

**Тональность:
объективная
центричность в музыке
и науке как выражение
товарного характера
жизни XVII в.**

Превращение сельскохозяйственной феодальной экономики и ремесленного труда в капитализм придало всем сторонам жизни товарный характер. Все большая абстрактность мышления и все большее отчуждение эмоциональной сферы отражали процесс усиливающегося овеществления. Новый человек больше не был антропоцентричным. Коперниковская теория мироздания заменила прежние геоцентрические взгляды. В музыке превращение ладовости в тональность означало возникновение равно-

¹ См.: Edward Lowinsky. The Secret Chromatic Art in the Myherlabd Moted, New York, 1946.

правных отношений всех ключей. Полифония открыла путь гармонии, неизбежному компоненту тональности. Движение голосов больше не определялось характером мелодического движения или непосредственными «контрапунктными» (то есть отдельная нота против ноты) отношениями, а объективно существующей гармонической структурой и движением, из которых все части выводят свое значение и направление. И именно эта объективно действующая гармоническая система усилила гравитационное притяжение тонального центра (используя образы Ньютона), создав тем самым максимум условий центричности или, если угодно, тонального припущения.

В то же время это максимальное гравитационное тяготение тонального центра выражало новую динамику. Осознание абстракций движения и превращения стало характерной особенностью именно XVII века, когда уровень обмена и производства принял количественные черты. Ньютон и Лейбниц создали новую математику для выражения изменяющихся явлений — дифференциальное и интегральное исчисление. Гармония и тональность выражали теперь тональные превращения. Музыка стала выражать развитие.

Равномерно темперированный строй и взаимозависимость в музыке и жизни XVIII в.

Новый уклад жизни XVII века требовал двух взаимосвязанных друг с другом свобод: свободы передвижения и свободы обмена. Не удивительно поэтому обнаружить у Декарта утверждение, что материальная действительность имеет два главных качества: протяженность и движение.

Выше уже было указано, что в музыке эти качества связаны с тональностью и гармонией. В XVIII веке экономическое и политическое развитие капитализма привело к тому, что была окончательно разрушена местная замкнутость, которая уступила космополитизму. Стандартизация машиностроения и образования создала условия для взаимозаменяемости, которая полностью отразилась в музыке XVIII века в равномерно темперированном строе. Дух равенства создал единую систему, которая допускала

возможность модуляции в любом ключе. Прежняя гамма и ключевые ограничения были заменены органичной, стандартизированной и взаимозаменяемой системой.

Хроматическая тональность как радикализм XIX в., вылившийся в утрату иллюзий

Индустриализация в середине XIX в. обострила социальные антагонизмы и привела к возникновению в ряде стран Европы предгрозовой революционной ситуации.

Композитор выражал свой протест так же, как и три столетия назад, — снова вернувшись к технике эмоционализации гаммы посредством хроматизма.

Многие художники и интеллектуалы, жившие мечтами о революции, утратили их после поражений 1848 года. Типичным примером здесь может служить творчество Вагнера. Его знаменитый цикл «Кольцо Нибелунгов» начинается «Золотом Рейна», резкой символической критикой капитализма¹, и заканчивается разочарованием в «Сумерках богов».

Травма общества отразилась и на тональности. Хроматизм, который помог выпестовать тональность в XVI в. и который расширился и усилился в XVII и XVIII вв., стал в конце XIX в. средством для ее разрушения. Вагнеровский хроматизм знаменовал собой начало упадка тональности в музыке.

III

Постсистемность: социальный кризис и падение гаммы. Сумерки полного тона

Временное разрешение экономического кризиса конца XIX в. было найдено в империализме, который, выражая безудержные колониальные притязания капитализма, на

¹ См.: E. Shaw. The Perfect Wagnerite. London, 1923.

какое-то время стабилизировал обстановку в Европе и Соединенных Штатах. Кризисные явления оказались в известной степени замаскированными и не затронули такой вид искусства, как, например, литературу. Музыка, однако, как более интуитивная форма художественного выражения, обнаружила признаки распада. Конструкция полных тонов Дебюсси, например, является, по-видимому, первой нонскалярной структурой с первобытных времен. При использовании серии равноотстоящих нот дифференциация компонентов серии невозможна, если не применять классические гармонические или ассоциативные мелодические средства. Тональность также опровергается устранением ее ядра: квинтовых отношений — и разложением центрических тенденций, основанных на интервальной дифференциации. Дебюсси еще больше потряс классическую тональность, используя аккордный параллелизм, педальные удары как поддержки гармонической прогрессии и поддерживая битональность использованием девяти аккордов. Только сохранение им главных элементов установленного гармонического порядка давало основание думать, что традиционная гамма, после того как она была структурно расшатана, все еще существует. Аналогичным образом колониальная экспансия капитализма порождала иллюзию, что капиталистический экономический порядок все еще эффективен, хотя на самом деле был уже поражен неизлечимой болезнью.

**Упадок гаммы:
политональность,
атонализм, адодекафония
XX века**

Мощные социальные порывы XX века вскрыли экономический и социальный кризис старого уклада жизни. Распад традиционных художественных форм стал одновременно выражением социального банкротства капиталистической системы и сопровождался процессом «расчистки» места для новых форм, источник которых лежит в общественных изменениях.

Двенадцатитоновым рядом Ауэра и Шенберга в самом начале столетия и множеством музыкальных экспериментов последних лет, в частности в США, гамма была раз-

рушена, оспорена, заменена альтернативными структурами и антиструктурами.

Атональность в наше время представляет собой наиболее важную форму противодействия гамме. Было уже указано, что, наподобие древней пентатоники, додекафония устанавливает равенство тонов. В этом смысле атональность может рассматриваться как выражение утопичности. Однако *пентатоническое* равенство было естественным выражением общинной жизни, а следовательно, общепонятной и воспринимаемой коммуникацией. Атональная музыка есть утверждение равенства в социальном контексте неравенства. Чтобы преодолеть нашу склонность слушать музыку тонально, двенадцатитоновая система утверждает равенство отрицанием большей количественной роли каждого тона посредством предопределенной равной циркуляции среди всех двенадцати. Поскольку это искусственно предложенное равенство, музыка не оказывает на слушателя непосредственного воздействия как, скажем, древняя пентатоника, а оказывается доступной лишь узкому кругу слушателей.

Однако атональная музыка также указывает нам будущее, и не только благодаря своей «расчищающей» функции. Поскольку структура каждого произведения определена единственным рядом тонов, здесь налицо тот вид совпадения между формой и содержанием, который можно обозначить как «композиционную спонтанность». На первый взгляд жесткая, в некоторых отношениях серийная композиция в этом смысле дает нам средства преодоления закрепощенной природы традиционных музыкальных форм.

IV

Заключение

Отрицание гаммы есть один из аспектов атональности. Вместе с атематизмом и аритмизмом оно означает преодоление жестких канонов классицизма и дает нам тем самым возможность взойти на новую, более высокую ступень музыкальности. Высшая ступень развития гаммы названа Рети¹ «пантональностью» и Яссером² — «сверх-

¹ R. Reti. *Tomality, Atonality, Pantonality*. New York, 1958.

² J. Yasser, *op. cit.*

тональностью». Каковы же те социальные источники, которые создадут основу для превращения противоречия тональности и атональности в будущий тональный синтез?

Век привилегий — будь то личные, сословные, классовые или национальные — близится к концу. Организация социальных институтов в виде основанных на принуждении иерархических систем больше не имеет под собой никаких разумных оснований в мире, в котором изобилие должно заменить бедность, всеобщие знания и образование — массовую безграмотность, демократия — бюрократию, человечность — себялюбие и производство для общественного блага — производство для личного обогащения.

Что произойдет с человеческим сознанием, человеческой личностью, когда власть меньшинства будет заменена новой социальной динамикой, в которой движение целого будет определяться взаимодействием свободных, творчески раскрепощенных, сотрудничающих между собой народных масс? Будут ли в таком случае наши музыкальные мысли воплощаться в центральных зависимостях?

Но разве мы не должны рассматривать саму атональность как временное явление? Если человеческий дух отвергнет эти зависимости, если он провозгласит равенство и добьется его, будем ли мы продолжать выдвигать лозунги битвы, которая уже выиграна? Уничтожив социальную несправедливость и патологическую погоню за выгодой, мы будем свободны быть самими собой. Мы будем свободны давать и брать, проявлять свою активность и следовать за другими, создавать свое и наслаждаться творческими созданиями других. Наши умы, как можно предположить, будут склонны развивать такие организационные формы, в которых подвижные центры будут как определять, так и получать свои потенциально активные роли от органичного, постоянно растущего целого.

Пан- или сверхтональность могут выражать как раз такие гибкие условия. Что же касается атональности, то отсутствие социального неравенства сделает ненужным отстаивание ее стерильной аморфности, поскольку различия между людьми больше не будут иметь характера привилегий.

Итак, рассуждая в русле идей Яссера и Рети, мы попытались очертить социомузыкальную динамику для будущей конструкции новой музыкальной гаммы. В отличие от ситуации, в которой методическая функция определя-

лась тональностью (музыка XVII в.) или, напротив, тональная функция определялась методическим решением (музыка с древних времен до XVI в.), в настоящее время перед нами открывается перспектива взаимопроникновения пантональности и мелодико-гармонического действия, т. е. формы и содержания, структуры гаммы и музыкального движения. Структура новой гаммы больше не будет предписываться, но будет возникать из самого материала и превращений, вызванных самим музыкальным движением.

Представляется также весьма вероятным, что по причинам, аналогичным тем, которые вызвали к жизни примитивные конкатенации или развитие древнего греческого гектахорда из тетрахорда¹, произойдет расширение тонов из 12-тоновой системы.

Вернемся, однако, к современному кризису гаммы.

Развитие гаммы со времени древних греков следует рассматривать в контексте социального опыта эксплуататорского общества, который направлял это развитие в сторону все более сложных форм, к рационализации и отчуждению. Это развитие, как социально, так и музыкально, оспаривается радикализмом XX века. Сегодня мы являемся свидетелями распада принудительных форм социального бытия. На нас лежит историческая миссия действовать в качестве повивальной бабки, способствуя рождению новой коллективности в ее современной форме — не племенной, но всеобщей. В этот критический момент истории мы стоим на распутье: одна дверь ведет к освобождению, другая — к страданиям. Ключ, который мы ищем, лежит в развитии нашей сознательности и перестройке наших социально-эмоциональных структур. Если нам не удастся изменить самих себя в процессе изменения общества, то никакого изменения не произойдет вообще.

Музыка, поскольку она является абстрактной структуризацией эмоций, не только выражает наши чувства и формы наших социальных взаимозависимостей: она может также помочь вдохновить и сформировать их. Платон и Аристотель признали это в принципе *этоса*.

Поэтому следует отвергнуть обе противоположные тен-

¹ Для более подробного обсуждения будущего музыкальных структур см.: Dale, op. cit.

денции в современной практике построения гаммы: тенденция, опирающаяся на использование в неизменном виде структур XVIII и XIX вв., есть не что иное, как попытка сделать музыку своего рода средством успокоения, как попытку заставить нас рассматривать неурядицы нашей жизни лишь как некое психологическое неудобство, от которого можно избавиться, мысленно вернувшись в утопическое прошлое. Но только наша готовность и способность противостоять трудным реальностям и изменять их могут отвести грозящие нам потенциальные бедствия, которые коренятся в кризисных условиях нашего времени. Продолжать использовать классические структуры сегодня — это значит гипнотизировать наши чувства и культивировать самообман. Что же касается отрицания гаммы, которое имеет место у представителей антиструктурного авангарда, то оно есть, по сути, отрицание человеческого сознания, попытка тем самым лишить нас даже средств, которые могли бы привести к освобождению.

Обе эти тенденции ведут к личному и общественному параличу и, следовательно, в лучшем случае, никак не соответствуют современным требованиям к музыкальному выражению.

Для того чтобы постулировать те или иные структуры гамм, необходимо определить конкретные условия сочинения и исполнения. В этом случае проблема выходит за рамки музыковедческой теории и относится уже больше к стратегии композиции. Эти вопросы, как мы считаем, также могут и должны рассматриваться на основе использованной нами методологии, однако они далеко выходят за рамки данного исследования.

Среди авторов статей, опубликованных в данном сборнике, советский читатель встретил имена, которые ему давно и хорошо известны. Их работы неоднократно издавались в нашей стране и получили высокую оценку советской общественности. Это Г. Аптекер, Джон Сомервилл, П. Кроссер, Б. Данем, Г. Парсонс, Г. Уэллс. Всему миру известно имя активного борца за гражданские права негров Анджелы Дэвис.

Читатель познакомился и с теми прогрессивными мыслителями США, имена которых пока еще мало известны широкой общественности в нашей стране — Р. Коэн, М. Вартофский, Д. Дегруд, М. Франклин, Б. Аптекер, Д. Рипп, Г. Роджерс, К. Фан, Р. Хиршбайн, У. Коппелман, Р. Дэйл. Число прогрессивных мыслителей в США 70-х годов неуклонно растет и, разумеется, было бы невозможно представить всех их в одном или даже нескольких сборниках.

Наличие в сборнике весьма широкой и разнообразной тематики довольно точно отражает действительное положение дел и является в какой-то степени типичным явлением. Современные прогрессивные мыслители США, как и в других капиталистических странах, часто лишены возможности заниматься излюбленной узкой теоретической темой и в кабинетной тиши разрабатывать ее вглубь. Кроме того, прогрессивная общественная мысль в этих странах развивается в условиях ожесточенной политической борьбы с господствующими там буржуазными политическими, социально-экономическими и философскими идеями, задаче защиты и распространения которых подчинена вся гигантская машина идеологической пропаганды

правлящих классов. Эта борьба носит сложный и многогранный характер, ставя все новые актуальные вопросы, на которые необходимо давать ответы. Число специалистов, однако, далеко не соответствует многочисленности проблем, подлежащих освещению и решению с марксистских позиций. Наконец, реальная взаимосвязь различных сторон общественной жизни такова, что будь то вопросы внешней или внутренней политики, мира и классово-вой борьбы, экономический и финансовый кризис, рост безработицы, переоценка политических идеалов, проблемы неокOLONиализма и расизма, молодежные и радикалистские движения, борьба за гражданские права, положение женщин, кризис городов и злоупотребление наркотиками — все эти вопросы сегодня настолько тесно переплетены, что исследование любого из них немедленно вызывает цепную реакцию, настоятельно требуя многостороннего междисциплинарного подхода к их рассмотрению. В большинстве теоретических исследований современных американских прогрессивных мыслителей это обстоятельство отражается не только в критической заостренности их работ, но также и в комплексном характере анализа.

Американские мыслители, представленные в данном сборнике, — друзья Советского Союза. Многие из них — активные участники движения сторонников мира. Советским философам и социологам неоднократно приходилось встречаться с ними и работать вместе как в США, так и в Советском Союзе, на международных конгрессах, симпозиумах, в лекционных аудиториях и научно-исследовательских институтах. При этом нередко случалось и так, что открытое проявление симпатий к Советскому Союзу требовало определенного мужества и твердой убежденности. Наши американские коллеги нередко выступали с инициативой проведения различных двусторонних и многосторонних профессиональных встреч, которые укрепляют дружеские связи.

Вот уже много лет успешно действует в США созданное по инициативе Дж. Сомервилла, П. Кроссера, Г. Парсонса и других американских философов Общество по изучению диалектического материализма. Цель Общества — обсуждение философских проблем марксизма, расширение круга и умножение числа «друзей марксизма в США», создание реальных возможностей для американской философской общественности, в том числе и студенческой

молодежи, получить представление о философии марксизма от самих марксистов, из «первых рук», а не черпать их из сочинений разного рода «марксологов» и «интерпретаторов», основная цель которых — извратить существо этого великого революционного учения. Большинство авторов данного сборника — активные деятели этого Общества. Некоторые из них, кроме того, проводят большую работу в Американском институте марксистских исследований, которым руководят Г. Аптекер и Р. Коэн.

Разумеется, не во всем можно согласиться с авторами сборника. Разногласия возникают и среди марксистов. Правда, разногласия разногласиям рознь. Речь идет о творческих дискуссиях в рамках четко очерченных научных принципов.

Научные дискуссии — это необходимый источник научного прогресса. И если верно, что творческие идеи рождаются в спорах, то верно и то, что действительно новая творческая идея не может вызывать споров.

У читателя может возникнуть вопрос, почему представленные в сборнике прогрессивные мыслители США не всегда открыто называют себя марксистами? Почему, например, профессор Сомервилл, оценивая статьи данного сборника, пишет, что «о марксизме нельзя сказать в качественно абсолютном смысле, что он или целиком присутствует, или целиком отсутствует в той или иной работе» (стр. 7 настоящего издания). Почему такой тонкий наблюдатель жизни, как Б. Данем, блестяще владеющий пером сатирика-публициста и хорошо известный советским читателям как автор интересных работ — «Человек против мифов», «Гигант в цепях», «Мыслители и казначей», на вопрос, считает ли он себя марксистом, отвечает: «Это все равно, что спросить, являюсь ли я добродетельным. Я могу лишь сказать, что стараюсь им быть» (стр. 155).

Е ли, например, из приведенной самооценки Б. Данема у читателя сложится впечатление, что он не считает себя марксистом, то это впечатление было бы неверным. Исключенный более 10 лет назад из Темпльского университета США именно за свои марксистские взгляды, бывший профессор Б. Данем продолжает вести активную и мужественную борьбу против империалистической реакции, против идеализма, антигуманизма, мистики. Талантливый ученый и превосходный лектор, стоящий на несколько голов выше любого буржуазного философа, до

сего времени не может найти постоянной работы. Будучи весьма требовательным к себе, он предъявляет высокие требования любому, кто называет себя марксистом. Б. Данем против простого формального использования марксистской терминологии. По его глубокому замечанию, чтобы осмыслить и понять современные явления, не следует лишь полагаться на собственную проницательность, ибо «в гораздо большей степени здесь могут помочь взятые из истории блестящие примеры проникновения в суть событий, подобные тем, которые в изобилии можно найти в сочинениях Ленина» (стр. 155—156). Не трудно понять, почему буржуазная профессура, демагогически разглагольствуя о свободомыслии в «свободном мире», громко требуя «улучшения обмена людьми, идеями и информацией» между странами Запада и Востока, столь недоверчиво и с боязнью относится к честному правдолюбцу.

Написанная в свободной манере статья Б. Данема, опубликованная в данном сборнике, не оставляет сомнения относительно марксистской ориентации автора и его точки зрения на будущее человеческого общества. «Человек может лишь гадать о том, каким будет его личное будущее, но можно быть уверенным, что социализм prevзойдет и вытеснит капитализм». Эти слова свидетельствуют о глубокой уверенности их автора в существовании объективных законов общественного развития и в окончательной победе социализма над капитализмом.

В примере с Б. Данемом заслуживает внимания и другое. Приведенные выше слова о том, что он старается быть марксистом, продиктованы отнюдь не осторожностью, а скорее глубокой озабоченностью тем фактом, что в последние годы на Западе марксистами стали называть себя люди, едва успевшие приобщиться к теории и практике революционной борьбы.

Подъем революционного движения в развитых капиталистических странах в 60-х годах пробудил интерес к марксистско-ленинской теории миллионов людей, вызвал к активной политической деятельности разные слои населения. Возник целый ряд радикалистских движений, которые характеризовались стихийностью, неорганизованностью, мелкобуржуазной анархической ультрареволюционностью. На гребне радикалистских движений появились имена разного рода псевдомарксистов, использующих марксистскую терминологию для провозглашения

идей, которые с подлинным марксизмом ничего общего не имеют. Отсутствие достаточного опыта революционной борьбы и глубокого, неформального усвоения научно-революционной теории нередко приводило к грубейшим теоретическим, политическим и тактическим ошибкам.

В. И. Ленин, анализируя подобные ситуации, в свое время отмечал: «...Втягивание новых слоев трудящейся массы неизбежно должно сопровождаться шатаниями в области теории и тактики, повторениями старых ошибок, временным возвратом к устарелым взглядам и к устарелым приемам и т. д.»¹. Ошибки такого рода В. И. Ленин считал временным явлением.

В самом деле, после некоторого спада радикалистских движений в начале 70-х годов, в настоящее время в США намечается их новый подъем. Он обусловлен целым рядом причин — общим ростом революционного движения в мире, победами социализма, все большим углублением кризиса капитализма, экономической депрессией, инфляцией, ростом безработицы, понижением жизненного уровня, поражениями неокOLONиалистской политики империализма. И хотя радикалистские движения все еще не обрели необходимого единства, а входящие в них социалисты, анархисты, представители различного рода «левых» групп стараются доказать правильность именно своей позиции, в целом можно констатировать повышение их политического сознания, большую целеустремленность. К более чем 2,5 миллиона активистов движений 60-х годов, ныне развернувшим свою деятельность в США на более высоком уровне, присоединяются десятки и сотни тысяч участников. Каковы их цели? Один из ветеранов движения за гражданские права Д. Макрейнольдс в недавнем интервью западным корреспондентам заявил, что если ранее, 10 лет назад, участники прогрессивных радикалистских движений рассматривали пороки капиталистической системы в отрыве друг от друга и пытались вести борьбу против каждого из них в отдельности, то «ныне, во всяком случае, мы знаем, что необходимо вести наступление в целом против капитализма как такового»², ибо все эти пороки имеют общий корень — монополистический капитализм.

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 65.

² См. «International Herald Tribune», Paris, October 4, 1975.

Не вызывает сомнения, что только тесная связь с рабочим движением и его коммунистическим авангардом может открыть перед радикалистскими движениями действительно революционную перспективу, вырвать их из-под влияния монополистической буржуазии и поставить на службу интересам социального прогресса. В противном случае монополистическая буржуазия вновь попытается использовать идеологию «левого» радикализма и экстремизма, чтобы подорвать марксистское учение изнутри, дискредитировать марксизм-ленинизм как научно-революционную теорию, усилить гонения против марксистов.

Многие прогрессивные мыслители США, симпатизирующие марксизму или даже считающие себя марксистами, нередко вынуждены прибегать к «эзоповскому языку». Касаясь этого вопроса, профессор Сомервилл в предисловии, специально написанном для советского читателя, поясняет, что в условиях разгула антикоммунистической реакции в США, которая, по существу, несколько не ослабела за последние 20—30 лет, американские прогрессивные деятели, в том числе и многие марксисты, «были вынуждены реже прибегать к марксистской терминологии или объявлять себя сторонниками марксистского учения» (стр. 6). Следует, однако, заметить в этой связи, что одно дело — это «афишировать себя» марксистом; и другое дело — избегать применения марксистской терминологии. Марксистская терминология — это система научных понятий и категорий, в которых отражается реальная закономерность общественных процессов, их объективное содержание. Речь идет о той понятийной сетке, преломляясь через которую явления объективной действительности только и могут быть адекватно отражены и научно понятны. Никакая наука не может обойтись без своего «языка», без своей терминологии. Правда, нельзя исключать ситуаций, в которых приходится с учетом специфики аудитории или других обстоятельств первоначально применять менее точную и строгую, хотя и более доступную форму изложения.

Профессор Сомервилл отмечает, что трудно сказать о всех статьях данного сборника, являются ли они полностью марксистскими или нет. Может быть, этот вопрос следовало бы сформулировать несколько иначе: являются ли статьи *последовательно* марксистскими. Марксистам в разных странах приходится работать в различных

условиях, иногда значительно отличающихся друг от друга. Однако независимо от этого критерии и требования должны быть едиными. Марксист есть марксист, в какой бы стране он ни находился. Становление марксиста — это процесс. И, анализируя взгляды того или иного прогрессивного мыслителя, важно определить, в каком направлении идет развитие этих взглядов.

В статье Г. Парсонса «Умственная деятельность человека как материальная сила» сделана интересная попытка выявить непосредственную классовую основу буржуазной трактовки разума человека и представить эволюцию чувствительности разных биологических видов как трансформацию зачатков индукции и дедукции, которые имеются «у всех живых организмов». Ряд положений автора вызывает возражение. В отдельных местах нетрудно, однако, уловить некоторую «прямолинейность» рассуждений. Требуют разъяснения и такие положения: «Мышление в определенной степени находится в одном непрерывном ряду с небесными телами...» (стр. 195). Вместе с тем, критическое отношение к подобным суждениям должно учитывать и мировоззренческую эволюцию автора.

Когда читаешь строки: «Мы рассматриваем деятельность разума как материальную силу, возникающую в материальном окружении, обусловленную им и оказывающую на него свое влияние» (стр. 176), то вряд ли можно догадаться, что они принадлежат перу человека, много лет отдавшего деятельности профессионального священника. Между тем, Говарду Парсонсу, посвятившему себя борьбе за мир, серьезно изучающему марксизм, резко критикующему капитализм и выступающему за «построение бесклассового общества», очевидно, не раз приходилось сталкиваться с ситуацией внутреннего морального конфликта и мучительно искать пути к его преодолению. Твердо отстаивая научные взгляды, он критически относится к таким модным течениям буржуазной философии, как позитивизм, экзистенциализм, феноменализм, справедливо считая, что даже показная их «нейтральность» оказывает капитализму большую поддержку. «Эти философские системы не что иное, как лебединая песня умирающего капитализма» (стр. 174).

Анализ нейрофизиологических, то есть биологических предпосылок умственной деятельности человека является

для Г. Парсонса не только новой, но и достаточно смелой темой. И следует удивляться отнюдь не тому, что ряд положений в его статье вызывает споры и возражения. Удивление вызывает другое — сколь глубоки и обоснованы в настоящее время его политическая целеустремленность и научно-атеистическая ориентация.

* *

С того времени, когда писались или отбирались статьи для данного сборника, и до его выхода в свет произошло много крупных международных событий: славною победой завершилась героическая борьба вьетнамского народа против иностранных интервентов, возник ряд новых государств, освободившихся от колониальной зависимости, новых значительных успехов достигло мировое коммунистическое и рабочее движение, усилилась и шире развернулась национально-освободительная борьба народов, появились новые явления, свидетельствующие об углублении общего кризиса капитализма, упрочились позиции мирового социализма, еще более укрепился и неизмеримо возрос авторитет Советского Союза и других социалистических стран на международной арене. Трудно переоценить значимость этих явлений. Исключительное место в международной политической жизни занимает успешная реализация Программы мира, разработанной на XXIV съезде КПСС, результатом осуществления которой явилось, в частности, Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, июль-август 1975 г.), созванное по инициативе Советского Союза и других социалистических стран. Эта беспрецедентная встреча главных политических руководителей 33 европейских стран, США и Канады, подписанные ими документы призваны сыграть важнейшую роль в деле укрепления мира и безопасности и дальнейшего развития сотрудничества между странами как на европейском континенте, так и во всем мире. Как отметил на Совещании глава советской делегации, Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, «суммарный итог совещания состоит в том, что международная разрядка во все большем объеме наполняется конкретным материальным содержанием. Именно материализация разрядки —

гот в чем суть дела, суть всего, что должно сделать мир в Европе действительно прочным и незыблемым»¹.

Выраженные в данном сборнике политические идеи вполне соответствуют общим принципам, провозглашенным Европейским совещанием, соответствуют «духу Хельсинки».

Как подчеркивалось на XXV съезде КПСС, мирное сосуществование государств с различным общественным строем не исключает идеологическую борьбу. И многие статьи сборника дают советскому читателю возможность составить определенное представление о происходящем внутри капиталистических стран, в том числе США, все более усиливающимся и углубляющемся процессе борьбы прогрессивной, марксистской идеологии с идеологией буржуазной, антимарксистской. Вызванная к жизни внутренними объективными противоречиями капитализма идеологическая борьба в США в конечном счете отражает основное противоречие современной эпохи — борьбу между капитализмом и социализмом. Эта борьба происходит не только в мировом масштабе — между капиталистической системой и системой социалистической, но и внутри отдельных капиталистических государств.

Демагогические разглагольствования буржуазных идеологов и политиков о том, будто коммунисты пытаются извлечь односторонние морально-политические и прочие выгоды из принципа мирного сосуществования государств с различным общественным устройством и использовать его как чисто пропагандистский прием, не имеют под собой никаких доказательств. Рассуждения такого рода пускаются ими в ход для достижения плохо завуалированных целей — обеспечить проникновение буржуазной идеологии в страны социализма и перенести тем самым идеологическую борьбу на «территорию противника», ослабить, а затем и вовсе свести на нет идеологическое и политическое влияние марксизма, коммунистических и рабочих партий и других прогрессивных сил в капиталистических странах; изобразить политику коммунистов как якобы противоречащую последовательной политике мира и развязать себе руки для усиления гонки вооружений, увеличения бюджетных ассигнований на военные цели, для борьбы против всеобщего и полного разоружения.

¹ «Правда», 1 августа 1975 г.

Авторы сборника — сторонники принципа мирного существования государств с различным общественным строем, пропагандисты этого принципа. Вместе с тем они активные противники империалистической реакции, ее агрессивной сущности и антигуманизма. Прав профессор Д. Сомервилл, когда пишет, что «справедливая война существует только потому, что существует несправедливое общество» (стр. 27). Отмечая, что именно марксизм раскрыл взаимосвязь между базисом и надстройкой в обществе и обосновал необходимость учета новейших научно-технических достижений для проведения принципиальной и гибкой международной политики, он подчеркивает: «Исключительно важно, что начало здесь как в теории, так и на практике было положено марксизмом» (стр. 37).

Тот факт, что в сборнике большое место уделено освещению негритянского вопроса в США, борьбе против расизма, колониализма и неоколониализма, вполне оправдан и имеет веские основания. В глубоко аргументированных и полемических статьях Г. Аптекера, П. Кроссера, А. Дэвис, Г. Роджерса и других авторов много фактических данных, которые вряд ли требуют каких-либо комментариев. Они поднимают завесу над злобещим положением вещей и вопиющей несправедливостью, царящей в капиталистических странах, особенно в США, и о которой весьма красноречиво умалчивают органы буржуазной системы массовой информации — пресса, телевидение, радио и т. д. Эти последние видят свою функцию не в том, чтобы учитывать общественное мнение, а скорее в том, чтобы систематически, ежедневно формировать его и направлять в русло буржуазно-классовой интерпретации явлений. Наличие таких идеологов-дезинформаторов диктуется социальным заказом капиталистического государства. Как справедливо замечает Г. Аптекер, «социальные системы, основанные на эксплуатации, нуждаются в апологетах, а следовательно, и порождают их» (стр. 52). Профессиональная деятельность подобных апологетов нередко очень легко уживается с мнимым критицизмом отдельных сторон жизни в капиталистических странах. Буржуазные порядки при такой «критике» несколько не опровергаются, ибо в любой социальной проблеме виновником всегда оказывается сама жертва, а весь пафос апологетического активизма направлен не на изменение

социальной структуры, а на изменение жертвы, ее приспособление к потребностям господствующего класса. Прием прост и стар — все ставится с ног на голову: в качестве преступника выступает человек, борющийся против действительных политических преступлений буржуазного государства — расизма, геноцида, преследования негров, «узаконенного» ограничения прав человека и гражданских свобод. Анализируя взаимозависимость между империализмом и иррационализмом, Г. Аптекер отмечает: «Иррационализм — это цена, которую платят американцы за расизм» (стр. 251—252).

Политика эксплуатации, расизма, национального угнетения, будучи выведенной за пределы страны и распространенной на другие государства, находит свое выражение в колониализме. Внутренняя и внешняя политика любого государства неразрывно связаны, взаимообуславливают и дополняют друг друга.

В этой связи определенный интерес представляет статья Г. Роджерса об империализме в Африке, в которой дан глубокий критический анализ некоторых важных сторон неоколониализма и показана тесная связь между экономикой и политикой современного империализма, который посредством укрепления своих экономических позиций в странах «третьего мира» осуществляет реакционную политику поддержки расизма и апартеида, ведет ожесточенную борьбу против любых проявлений национально-освободительного движения.

У Г. Роджерса есть интересное наблюдение. Монополистический капитал, проникая в слаборазвитые страны Африки (то же можно сказать и о странах Азии и Латинской Америки), уродливо развивает в них промышленность. При этом создается иллюзия рационально-плановой индустриализации страны, которая, казалось бы, должна вести к умножению ее богатств, повышению жизненного уровня и т. д. Может возникнуть вопрос — почему же это иллюзия, когда на деле происходит строительство заводов, промышленных предприятий и т. д.? Да, все это так, и тем не менее реальность иллюзии несомненна. Парадокс состоит в том, что эта самая индустриализация по сути дела *тормозит* самостоятельное развитие страны, жестко привязывая ее экономику к технологической колеснице национальных и межнациональных корпораций. Избитый пропагандистский лозунг буржуазных идеологов о

якобы бескорыстной помощи слабо развитым странам при первом же анализе оказывается мыльным пузырем. Если оставаться на поверхности явлений и считать построенные заводы, промышленные предприятия, нефтяные вышки, развитие путей сообщения и т. п. за «факты промышленного развития», то безусловно можно найти целый ряд «доказательств» благотворной индустриализации. Однако если не ограничиваться лишь «чувственным созерцанием», а постараться глубоко проанализировать это явление индустриализации с научной точки зрения, попытаться раскрыть внутреннюю сущность этого явления, то нельзя не согласиться с Г. Роджерсом, что «промышленность, созданная империалистическими странами, не становится органической частью экономических комплексов африканских государств, а является лишь своего рода технологическим придатком монополистических предприятий метрополий» (стр. 71). Таким образом, внешняя политика монополистического капитализма, так же как и его внутренняя политика, основаны на эксплуатации трудящихся масс, на нещадном выкачивании национальных ресурсов колоний, экономическом и политическом гнете. В этих условиях буржуазная пропаганда стремится извратить действительное положение дел, притупить политическое сознание жертвы, пытается манипулировать им в своих интересах таким образом, чтобы адаптировать его к искаженному восприятию реальности, когда зло принимается за благо. Великое множество буржуазных теорий индустриализма, модернизации и т. п. пытались и ныне пытаются с помощью изощренных методов наукообразного анализа оправдать грабеж слабо развитых стран.

Если посмотреть на проблемы, поставленные Г. Роджерсом, с сегодняшней точки зрения, то надо подчеркнуть, что развитие национально-освободительного движения достигло нового уровня. Страны «третьего мира» сейчас уже отнюдь не довольствуются формальным провозглашением своей политической независимости. Сегодня, пожалуй, как никогда раньше, активизировалось сопротивление этих стран традиционному натиску империализма. Оно идет по всем линиям — экономической, политической, технической, культурной, идеологической. Можно сказать, что ныне нет ни одной более или менее важной сферы общественной жизни, начиная от составления школьных программ и проблемы ликвидации неграмотно-

сти вплоть до решения вопросов, связанных с окружающей средой, где в развивающихся странах не наблюдались бы сильнейшие проявления антиимпериалистических настроений. Антиимпериализм выдвинут в качестве основного принципа национального самоутверждения.

* * *

Ряд статей сборника посвящен философско-методологическим проблемам, имеющим важное мировоззренческое значение. Особенное внимание в этой связи привлекают работы Р. Коэна, Г. Уэллса, М. Вартофского, Д. Дегруда, Д. Риши, К. Фана и некоторых других. Весьма интересной представляется статья М. Вартофского — профессора Бостонского университета, вместе с профессором Коэном издающего известную многотомную серию книг под общим названием «Бостонские исследования по философии науки». Подход М. Вартофского к исследованию явлений человеческого сознания в методологическом отношении представляется вполне логичным и последовательным. Критически анализируя ту или иную теорию, автор всегда стремится раскрыть ее социальный и исторический характер. Он старается применять метод К. Маркса — «восхождение от абстрактного к конкретному» и, надо сказать, что автор успешно справился со своей задачей. Трактовка мышления человека как явления, обусловленного всей онто- и филогенетической структурой личности вполне укладывается в рамки творческого марксистско-ленинского подхода к исследованию подобных явлений. Мозг — орган мышления, но мыслит не мозг сам по себе, а человек с помощью мозга. Эту ленинскую трактовку мышления и старается раскрыть М. Вартофский.

Некоторые замечания дискуссионного характера вызывают трактовка метода Р. Декарта Д. Дегрудом и характеристика диалектической логики Г. Уэллсом, а также ряд положений статьи Коппелмэна. Д. Дегруд, рассматривая вопрос об онтологическом дуализме Р. Декарта и его «методе сомнения», как нам представляется, недостаточно четко подчеркивает роль сомнения как методологического конструктивного принципа. У Декарта сомнение выступает не для оправдания самого сомнения, а для его устранения. Методологический скептицизм Декарта был

паправлен против господства религиозных догм, веры. Сомнение, выдвинутое ради поисков и нахождения доказательств, на которых строится всякое научное знание, имеет в этом контексте несомненное революционное значение, ибо цель его — пробуждение и освобождение человеческого разума от слепой и некритической веры.

Г. Уэллс в своей статье анализирует проблему, которая уже много лет является предметом полемики среди советских философов и логиков, в особенности это касается вопроса о взаимоотношении между формальной и диалектической логикой. Полностью учитывая исключительную сложность и дискуссионность рассматриваемой Г. Уэллсом тематики, мы все же не можем не отметить, что адекватно определить специфику диалектической логики автору, на наш взгляд, не совсем удалось. Кроме того, местами складывается впечатление, что автор несколько переоценивает значение формальной логики, ибо, как представляется, оценивает ее не в должной «системе отсчета». Так, формальная логика, по Уэллсу, смогла оказать на судьбы человечества колоссальное влияние, а именно: «разрушить и перекроить индивидуальные верования и убеждения, социальные институты и целые государства, народы и международные союзы» (стр. 223). Правда, здесь речь идет скорее о рассуждениях вообще («об обоснованном выводе в отношении классов явлений»), тем не менее связь социальных явлений с формальной логикой вряд ли следует рассматривать столь прямо и непосредственно.

Аналогичный упрек можно высказать и по адресу статьи Р. Дэйла, весьма упрощенно трактующей связь музыкальных форм с социальной действительностью. Что же касается статьи У. Копплмэна, то здесь советский читатель легко заметит непоследовательность и абстрактность авторского анализа социального положения негров в современной Америке и проблем их борьбы за гражданские права.

На этом мы, пожалуй, завершим наш по необходимости краткий комментарий к книге. Думается, что в послесловии не обязательно пересказывать содержание всех статей и стараться дать всем им какую-то окончательную оценку. Достоинство сборника в целом состоит в том, что он показывает, над чем работают современные прогрессивные мыслители США, какие вопросы ставят и как их

решают. Читатель узнает все это из первых рук, от самих американских мыслителей. И если в сборнике можно найти полемические идеи, стимулирующие творческие дискуссии, то это — еще одна положительная сторона сборника, познакомившись с которым читатель, как мы надеемся, получит ценный и интересный материал для размышлений, сопоставлений и собственных выводов.

В. Мшвениерадзе

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
От издательства	3
Предисловие	5
I. Социологические аспекты общественно-исторического процесса	
Пол Кроссер. Социология истории	11
Джон Сомервилл. Марксизм, мир и научно-техническая революция	26
Герберт Аптекер. Кого следует винить за кризис городов: Два комментария	38
Гарольд С. Роджерс. Империализм в Африке	60
Беттина Аптекер, Анджела Дэвис. Кто такой политический заключенный?	78
Анджела Дэвис. О роли негритянских женщин в борьбе с рабством	93
Митчел Франклин. Диалектика древнеримского принципа вето в период социальной неустойчивости и скептицизма	112
II. Философско-методологические проблемы	
Берроуз Данэм. Философские размышления	155
Дэвид Дегруд. <i>Ex nihilo nihil fit</i> : «отправная точка» философии	161
Говард Парсонс. Умственная деятельность человека как материальная сила	172
Маркс Вартофский. К критическому материализму	202
Гарри Уэллс. Диалектическая логика и кризис мысли	221
III. Критика буржуазной идеологии	
Герберт Аптекер. Империализм и иррационализм	249
Дейл Рипе. Критика идеалистического натурализма: методологическое засорение американской философии	258
	421

К. Т. Фан. Концепция языка у Витгенштейна	280
Роберт С. Коэн. Эрнст Мах: физика, восприятие и философия науки	299
Рой Вуд Селларс. Эпиллог к Беркли	340
Рон Хиршбайн. Эксплуатация сексуальности в современном капиталистическом обществе	355
Уолтер Х. Коппелмэн. Диалектический анализ современной литературы чернокожих	366
Р. Э. Дэйл. К социальной истории музыкальной гаммы	385
Послесловие	406

СОВРЕМЕННАЯ ПРОГРЕССИВНАЯ ФИЛОСОФСКАЯ И СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В США

Редактор В. И. Аршинов. Художник С. В. Митурья
 Художественный редактор В. А. Пузанков
 Техн. чesкие редакторы Л. А. Полякова, Л. Н. Шупейко
 Корректор Р. М. Прицкер

Сдано в производство 30.09.75. Подписано к печати 30.05.77.
 Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 22,26.
 Уч.-изд. л. 23,5. Изд. № 21836. Цена 1 руб. Тираж 20 000 экз.
 Заказ 889.

Издательство «Прогресс» Государственного комитета
 Совета Министров СССР
 по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
 Москва, Г-21, Zubовский бульвар, 21

Ордена Трудового Красного Знамени
 Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой
 Союзполиграфпрома при Государственном комитете
 Совета Министров СССР
 по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

Вышли в свет

Серия

*«Критика буржуазной идеологии
и ревизионизма»*

КЕПЕЦИ Б. Идеология «новых левых».
Пер. с венг.

Автор исследует причины возникновения движения так называемых «новых левых» в капиталистических странах. В книге показывается, что, несмотря на критику капитализма и попытки отмежеваться от традиционной буржуазной «левой», это течение является реакцией мелкобуржуазной интеллигенции на противоречия общественной жизни при капитализме и в конечном счете служит целям антикоммунизма.